100 великих романов

Оноре де БАЛЬЗАК

ОБ ЕКАТЕРИНЕ МЕДИЧИ



Об Екатерине Медичи
Оноре де Бальзак

Аннотация
Оноре де Бальзак. Об Екатерине Медичи
Об Екатерине Медичи
Вступление
Часть первая. Мученик-кальвинист
I. Дом, которого больше нет на улице, которой не существует в Париже, который был не таким, как ныне
II. Реформаты
III. Горожане
IV. Замок Блуа
V. Двор
VI. Церемониал утреннего вставания короля Франциска II
VII. Влюбленные
VIII. Мария Стюарт и Екатерина
IX. Драма, разыгравшаяся вокруг казакина
X. Пытка
XI. Мятеж в Амбуазе
XII. Амбруаз Паре
XIII. Как умер Франциск II
XIV. Женева

XV. Кальвин
XVI. Екатерина у власти
XVII. Награда
Часть вторая. Тайна братьев Руджери
I. Двор при Карле IX
II. Хитрость против хитрости
III. Мари Туше
IV. Рассказ короля
V. Алхимики
Часть третья. Два сна

Аннотация

Франция XVI века, Париж, блистательный французский двор, Екатерина Медичи, Мария Стюарт, герцоги Гизы, принцы Конде, католики и гугеноты, кровавая битва за власть, в которой гибнут случайные люди, – всё это знакомо читателю благодаря французским приключенческим романам, ставшим классикой. Однако не все знают, что эта же тема вдохновила ещё одного известного французского автора, принадлежащего к совсем иному литературному направлению, – Оноре де Бальзака. В его романе «Об Екатерине Медичи» отразился особый взгляд на судьбу этой знаменитой королевы.

Оноре де Бальзак
Об Екатерине Медичи

В оформлении обложки использована картина Гоффредо Босисио «Екатерина Медичи убеждает Карла IX отдать приказ о Варфоломеевской ночи»

Знак информационной продукции **12+**

© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021



ООО «Издательство «Вече»
http://www.veche.ru

Об Екатерине Медичи

Господину маркизу де Пасторе[1],
члену Академии изящных Искусств

Когда думаешь о том, сколько было издано книг, ставивших своей задачей уточнить путь следования Аннибала через Альпы, причем до сих пор так и не установлено, шел ли он, если верить Витекеру и Ривасу, через Лион, Женеву, Сен-Бернар и долину Аосты, или, если верить Летронну, Фоллару, Сен-Симону и Форсиа д'Юрбану, через Изер, Гренобль, Сен-Бонне, Мон-Женевр, Фенесгреллу и проход Сюз, или, по мнению Ларoза, через Мон-Сени и Сузу, или, по мнению Страбона, Полибия и Делюка, через Рону, Вьенну, Иенну и Мон-дю-Ша, или, наконец, по мнению кое-кого из людей умных и, на мой взгляд, более справедливому, через Геную, Бокетгу и Скривию (этого последнего мнения придерживался и Наполеон), не говоря уже о том уксусе, каким

[1] Примечания: 1

Маркиз Де Пасторе, Амедей Давид (1791–1857) — член французской Академии Искусств. Монархист по своим убеждениям. В типографии Бальзака в 1828 году была напечатана его работа по истории «Герцог де Ги в Неаполе, или Заметки о революциях в этом государстве в 1647 и 1648 гг.».

отдельные ученые приправляли Альпийские горы[2], приходится только удивляться, господин маркиз, что мы с таким пренебрежением относимся к новой истории. Важнейшие моменты ее покрыты мраком неизвестности, и самая отвратительная клевета поливает грязью имена, которые следовало бы чтить. Заметьте кстати, что изучение перехода Аннибала зашло так далеко, что стали сомневаться, переходил ли он вообще когда-нибудь через Альпы. Отец Менетрие считает, например, что Скорас, о котором упоминает Полибий, есть не что иное, как Сона; Летрон, Лароза и Швейгхаузер думают, что это Изер, а лионский ученый Кошар полагает, что это Дром. Тот, кто умеет видеть, найдет межцу Скорасом и Скривией немало общего как с географической, так и с лингвистической точек зрения; к тому же можно быть почти уверенным в том, что карфагенский флот стоял на якоре или в Специи, или в Генуэзской гавани.

Мне кажется, что все эти терпеливые исследо-

---

[2] Примечания: 2

...не говоря уж о том уксусе, каким отдельные ученые приправляли Альпийские горы... — Согласно рассказу римского историка Тита Ливия, карфагенский полководец Ганнибал (Аннибал), наткнувшись на утес, преграждавший дорогу в Альпах, приказал разжечь у его подножия огромный костер и затем поливать раскаленный камень уксусом. Утес дал трещины и упал. (Эпизод из 2-й Пунической войны между Римом и Карфагеном 218–201 гг. до н. э.)

вания имели бы смысл, если бы сам факт битвы при Каннах[3] был подвергнут сомнению. Но, коль скоро результаты ее известны, надо ли исписывать целые горы бумаги утверждениями, которые являются всего только искусно разукрашенными гипотезами, в то время как история самого значительного периода нового времени, история эпохи Реформации[4], пестрит такими огромными лакунами, что мы не знаем даже в точности имени человека, который делал попытку пустить первое паровое судно в Барселоне[5], в то время как Лютер и Кальвин[6] готовили восстание человеческого разума.

Вы и я, мы оба, каждый по-своему, изучали великий и прекрасный образ Екатерины Медичи и пришли к одному и тому же выводу. Вот почему

---

[3] Примечания: 3

Битва при Каннах — эпизод из 2-й Пунической войны (2.08.216 г. до н. э.). Ганнибал сумел окружить превосходящие силы противника и разбил римское войско.

[4] Примечания: 4

Эпоха Реформации — борьба за реформу католической церкви, начавшаяся в Германии в начале XVI века и охватившая большинство стран Западной Европы.

[5] Примечания: 5

Имя этого изобретателя, по-видимому, Саломон Ко (пишется Саих, а не Caus). Этому великому человеку всегда не везло. Даже имя его после смерти писали неверно. Саломон, чей подлинный портрет, написанный, когда ему было сорок шесть лет, обнаружен автором «Человеческой комедии», родился в Ко, в Нормандии. *(Примеч. автора.)*

[6] Примечания: 6

Лютер и Кальвин — вожди Реформации. Мартин Лютер (1483–1546) — немецкий монах, деятель Реформации, основатель протестантизма (лютеранства) в Германии. Жан Кальвин (1509–1564) — деятель Реформации, основатель кальвинистского учения, распространившегося главным образом во Франции, Англии, Швейцарии. Кальвин отличался крайней религиозной нетерпимостью.

я подумал, что мои исторические труды об этой королеве мне следовало бы посвятить писателю, который столько времени занимался историей Реформации, и что в глазах всех это будет знаком моего уважения к личности и чувствам человека, верного монархической идее, тем более ценным, что в наши дни ей редко воздают должное.

Париж, январь 1842 г.

Вступление

Когда исследователь, пораженный какой-нибудь ошибкой в области истории, пытается ее исправить, это чуть ли не всегда считают верхом нелепости. Но тому, кто основательно изучает историю нашего времени, хорошо известно, что историки — это привилегированные лжецы, охотно пересказывающие народные предания, совершенно так же, как большинство современных газет говорит только то, что думают их читатели.

Светские ученые в гораздо меньшей степени отличаются независимостью суждений об истории, чем ученые церковные. Самыми достоверными сведениями исторического характера, разумеется, в тех случаях, когда раскрытие истины не затрагивает интересов церкви, мы обязаны монахам-бенедиктинцам[7], которыми по праву гордится Франция. Вот почему начиная с середины XVIII века появляется немало крупных

[7] Примечания: 7

Бенедиктинцы. — Монастыри бенедиктинского ордена славились в Средние века своими летописцами и учеными-ком-ментаторами, которые опубликовали ряд исторических работ и справочников, среди них «Искусство проверять даты».

ученых-богословов. Необходимость исправить ходячие ошибки, распространяемые историками, заставила их издать весьма примечательные труды. Так вот г-н де Лонуа, названный «Изничтожителем святых», объявил жестокую войну всем святым, которые контрабандным путем проникли в лоно церкви. Именно поэтому соперники бенедиктинцев, члены «Академии надписей и словесности», люди никому почти не известные, начали издавать свои труды по поводу загадочных событий истории, труды, являющие собою чудеса терпения, эрудиции и логики.

Так вот Вольтер, руководимый недостойными мотивами, нередко с какой-то мрачной страстью всей силой своего ума ополчался на исторические предрассудки. С этой же целью Дидро написал свое непомерно длинное историческое исследование об эпохе Римской империи. Если бы не было Революции, французские критики, обратившись к истории, подготовили бы, может быть, какую-то наметку для хорошей, настоящей истории Франции, по данным, которые столько времени тому назад были уже собраны нашими великими бенедиктинцами. Людовик XVI, человек, обладавший светлым умом, сам даже перевел с английского языка сочинение, где Уолпол пыта-

ется истолковать личность Ричарда III[8], книгу, которая так занимала минувшее столетие.

Но как же получается, что знаменитые короли и королевы, что столь выдающиеся полководцы вызывают у нас ужас или кажутся нам смешными? Половина людей еще не решила, чему отдать предпочтение — английской истории или песенке о Мальбруке[9]; точно так же, как в отношении Карла IX мы еще не решили, кто прав — история или народная молва.

Во все эпохи, когда происходят крупные столкновения народных масс с представителями власти, в народе создается представление о каком-то *чудовище-живоглоте,* да будет мне позволено употребить это слово, чтобы вернее выразить мою мысль. Так вот, в наше время, если бы не существовало «Мемориала острова Святой

---

[8] Примечания: 8

«…Уолпол пытается истолковать личность Ричарда III» — Английский писатель Хорас Уолпол (1717–1797) опубликовал в 1768 году книгу «Сомнения историка относительно жизни и царствования Ричарда III», где он сопоставляет и анализирует различные факты из жизни Ричарда III.

[9] Примечания: 9

…английской истории или песенке о Мальбруке. — Имеется в виду французская народная шутливая песенка «Мальбрук в поход собрался», высмеивающая английского полководца герцога Мальборо (1650–1722).

Елены»[10], если бы не возникло конфликтов между роялистами и бонапартистами, очень легко могло случиться, что о личности Наполеона у всех осталось бы превратное представление. Явился бы еще какой-нибудь аббат де Прадт[11], напечатали бы еще несколько газетных статей, и из императора Наполеон превратился бы в людоеда. Каким же образом ошибочное суждение так легко распространяется и утверждается? Все это каким-то загадочным путем совершается на наших глазах, но мы этого даже не замечаем. Никто не подозревает, в какой степени печать упрочила как зависть, столь свойственную людям образованным, так и распространенные анекдоты, которые резюмируют значительное историческое событие, давая ему совершенно неверное толкование. Так вот, именем князя Полиньяка по всей Франции называют скверных лошадей, которых приходится понукать, и кто знает, что будут

[10] Примечания: 10

«Мемориал острова Святой Елены» — то есть дневник Наполеона I, написанный им (вернее, продиктованный) во время ссылки на острове Св. Елены (1815–1821).

[11] Примечания: 11

Аббат де Прадт, Доменик (1759–1837) — занимался политической и дипломатической деятельностью, отличался большой беспринципностью, занимал высокие посты при Наполеоне I; во время Реставрации разыгрывал роль либерала, выступал с разоблачением личности и политики Наполеона.

наши потомки думать о произведенном князем Полиньяком[12] государственном перевороте. По прихоти Шекспира, вызванной, может быть, даже желанием отмстить, подобно тому, как Бомарше мстил Бергассу[13], Фальстаф сделался в Англии комическим типом: одно имя его вызывает смех, это король шутов. В действительности же Фальстаф никогда не был таким неимоверно толстым, одуревшим от влюбленности, тщеславным, пьяницей и старым развратником. Напротив, Фальстаф был одним из самых значительных представителей своей эпохи, кавалером ордена Подвязки и человеком, облеченным высокой властью. К моменту вступления Генриха V на царство Фальстафу было самое большее тридцать четыре года. Этот военачальник, отличившийся

---

[12] Примечания: 12

…о произведенном князем Полиньяком государственном перевороте. — Речь идет об ультрамонархической политике Полиньяка, премьер-министра при Карле X. По инициативе Полиньяка, стремившегося задушить республиканское оппозиционное движение, были приняты так называемые Июльские ордонансы, ограничивающие свободу печати, вводящие новый реакционный избирательный закон. Ордонансы явились поводом к событиям Июльской революции 1830 года.

[13] Примечания: 13

…подобно тому как Бомарше мстил Бергассу… — Никола Бергасс — французский адвокат, выступал на процессе против драматурга Бомарше (конец XVIII в.). Последний изобразил его в лице подлого интригана Бежеарса в своей комедии «Преступная мать» (3-я часть трилогии о Фигаро).

во время битвы при Азенкуре[14], когда он взял в плен герцога Алансонского, захватил в 1420 году Монтеро, который отчаянно защищался. Наконец, при Генрихе VI он разбил десятитысячную французскую армию, хотя под его началом было только полторы тысячи измученных и умирающих с голоду солдат!

Вот факты, относящиеся к военной истории.

Перейдем теперь к литературе. Оказывается, Рабле, трезвенник, который ничего не пил, кроме воды, слывет у нас чревоугодником и завзятым пьяницей. Сколько разных смешных историй сложено об авторе «Пантагрюэля» — одной из прекраснейших книг во французской литературе!

Об Аретино[15], друге Тициана, человеке, который был Вольтером своего времени, в наши дни сложилось представление, совершенно противоположное его сочинениям, его личности; из него сделали человека развращенного, такого,

---

[14] Примечания: 14

Битва при Азенкуре. — 25. 10. 1415 г. английская армия, возглавляемая королем Генрихом V, под Азенкуром (селением южнее Кале) разбила французское войско.

[15] Примечания: 15

Аретино, Пьетро (1492–1556) — итальянский писатель, драматург, публицист, гуманист эпохи Возрождения, был известен своими язвительными, остроумными памфлетами против папского двора и монархов Европы, получил прозвище «бич государей».

каких нам рисуют произведения его эпохи, когда чудачества были в чести, когда королевы и кардиналы писали новеллы, которые мы теперь называем непристойными. Такого рода примеры можно было продолжить до бесконечности. Во Франции, и притом в самую значительную эпоху ее истории, ни одной женщине, если не считать Брунгильды[16] или Фредегонды, не пришлось так пострадать от народной молвы, как Екатерине Медичи[17], в то время как Марии Медичи, все действия которой были направлены во вред стране, удалось избежать позора, хотя она его заслужила. Мария растратила богатства, накопленные Генрихом IV; ей так и не удалось смыть с себя обвинение в том, что она знала о готовившемся цареубийстве; любовником ее был д'Эпернон, который не отразил удара Равальяка и который к тому же давно и хорошо знал убийцу. Она вынудила своего сына изгнать ее из Фран-

---

[16] Примечания: 16

Брунгильда — жена короля северо-восточных франков Зижибера (VI в.), властная и жестокая; в истории известна ее вражда с Фредегондой, второй женой короля западных франков: Фредегонда отравила первую жену короля Хильдерика I — сестру Брунгильды.

[17] Примечания: 17

Мария Медичи (1573–1642) — французская королева, вторая жена Генриха IV; после убийства Генриха IV правила страной во время малолетства Людовика XIII; во главе непокорной знати воевала затем с сыном, была им изгнана из Франции в 1630 году.

ции, где она подстрекала своего второго сына, Гастона, к мятежам. Наконец, кардинал Ришелье, обманувший ее в день 11 ноября[18], обязан своей удачей исключительно тому, что показал Людовику XIII секретные документы, относившиеся к смерти Генриха IV. Что же касается Екатерины Медичи, то она, напротив, спасла французскую корону; она поддержала королевский престиж при таких обстоятельствах, когда мало кто из великих монархов удержался бы на престоле. Она имела дело с мятежниками и честолюбцами, вроде Гизов[19] и дома Бурбонов[20], с такими людьми, как оба Лотарингских кардинала[21] и оба Балафре[22], оба принца Конде[23], королева Жанна д'Альбре[24], Генрих IV, коннетабль[25] Монморанси, Кальвин[26], Колиньи[27], Теодор

---

[18] Примечания: 18

…в день 11 ноября… — 11 ноября 1630 года (День одураченных) придворные аристократы, вдохновляемые королевой Марией Медичи, попытались устранить кардинала Ришелье, фактического правителя Франции. Эта попытка кончилась неудачей.

[19] Примечания: 19

Гизы — герцоги Гизы — крупные французские феодалы, младшая ветвь так называемого Лотарингского дома, владевшего некогда Лотарингией, потомки Карла Великого, претендовали на французский престол; в XVI веке герцоги Гизы возглавляли католическую партию.

[20] Примечания: 20

…дом Бурбонов — боковая ветвь королевского рода Капетингов, к которому принадлежала также и царствовавшая в XVI веке династия Валуа

[21] Примечания: 21

Лотарингские кардиналы — Шарль де Гиз, кардинал Лотарингии, и его брат кардинал Людовик Лотарингский; имели в XVI веке большое влияние при французском дворе.

[22] Примечания: 22

Оба Балафре. — Балафре *(фр.)* — изуродованный шрамом, меченый — прозвище двух герцогов де Гиз: Франсуа, имевшего большое влияние на короля Франциска II, сына Екатерины Медичи, так как жена короля — Мария Стюарт — была его племянницей, и его старшего сына Генриха де Гиз.

[23] Примечания: 23

Оба принца Конде — представители боковой ветви дома Бурбонов, возглавляли партию протестантов, выступавшую против влияния партии Гизов. Принц Луи Конде (1530–1569) — глава протестантов (кальвинистов), дядя Генриха Бурбона Наваррского (Генриха IV), возглавлял Амбуазский заговор протестантов в 1560 году. Принц Генрих Конде — его сын, двоюродный брат Генриха Наваррского.

[24] Примечания: 24

Жанна д'Альбре (1528–1572) — королева Наваррская, жена Антуана Бурбона, мать Генриха д'Альбре, ставшего после смерти отца королем Наваррским, а впоследствии, в 1594 году, французским королем Генрихом IV, положившим начало династии Бурбонов.

[25] Примечания: 25

Коннетабль — до 1627 года главнокомандующий французской армии.

[26] Примечания: 26

Кальвин — см. примеч. к стр. 7.

[27] Примечания: 27

Колиньи, Гаспар де Шатийон (1519–1572) — французский адмирал с 1552 года, один из вождей гугенотов, отличался большой храбростью, был убит католиками.

де Без[28], и ей приходилось проявлять исключительные способности, обнаруживать ценнейшие для государственного деятеля черты характера под огнем насмешек всей кальвинистской клики. Вот факты, в которых совершенно не приходится сомневаться. Итак, стоит поглубже заглянуть в историю Франции XVI века, и мы увидим, что Екатерина Медичи является великой государыней. Когда рассеется клевета и собранные ценою немалых усилий факты опровергнут все противоречивые памфлеты и лживые измышления, только тогда обнаружатся настоящие достоинства этой необыкновенной женщины, не подверженной ни одной из слабостей своего пола, женщины, умевшей сохранить целомудрие в то время, как вокруг, среди придворных, процветали самые распущенные в тогдашней Европе нравы, женщины, которая, несмотря на недостаток средств, сумела воздвигнуть восхитительные памятники как бы в противовес всем разрушениям, причиненным кальвинистами, одинаково вредившими и государству и искусству.

Теснимая с одной стороны герцогами Лотаринг-

[28] Примечания: 28

Теодор де Без (1519–1605) — ближайший ученик Кальвина, возглавлял кальвинистскую религиозную общину во франции, талантливый проповедник.

скими, которые называли себя наследниками Карла Великого, а с другой — младшей ветвью королевской фамилии[29], которая хотела, заняв престол, изгладить следы измены коннетабля Бурбона[30], Екатерина оказалась вынужденной обрушиться на еретиков, готовых растерзать монархию. Одна, без друзей, обнаружив измену среди главарей католиков и республиканский дух среди кальвинистов, она пустила в ход самое опасное, но вместе с тем и самое верное в политических делах оружие — ловкость! Она решила сначала обмануть ту партию, которая хотела уничтожить династию Валуа, потом — Бурбонов, стремившихся захватить престол, и, наконец, реформатов, радикалов того времени, которые мечтали о немыслимой республике, подобно радикалам наших дней, которым, собственно говоря, нечего реформировать. Вот почему до самой ее смерти династия Валуа удержалась

---

[29] Примечания: 29

Младшая ветвь королевской фамилии — то есть Бурбонский дом.

[30] Примечания: 30

…следы измены коннетабля Бурбона. — Коннетабль Шарль Бурбон (1490–1527) в 1524 г. перешел на службу к испанскому королю и германскому императору Карлу V и воевал против Франции.

на престоле. Наш знаменитый де Ту[31] хорошо понимал, какова была роль Екатерины, — узнав, что она умерла, он воскликнул:

«Нет, умерла не женщина, умерла королевская власть!»

У Екатерины Медичи действительно в очень сильной степени было развито это сознание королевской власти; потому она и защищала ее с удивительнейшим упорством. Все, в чем писатели-кальвинисты упрекали ее, составляет как раз ее славу; если бы она не пустила в ход это средство, не было бы и побед. Могла ли она победить, не прибегая к хитрости! В этом все дело. Что же касается насилия, то здесь мы сталкиваемся с одной из самых сложных политических проблем. В наши дни проблему эту решили совсем просто, водрузив на площади огромную каменную глыбу, привезенную из Египта[32], чтобы предать забвению цареубийство и воздвигнуть памятник той материалистической политике, которая

---

[31] Примечания: 31

Де Ту, Жак-Опостен (1553–1617) — французский историк, автор книги «История моего времени».

[32] Примечания: 32

…водрузив на площади огромную каменную глыбу, привезенную из Египта. — Имеется в виду Луксорский обелиск, воздвигнутый в Фивах при Рамзесе II (прав. 1137–1251 гг. до н. э.) и в 1831 г. подаренный Мехметом-Али французскому королю Луи-Филиппу; в 1836 г. обелиск был установлен в Париже на площади Согласия.

властвует над нами; ее решили у кармелитов и в Аббатстве[33]; ее решили на ступеньках церкви св. Роха[34], ее решили в 1830 году[35] у стен Лувра, где народ еще раз выступил против короля, так же, как вскоре ее решила лучшая из республик[36] — республика Лафайета, подавляя восстания республиканцев на улицах Сен-Мерри и Трансноне. Всякая власть, как законная, так и незаконная, вынуждена защищаться, когда на нее нападают. Но вот что удивительно: победа народа над кучкой знати объявляется героизмом, в то время как правителя, единоборствующего с народом, называют убийцей. А если, применив силу, правитель в конце концов терпит крах, он слывет глупцом. Ту же самую беду, которая грозила Карлу X и от которой он хотел избавиться двумя королевски-

---

[33] Примечания: 33

Аббатство — то есть тюрьма аббатства Сен-Жермен-де-Пре в Париже; во время якобинского террора 1792 года там находились лица, осужденные революционным трибуналом.

[34] Примечания: 34

...ее решили на ступеньках церкви св. Роха... — В 1815 году народ взломал двери церкви св. Роха, так как настоятель церкви отказался хоронить известную трагическую актрису, мадемуазель Рокур.

[35] Примечания: 35

...ее решили в 1830 году... — то есть во время Июльской буржуазной революции 1830 года, свергнувшей Реставрацию.

[36] Примечания: 36

...ее решила лучшая из республик — республика Лафайета, подавляя восстания республиканцев на улицах Сен-Мерри и Трансноне. —

Слова «вот лучшая из республик» приписываются Лафайету, так он представил в 1830 году народу герцога Орлеанского, возведенного затем на престол под именем Луи-Филиппа.

6 июля 1832 года в Париже вспыхнуло республиканское восстание. Центром героического вооруженного сопротивления республиканцев стали баррикады, примыкавшие к монастырю Сен-Мерри.

В 1834 году в Париже началось восстание республиканцев в знак солидарности с восставшими рабочими в Лионе. В течение двух дней (13, 14 апреля) восставшие оказывали героическое сопротивление правительственным войскам. Группа восставших, в том числе много женщин, была зверски расстреляна на улице Транснонен.

ми ордонансами[37], теперешнее правительство пытается устранить двумя законами. Нет ли в этом горькой насмешки? Позволено ли государю отвечать на хитрость хитростью? Следует ли ему убивать тех, кто замышляет убить его самого? Революция сопровождается такими же убийствами, как и Варфоломеевская ночь[38]. Заняв место короля, народ расправляется со знатью и с королем, точно так же как знать и король в XVI веке расправлялись с мятежниками. Поэтому-то есть вещи, которые нельзя простить нашим популярным писателям: они возводят хулу на Екатерину Медичи и Карла IX, хотя отлично знают, что, будучи на их месте, народ поступил бы точно так же.

Всякая власть, говорил Казимир Перье, разъясняя, какою должна быть власть, — это беспрерывные заговоры. Мы восхищаемся, когда писатели дерзают печатать максимы, направленные против всего общества в целом; почему

---

[37] Примечания: 37

Королевские ордонансы — см. прим. к стр. 10 (о произведенном принцем Полиньяком государственном перевороте).

[38] Примечания: 38

Варфоломеевская ночь — массовая резня гугенотов (протестантов) католиками, устроенная по приказу королевы-матери Екатерины Медичи в Париже в ночь на 24 августа 1572 года под праздник святого Варфоломея.

же мы так неблагосклонно встречаем истины, раскрывающие подоплеку общественной жизни и обнародованные писателями-смельчаками? Одного этого обстоятельства достаточно, чтобы объяснить все ошибки истории. Попробуйте применить этот вывод к разрушительным доктринам, которые потворствуют разгулу страстей черни, и к консервативным учениям, которыми подавляют дикие и безрассудные выходки толпы, и вы поймете, на чем зиждется популярность или непопулярность тех или других исторических личностей. Какие-нибудь Лобардемон[39] и Лаффема[40], подобно многим нашим современникам, с величайшею преданностью защищали власть, в которую они верили. Солдаты или судьи, они одинаково покорялись власти. В наши

[39] Примечания: 39

Лобардемон, Жан Мартин — парижский государственный судья, один из ближайших помощников кардинала Ришелье (XVII в.), покорный исполнитель его воли.

[40] Примечания: 40

Лаффема, Исаак — государственный советник, один из исполнителей политики Ришелье, организатор нескольких процессов против дворянской знати, сопротивлявшейся Ришелье.

дни д'Ортез[41] был бы смещен за невыполнение министерских приказов, а Карл IX оставил его губернатором своей провинции. Когда у власти стоят все, она не считается ни с кем; когда у власти стоит один человек, он вынужден считаться со своими подданными, как с большими, так и с малыми.

Екатерина Медичи, так же как и Филипп II[42], герцог Альба[43], как Гизы и кардинал Гранвелла[44], поняла, какое будущее Реформация готовила Европе! Все они видели крушение монархий, власти, религии. Екатерина, сидя в кабинете французских королей, без промедления начертала смертный приговор тому пытливому разуму, который угрожал всему современному обществу, приговор, исполнителем которого стал

---

[41] Примечания: 41

Д'Ортез, Анри — королевский наместник в городе Байонна (XVI в.). Ему приписывается следующий ответ на приказ короля Карла IX уничтожить протестантов: «Сир, я довел приказ Вашего величества до сведения верноподданных жителей и военных людей Вашего города Байонны; в этом городе я знаю хороших граждан, храбрых солдат, но я не нашел ни одного палача».

[42] Примечания: 42

Филипп II (1527–1598) — испанский король, жестокий фанатик католицизма, опирался на инквизицию в борьбе с «еретиками», свирепо расправлялся со всеми оппозиционными элементами.

[43] Примечания: 43

Герцог Альба, Фернандо Альварес де Толедо — испанский полководец, государственный деятель, наместник Нидерландов, где вызвал всеоб-

щую ненависть своей фанатической жестокостью (XVI в.).

[44] Примечания: 44

Кардинал Гранвелла, Антуан — служил министром в правительстве испанских королей Карла I (Карла V) и Филиппа II, преследовал протестантов.

в конце концов Людовик XIV. Отмена Нантского эдикта[45] оказалась неудачной мерой только оттого, что Европа была раздражена поведением Людовика XIV. В другое время Англия, Голландия и Империя не стали бы давать приюта французским изгнанникам и помогать восставшим.

Зачем же теперь отказывать этой женщине — противнице самой бесплодной из когда-либо существовавших ересей — в том величии, которое она обрела в этой борьбе? Кальвинисты немало написали в осуждение коварных замыслов Карла IX; но поездите по Франции: стоит вам увидеть развалины ее прекрасных церквей, стоит только подумать об огромном уроне, который кальвинисты нанесли государству, стоит только вспомнить, как они отвечали двойным ударом на удар, стоит только прочувствовать все зло индивидуализма, язвы теперешней Франции, которую породили вопросы свободы совести, поднятые ими же самими, и вы спросите себя: «Кто же настоящие палачи?» Как говорит Екатерина (в третьем разделе нашего труда), «к несчастью,

---

[45] Примечания: 45

Нантский эдикт — эдикт, изданный в 1598 году французским королем Генрихом IV и предоставлявший протестантам (гугенотам) свободу вероисповедания, а также богослужения в городах (кроме Парижа и некоторых других), замках и ряде сельских местностей; был отменен частично в 1629 г., полностью в 1685 году Людовиком XIV.

во все эпохи существуют лицемерные писатели, готовые проливать слезы по поводу двух сотен своевременно убитых негодяев». Цезарь, пытавшийся пробудить в сенате жалость к партии Катилины[46], вероятно, одержал бы верх над Цицероном, если бы в его распоряжении были газеты и оппозиция.

Есть еще одно обстоятельство, объясняющее, почему Екатерина Медичи попала в немилость у истории и народа. Оппозиционерами во Франции всегда были протестанты в силу того, что вся политика их зиждется на отрицании; оппозиция унаследовала лютеранские, кальвинистские и протестантские толкования таких страшных слов, как «свобода», «терпимость», «прогресс» и «философия». Оппозиционеры — противники существующей власти — потратили целых два столетия, чтобы утвердить сомнительное положение о свободе воли. Еще два столетия ушло на то, чтобы развить первый королларий[47] этой

---

[46] Примечания: 46

Катилина, Луций (108—62 гг. до н. э.) — римский политический деятель; стремясь стать консулом, организовывал заговоры, при помощи демагогических обещаний привлекал на свою сторону часть римского плебса. Политику Каталины разоблачал в своих речах в Сенате политический деятель и оратор Цицерон.

[47] Примечания: 47

Королларии — следствие из уже установленной истины *(лат.)*.

свободы воли — свободу совести. Наш век пытается утвердить второй — политическую свободу.

Находясь на рубеже проторенных и еще не пройденных дорог, Екатерина и церковь провозгласили спасительный для современного общества принцип una fides, unus dominus[48], воспользовавшись своим правом распоряжаться жизнью и смертью всех обновителей. Они потерпели поражение, но последующие столетия показали, что Екатерина была права. Результат свободы воли, свободы религии и политической свободы (не будем смешивать ее со свободой гражданской) — это Франция наших дней. А что такое Франция 1840 года? Страна, поглощенная исключительно материальными интересами, страна без патриотизма, страна без совести, страна, где власть бессильна, где в результате свободы воли и политической свободы на выборах торжествует всегда посредственность, страна, где стало необходимостью применять грубую силу против народных буйств, где дискуссия, распространившаяся на все мелочи жизни, обрекает государство на бездействие, где над всем властвует капитал и где индивидуализм — ужасный

[48] Примечания: 48
Единая вера, единый бог *(лат.)*.

результат бесчисленных дележей наследства, уничтожающих семью, — готов пожрать все на свете, даже самое нацию, которую тот же эгоизм когда-нибудь предаст врагу. Мы скажем: «А почему не царь?», так же как мы говорили: «А почему не герцог Орлеанский?» Для нас это не составляет значительной разницы, а лет через пятьдесят будет и совершенно все равно.

Итак, по мнению Екатерины, по мнению всех тех, кто хочет благоустроенного общества, у человека этого общества, у подданного не должно быть свободы воли! Он не должен *исповедовать* догму свободы совести и не должен обладать политическою свободой. Но так как ни одно общество не может существовать без известных гарантий, которые государь дает своим подданным, то в результате подданные пользуются своими *свободами* с некоторыми ограничениями. Свободы в собственном смысле слова нет, — но есть отдельные свободы, есть свободы определенные и ясно очерченные. Вот каково истинное положение вещей. Разумеется, воспрепятствовать свободе мысли — это свыше человеческих сил, и ни один государь не может посягнуть на капитал. Великие политические деятели, которые были побеждены в этой долгой борьбе (она

продолжалась пять веков), предоставляли своим подданным значительные свободы, однако они не позволяли печатать враждебные существующему порядку мысли, и свобода их подданных не была безграничной. Для них слова *подданный* и *свобода* — это два политических термина, взаимно исключающие друг друга, точно так же как слова *равные во всех отношениях* граждане звучат нелепо, и жизнь ежечасно разоблачает эту бессмыслицу.

Признавать необходимость религии, необходимость власти и вместе с тем оставить за подданными право отрицать эту религию, нападая на ее обряды, право противиться приказаниям властей, публично выражать свои мнения, которые могут передаваться другим, — все это вещь немыслимая, и католики XVI века не хотели этого допустить. Увы! Победа кальвинистов будет стоить Франции еще дороже, чем она стоила до сих пор, потому что различные секты: религиозные, политические, гуманистические, уравнительные и т. п. — в наши дни идут по стопам кальвинистов. Ошибки правительства, его презрение к разуму, его пристрастие к материальным ценностям, в которых оно ищет опоры, в то время как эти ценности — самое эфемерное, самое

недолговечное из всего, что существует на свете, неминуемо приведут к тому, что дух разрушения снова восторжествует над желанием сохранить старый порядок. Нападающие стороны, которым нечего терять и у которых все впереди, отлично сговорятся друг с другом, в то время как их богатые противники не захотят пожертвовать ровно ничем, чтобы найти себе защитников, — ни самолюбием, ни деньгами.

На помощь оппозиции, зачинщиками которой были альбигойцы[49] и вальденцы, явилось книгопечатание. Когда человеческая мысль, вместо того чтобы замыкаться в себе — а в былые времена ей это приходилось делать, чтобы быть понятой, — переодевается в разнообразнейшие одежды и становится достоянием народа, как бы теряя тем самым свою божественность и неоспоримость, появляется два вида изобилия, с которыми надо бороться: множественность мыслей и множественность людей. Королевская

[49] Примечания: 49

Альбигойцы — сторонники религиозной ереси катаров, не признававших церковных обрядов, проповедовавшие бедность. Название получили от города Южной Франции — Альби, были уничтожены во время Альбигойских войн (1209–1229), организованных папой Иннокентием III. Вальденсы — сторонники религиозной ереси, распространенной в конце XII века в Южной франции и Северной Италии, утверждали греховность мира и собственности, проповедовали бедность и покаяние.

власть потерпела поражение в этой борьбе, и в наши дни во Франции мы являемся свидетелями того, как она объединяется с такими элементами, которые делают ее существование трудным или даже просто невозможным. Властвовать всегда означает *действовать,* а принцип, на котором основаны все выборы, — это *обсуждение*. Никакие политические мероприятия невозможны, если обсуждение стало системой. Поэтому нельзя не признать величия женщины, которая сумела предвидеть такое будущее и которая так храбро вступила с ним в единоборство. Если Бурбоны смогли занять место династии Валуа, если они сумели захватить престол, то они обязаны этим Екатерине Медичи. Представьте себе, что второй Балафре[50] еще держался бы; тогда, как бы ни был силен беарнец[51], сомнительно, чтобы он мог завладеть короной, — ведь даже победа над герцогом Майенским и над остатками партии Гизов досталась ему дорогой ценою. Заметьте, что современные писатели-кальвинисты обви-

[50] Примечания: 50

Второй Балафре — то есть герцог Генрих де Гиз — противник Генриха Бурбона Наваррского.

[51] Примечания: 51

Беарнец — прозвище короля Генриха IV (1553–1610). Беарн — провинция в Южной Франции, где он родился.

няют Екатерину Медичи вовсе не в необходимых мерах, принятых ею в отношении Франциска II и Карла IX; а между тем оба ее сына умерли как раз вовремя, чтобы принести ей спасение, и в смерти их она действительно была повинна. Если здесь даже и не было отравления, как утверждали авторитеты, налицо были интриги еще более преступные: нет никакого сомнения в том, что она помешала Амбруазу Паре[52] спасти одного и что другого она изводила медленной нравственной пыткой. Внезапная смерть Франциска II и смерть Карла IX, подготовленные с таким коварством, ни в какой степени не затрагивали интересы кальвинистов; корнями эти события уходили в самые высокие сферы, и ни писателям того времени, ни народу не могло прийти в голову заподозрить Екатерину; догадаться об этом могли только разве де Ту, Лопиталь[53], самые возвышенные умы или главари обеих партий, которые, добиваясь короны или, напротив, защищая ее, позволяли себе прибегать к подобным средствам. Как ни странно, народные песенки нападают на Екатерину

[52] Примечания: 52

Паре, Амбруаз (1517–1590) — знаменитый французский хирург.

[53] Примечания: 53

Лопиталь, Мишель (1507–1573) — французский политический деятель, канцлер Франции, стремился примирить католиков с гугенотами.

Медичи за ее нравы. Известен анекдот о солдате, который, жаря гуся в караульном помещении Турского замка во время переговоров Екатерины с Генрихом IV, распевал песенку, оскорбительную для королевы: в этой песенке она сравнивалась с пушкой самого крупного калибра, какие тогда были у кальвинистов. Генрих IV выхватил шпагу и собирался убить солдата. Екатерина удержала его и только крикнула обидчику:

— Гуся-то этого ты получил от Екатерины!

Ввиду того, что амбуазские казни приписали Екатерине Медичи, что кальвинисты сочли эту замечательную женщину виновницей всех несчастий, неизбежных в подобной борьбе, с ней случилось то же самое, что позднее произошло с Робеспьером, судить которого должно потомство. К тому же Екатерина была жестоко наказана за предпочтение, оказанное ею герцогу Анжуйскому, которое заставило ее пренебречь двумя старшими сыновьями. Генрих III, как и все избалованные дети, относился к матери с совершенным безразличием; он предался разврату, и разврат сделал его таким, каким его мать сделала Карла, — супругом, не могущим иметь детей, королем без наследников. К несчастью, герцог Алансонский, последний из сыновей Екатерины,

умер, и смерть его была естественной. Само собой разумеется, Екатерина всячески старалась обуздать дурные страсти своего сына. История сохранила воспоминание об ужине с обнаженными женщинами, устроенном в галерее замка Шенонсо, когда Генрих III вернулся из Польши. Но и это не помогло ему избавиться от дурных привычек. Последние слова этой великой королевы подводят итог ее политике, политике, в такой степени исполненной здравого смысла, что и теперь все правительства при сходных обстоятельствах к ней прибегают.

«Мы хорошо все распороли, сын мой! — сказала она, лежа на смертном одре, когда Генрих III пришел к ней с известием о том, что враг короля убит, — теперь все надо сшить снова».

Она хотела этим сказать, что для спасения короны следовало немедленно примириться с Лотарингским домом, что единственным средством парализовать ненависть Гизов было вселить в них надежду захватить трон. Но эта непрестанная женская хитрость, хитрость итальянки, которую она всегда пускала в ход, никак не вязалась с распутной жизнью Генриха III. Стоило его замечательной матери (mater castrorum) умереть, как с ней вместе умерла и политика Валуа.

Прежде чем начать писать историю нравов в действии, автор этого исследования терпеливо и подробно изучил эпохи важнейших в истории Франции царствований, вражду бургиньонов и арманьяков[54], Гизов и Валуа, каждая из которых продолжалась по целому столетию. Целью его было создать живописную историю Франции. Изабелла Баварская[55], Екатерина и Мария Медичи — вот три женщины, которые занимают в ней главное место начиная с XIV и кончая XVII веком, вплоть до воцарения Людовика XIV. Из этих трех королев прекраснее и интереснее всех Екатерина. Она властвовала мужественно, и правление ее не было запятнано ни кровавыми любовными похождениями Изабеллы, ни еще более ужасными, хотя и менее известными страстями Марии Медичи. Изабелла призвала во Францию англичан, чтобы идти с ними на своего сына, она вступила в любовную связь со своим деверем, герцогом Орлеанским и Буабурдоном.

---

[54] Примечания: 54

Вражда бургиньонов и арманьяков. — Имеются в виду распри двух феодальных партий: арманьяков — сторонников герцога Орлеанского, во главе которых после убийства герцога стоял граф д'Арманьяк, и бургиньонов, сторонников герцога Бургундского (XV в.).

[55] Примечания: 55

Изабелла Баварская — жена французского короля Карла VI (XV в.); узнав о ее любовной связи с дворянином Буабурдоном, король сослал ее в Тур.

На совести Марии Медичи еще более тяжкие преступления. Ни та, ни другая не были способны к политической деятельности. Изучая и сравнивая эти три царствования, автор убедился в величии Екатерины: вникая во все необычайные трудности, связанные с ее положением, он понял, до какой степени историки, находившиеся под влиянием протестантства, были несправедливы к этой королеве. Он кончил тем, что написал три нижеследующих этюда; он опровергает в них те ошибочные мнения, которые сложились о Екатерине Медичи, об окружающих ее лицах и о событиях ее эпохи. Если настоящий труд оказался включен в «Философские этюды», то потому, что он раскрывает дух определенной эпохи и влияние мысли на жизнь общества. Но прежде чем перейти к области политики и говорить о борьбе Екатерины с двумя огромными препятствиями, с которыми она столкнулась на своем пути, необходимо вкратце рассказать о ее предшествующей жизни. И говорить о ней надо с точки зрения беспристрастного критика с тем, чтобы читатель мог узнать, как сложилась жизнь этой великой государыни до того самого момента, с которого начинается первая часть этого труда.

Никогда, ни в какие времена, ни в какой стране,

никакие правители не относились с большим презрением ко всякой законности, чем представители знаменитого рода Медичи, имя которых во Франции произносили Медисúс. К власти они относились так, как в наши дни к ней относятся в России. Любой правитель, которому достался престол, признается законным. Мирабо[56] был прав, говоря: «В роду у меня был только один мезальянс — это Медичи», — ибо, несмотря на все усилия специально нанятых генеалогов, совершенно очевидно, что Медичи, происходившие от Дверардо Медичи, ставшего в 1314 году гонфалоньером[57] Флоренции, были обыкновенными флорентинскими купцами, которые со временем сильно разбогатели. Первым представителем этого рода, получившим известность в истории знаменитой тосканской республики, был Сальвестро Медичи, который сделался гонфалоньером в 1378 году. У Сальвестро было два сына, Козимо и Лоренцо Медичи.

Потомками Козимо были Лоренцо Великолеп-

[56] Примечания: 56

Мирабо, Оноре Габриэль Рикети (1749–1791) — видный деятель первого этапа французской буржуазной революции 1789–1794 годов, либерального дворянства и крупной буржуазии.

[57] Примечания: 57

Гонфалоньер — должностное лицо в городах-республиках Италии, командовал ополчением города и обладал исполнительной властью.

ный, герцог Немурский, герцог Урбино — отец Екатерины, папа Лев X, папа Климент VII и Алессандро, который был не герцогом флорентинским, как это принято думать, а герцогом della citta di Penna[58] — титул, дарованный ему папой Климентом VII, чтобы подготовить его к титулу великого герцога Тосканского.

Потомками Лоренцо были: флорентинский Брут[59] Лоренпино — убийца герцога Алессандро, Козимо — первый из великих герцогов — и все правители Тосканы вплоть до 1737 года, когда род Медичи угасает.

Но ни в той, ни в другой из этих двух ветвей, ни в ветви Козимо, ни в ветви Лоренцо, бразды правления не переходят по прямой линии до того момента, пока в порабощенной отцом Марии Медичи Тоскане титул великого герцога не начинают передавать по наследству. Например, Алессандро Медичи, получивший титул герцога della citta di Penna и погибший от руки Лоренци-

---

[58] Примечания: 58

Города Пенны *(ит.).*

[59] Примечания: 59

Флорентинский Брут. — Брут, Марк Юний (85–42 гг. до н. э.) — один из организаторов заговора против Юлия Цезаря, стремившегося уничтожить в Риме республиканскую форму правления. Флорентинским Брутом Бальзак называет Лоренцо Медичи, убившего своего двоюродного брата — флорентинского герцога Алессандро Медичи, жестокого деспота.

но, был сыном герцога Урбино — отца Екатерины — и невольницы-мавританки. Поэтому Лоренцино, будучи законным сыном Лоренцо, дважды имел право убить Алессандро — и как узурпатора в своей семье, и как тирана всего города. Некоторые историки считают, что Алессандро был сыном Климента VII. Этот незаконнорожденный был признан главою республики и главою рода Медичи после того, как он женился на Маргарите Австрийской, незаконной дочери Карла V.

Франческо Медичи, супруг Бьянки Капелло[60], усыновил ребенка из простой семьи, купленного этой знаменитой венецианкой. И, удивительное дело, воцарившийся после Франческо Фердинандо сохранил за приемышем все права. В течение целых четырех царствований считалось, что дон Антонио Медичи — так звали этого мальчика — принадлежит к роду Медичи. Он завоевал всеобщую любовь к себе, оказал своему роду немаловажные услуги, и все оплакивали его кончину.

Почти у каждого из первых Медичи были незаконные дети, и судьбы этих детей всегда

---

[60] Примечания: 60

Бьянка Капелло — дочь венецианского патриция, убежала из дому со своим возлюбленным; брошенная им, стала фавориткой, а позже женой герцога Франческо Медичи (XVI в.).

складывались блестяще. Так, например, кардинал Медичи, ставший папой под именем Климента VII, был незаконным сыном Джулиано I. Кардинал Ипполито Медичи был точно так же незаконнорожденным, и он тоже чуть было не стал папой и главою своего рода.

Один из сочинителей анекдотов вкладывает в уста герцога Урбино, отца Екатерины Медичи, следующие слова, которые тот будто бы сказал своей дочери: A figlia d'inganno non manca mai la figliuolanza (Умная девушка всегда сумеет стать матерью). Сказано это было, когда речь зашла о физическом недостатке ее жениха Генриха, второго сына Франциска I. Лоренцо II Медичи, отец Екатерины, который в 1518 году вторым браком женился на Мадлене де Латур д'Овернь, умер 28 апреля 1519 года, через несколько дней после того, как, произведя на свет Екатерину, его жена умерла от родов. Таким образом, с первых же дней жизни Екатерина осталась круглою сиротою. Вот чем объясняются необыкновенные переживания ее детства, отмеченного кровавыми столкновениями стремившихся вернуть себе свободу флорентинцев с Медичи, которые хотели быть правителями Флоренции и при этом действовали настолько осторожно, что отец Екатерины огра-

ничился титулом герцога Урбино. После смерти Лоренцо, отца Екатерины, законным главою рода Медичи сделался папа Лев X; он поставил правителем Флоренции назаконного сына Джулиано, Джулио Медичи, который в то время был кардиналом. Лев X был двоюродным дедом Екатерины, и упомянутый кардинал Джулио, сделавшийся потом папой Климентом VII, приходился ему дядей только по морганатической линии. Поэтому Брантом[61] столь остроумно назвал его «дядюшкою со стороны божьей матери».

Когда Медичи осадил Флоренцию, чтобы вернуться в город, республиканцы, не удовлетворившись тем, что лишили Екатерину, в ту пору девятилетнюю девочку, всего состояния, заточили ее в монастырь; по предложению некоего Баттисты Чей, там ее хотели поставить на стене между двумя зубцами под артиллерийский огонь. Бернардо Кастильоне пошел еще дальше: на совещании, созванном для того, чтобы завершить дела, он высказал мнение, что Екатерину не только не следует возвращать папе, который требовал ее к себе, но что надо отдать ее

[61] Примечания: 61

Брантом, Пьер де Бурдейль (1540–1614) — французский писатель, оставивший множество книг мемуарного характера, хорошо рисующих нравы того времени.

солдатам, чтобы те лишили ее чести. Вы видите, насколько все народные революции похожи одна на другую. Политика Екатерины, политика, так высоко ставившая королевскую власть, скорее всего, была подсказана ей подобными сценами: девятилетняя тальянка не могла их забыть.

Возвышение Алессандро Медичи, которому в такой степени способствовал незаконнорожденный папа Климент VII, было, несомненно, вызвано тем, что сам он был незаконным сыном, и тем, что Карл V очень любил свою внебрачную дочь Маргариту. Таким образом, как император, так и папа руководствовались одним и тем же чувством. В ту эпоху Венеция была торговой столицей всего мира, а Рим — его столицей духовной; Италия еще господствовала над всем миром благодаря славе поэтов, полководцев, государственных деятелей, рожденных в ее пределах. Никогда, ни в одной стране не было такого необычайного изобилия талантов. Их было столько, что замечательными людьми оказывались даже самые мелкие ее правители. Невзирая на то, что Италию раздирали непрестанные междоусобные войны, что она была ареной, где сталкивались завоеватели, оспаривавшие друг у друга лучшие ее земли, страна эта была полна всякого рода

талантами, героями, учеными, поэтами; там процветали богатство и галантные нравы. Когда люди так сильны, они не боятся признаваться в своей слабости. Отсюда, конечно, и возник этот золотой век незаконнорожденных. К тому же надо отдать справедливость внебрачным детям рода Медичи: они со всею страстью добивались славы, умножения богатств и усиления могущества своего рода. Именно в силу этого стремления, когда герцог della citta di Penna, сын мавританки, сделался тираном во Флоренции, он стал действовать заодно с папой Климентом VII, чтобы спасти дочь Лоренцо II, которой было тогда одиннадцать лет.

Когда изучаешь ход событий и человеческих судеб в этом интереснейшем XVI веке, нельзя забывать, что одним из элементов тогдашней политики была хитрость, которая разрушала в ее деятелях прямоту характера, ту широкую цельность, которая, в нашем представлении, присуща всем выдающимся людям. Именно в этом оправдание Екатерины. Это наблюдение опровергает все банальные и нелепые обвинения, выдвинутые писателями Реформации. Эта эпоха была расцветом той самой политики, кодекс которой

был написал Макьявелли[62] и Спинозой[63], Гоббсом[64] и Монтескье, ибо «Диалог между Суллой и Эвкратом» содержит подлинные мысли Монтескье, а его связи с энциклопедистами не позволяли высказать их иначе. Принципами этими в наши дни втайне руководствуются все правительства, когда они вынашивают какие-нибудь большие захватнические планы. Мы, французы, ругали Наполеона, когда он пускал в ход эти итальянские качества, которые были у него in cute[65], и разрабатывал замыслы, которые не всегда были удачны. Но Карл V, Екатерина, Филипп II не стали бы вести себя в вопросе об Испании иначе, чем он. Если бы в то время, когда родилась Екатерина, историю изложили бы с точки зрения человеческой порядочности, она показалась бы

---

[62] Примечания: 62

Макьявелли, Никколо (1469–1527) — итальянский политический деятель и писатель. В своих трактатах провозглашал идеал правителя, не считающегося для достижения своей цели ни с законами, ни с моральными нормами.

[63] Примечания: 63

Спиноза, Барух (1632–1677) — голландский философ-материалист, автор «Политического трактата», где он утверждал, что наилучшее государственное устройство — демократическое.

[64] Примечания: 64

Гоббс, Томас (1588–1679) — английский философ-материа-лист, во время английской буржуазной революции поддерживал диктатуру Кромвеля; в книге «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» проповедовал необходимость

сильной власти, монархическую форму правления.

[65] Примечания: 65

В крови, букв.: «в коже» *(лат.).*

неправдоподобным романом. Карл V, вынужденный оказывать поддержку католицизму перед лицом нападок со стороны Лютера, который, угрожая тиаре, угрожал и трону, дает согласие на осаду Рима и заключает в тюрьму папу Климента VII. Тот же самый Климент VII, который не знает более лютого врага, чем Карл V, ухаживает за ним, чтобы только сделать Алессандро Медичи правителем Флоренции, и Карл V отдает свою дочь в жены этому незаконнорожденному. Едва только Алессандро приходит к власти, он сговаривается с Климентом, чтобы повредить Карлу V: благодаря посредству Екатерины Медичи он делается союзником Франциска I, вместе с ней он обещает помочь ему снова завоевать Италию. Лоренцино Медичи угодничает перед Алессандро и становится сотоварищем его кутежей, чтобы потом его убить. Филиппо Строцци, один из умнейших людей своего времени, так превозносил это убийство, что поклялся женить обоих своих сыновей на дочерях убийцы. Его сыновья благоговейно выполнили обет отца, невзирая на то, что как тот, так и другой, если бы они воспользовались покровительством Екатерины, могли составить себе блестящие партии: ведь один из них мог славой соперничать с Дориа, а

второй был маршалом Франции. Козимо Медичи, преемник Алессандро, не связанный, однако, с ним никакими узами родства, самым жестоким образом отомстил за смерть этого тирана, причем план отмщения созревал в течение двенадцати лет, и это время он все так же страстно ненавидел людей, которые в конечном итоге привели его к власти. Когда его сделали правителем, ему было только восемнадцать лет; он начал с того, что аннулировал все права законных сыновей Алессандро. И он сделал это в то время, когда мстил за смерть Алессандро!.. Карл V утвердил лишение своего внука наследства и признал за Козимо право называться сыном Алессандро. Придя к власти благодаря помощи кардинала Чибо, Козимо тут же подвергнул кардинала изгнанию. А кардинал Чибо обвинил Козимо, первого из великих герцогов и своего ставленника, в том, что тот хочет отравить сына Алессандро Медичи. Великий герцог, боясь потерять власть, как того же боялся и Карл V, подобно этому императору, отказался от престола в пользу своего сына Франческо, предварительно убив своего другого сына, дона Гарсию, в отмщение за смерть кардинала Джованни Медичи, которого Гарсиа убил. Козимо I и его сын Франческо вместо того, чтобы хранить

верность французскому двору, единственной силе, в которой он мог найти поддержку, сделались лакеями Карла V и Филиппа II и тем самым тайными, подлыми и коварными врагами Екатерины Медичи, женщины, столь прославившей их род. Вот в основном нелепые противоречия, интриги и алые козни внутри одного только рода Медичи. То же самое можно сказать и о других правителях Италии и Европы. Все посланники Козимо I при французском дворе в числе прочих секретных инструкций получали распоряжение отравить Строцци, родственника королевы Екатерины, если они его где-либо встретят. По приказу Карла V было убито три посла Франциска I.

В начале октября 1533 года герцог della citta di Penna отправился из Флоренции в Ливорно в сопровождении единственной наследницы Лоренцо II, Екатерины Медичи. Герцог и принцесса Флорентинская, ибо четырнадцатилетняя девочка носила тогда этот титул, покинули город в сопровождении множества челяди, служащих, секретарей. Шествие возглавляли латники, замыкал его отряд легкой кавалерии. Юная принцесса не представляла себе, что ее ждет, и могла только предполагать, что в Ливорно состоится свидание герцога Алессандро с папой. Однако дядя ее Фи-

липпо Строцци вскоре раскрыл ей, с какой целью ее туда везли.

Филиппо Строцци женился на Кларисе Медичи, единокровной сестре Лоренцо Медичи, герцога Урбино, отца Екатерины. Однако брак этот, целью которого было не только перетянуть на сторону Медичи одного из самых надежных столпов народной партии, но и обеспечить возвращение представителей рода Медичи, находившихся в то время в изгнании, нисколько не повлиял на этого неукротимого борца, которого его собственная партия преследовала за этот брак. Несмотря на то, что внешне его поведение под влиянием этого союза в какой-то степени изменилось, в душе он остался верен народной партии и сразу же выступил против Медичи, едва только разгадал их намерение поработить Флоренцию. Этот великий человек отказался даже от княжества, предложенного ему папой Львом X. В то время Филиппо Строцци сделался жертвой политики Медичи, средства которой много раз менялись, но цель оставалась неизменно прежней. Ему пришлось на себе испытать все бедствия, которые повлекло за собою пленение Климента VII, когда, захваченный врасплох Колонной, тот укрылся в замке Святого Ангела. А потом не кто иной, как

Климент, выдал его и отправил заложником в Неаполь.

Едва только папа был освобожден, он со всею силой обрушился на своих врагов. Строцци едва не поплатился жизнью, и ему пришлось отдать огромную сумму денег, чтобы выйти из тюрьмы, где он находился под строгим надзором. Как только он очутился на свободе, он в порыве простодушия, свойственного всем порядочным людям, решил явиться к Клименту VII, который, вероятно, уже поздравлял себя с тем, что избавился от него. Папе стало, должно быть, стыдно за свое поведение, и он принял Строцци весьма неласково. Таким образом, Строцци, тогда еще совсем юному, пришлось пройти тяжелую школу, испытав на себе все горести, которые выпадают в политике на долю человека честного, чья совесть не гнется в зависимости от обстоятельств, чьи поступки диктуются одними только благородными побуждениями. Такой человек гоним всеми. Он противится слепым страстям народа, и народ ополчается против него; он обличает злоупотребления власти, и власть его преследует. Жизнь этих великих граждан — сплошное мученичество; их единственная поддержка — громкий голос собственной совести и героическое созна-

ние общественного долга. Они-то одни и диктуют их поступки. В республике Флоренции таких людей было немало: столь же великих, как Строцци, и столь же многосторонних, как их противники из партии Медичи, хотя эти последние и побеждали их своей флорентинской хитростью. Может ли что-нибудь сравниться по благородству с поведением всех участников заговора Пацци[66] и самого главы этого дома? Коммерческие обороты дома Пацци были огромны, и вот, прежде, чем осуществить свой широкий замысел, он производит все расчеты с Азией, Левантом, с Европой, чтобы в случае, если дело их потерпит крах, купцы, с которыми у него были торговые связи, ничего бы не потеряли. Поэтому приход к власти рода Медичи с XIV по XV век — одна из прекраснейших страниц истории, и она еще до сих пор не написана, несмотря на то, что писать об этих событиях пытались многие даровитые люди. Это никак не история республики, или общества, или какой-нибудь определенной цивилизации. Это история того, как складывается политический деятель, а политическая история — всегда история

[66] Примечания: 66

Заговор Пацци. — Пацци — флорентинская, республикански настроенная семья, члены которой возглавили в 1478 году заговор против власти дома Медичи, но потерпели поражение.

поработителей и узурпаторов. По возвращении во Флоренцию Филиппо Строцци возродил там прежнюю форму правления и возвысил другого незаконнорожденного, Ипполито Медичи, и Алессандро, с которым они в ту пору были в союзе. Непостоянство народа его тогда испугало, и, так как он опасался мести Климента VII, он занялся делами огромного торгового дома, который у него был в Лионе и который поддерживал сношения с его банкирами в Венеции, в Риме, во Франции и в Испании. Удивительное дело! Эти люди, несшие на себе всю тяжесть государственных дел и непрестанной борьбы с родом Медичи, не говоря уже о распрях внутри их собственной партии, возложили на себя еще и бремя торговли, или, вернее, торговых спекуляций и всевозможных банковских сделок, а все это, в силу большого количества имевших тогда хождение денежных единиц и обилия фальшивых денег, было предприятием значительно более трудным, чем в наши дни. (Самое слово «банкир» происходит от итальянского слова banco — скамья, на которой они сидели и на которую бросали золотые и серебряные монеты, проверяя их подлинность по звону.) В это время у Филиппо умерла жена, которую он боготворил, и, воспользовавшись этим предлогом, он сумел

уклониться от домогательств республиканской партии. А ведь известно, что именно при республиканском строе полиция становится особенно грозной, ибо идеей свободы можно оправдать все что угодно, и, прикрываясь ею, каждый становится шпионом. Филиппо вернулся во Флоренцию только тогда, когда этот город вынужден был склониться под игом Алессандро. Но перед этим он отравился к папе Клименту VII, дела которого обстояли довольно хорошо и который поэтому не изменил своего расположения к нему. Победившим Медичи до такой степени нужен был человек, подобный Строцци, хотя бы для того, чтобы обеспечить приход к власти Алессандро, что Клименту удалось убедить его занять место в совете этого незаконнорожденного, который готовился поработить народ, и Филиппо согласился занять кресло сенатора. Но через два с половиной года, точно так же как Сенека и Бурр[67] во времена Нерона, он стал свидетелем зарождения тирании. Неприязнь к нему народа была так

[67] Примечания: 67

Как Сенека и Бурр… он стал свидетелем зарождения тирании. — Имеется в виду Луций Анней Сенека — философ, драматург и политический оратор. Сенека и военачальник Бурр были воспитателями римского императора Нерона, известного своей жестокостью. По приказанию Нерона Бурр был отравлен. Сенека принял участие в заговоре против императора (65 г. н. э.); видя неудачу заговора, вскрыл себе вены.

велика, а Медичи, противником которых он был, отнеслись к нему так подозрительно, что теперь он понял, как близка развязка. Поэтому, как только он узнал от герцога Алессандро о предстоящей свадьбе Екатерины с сыном французского короля, которая, быть может, состоится в Ливорно, где встретились жених и невеста, он решил поехать во Францию с тем, чтобы не покидать там своей племянницы, которой был нужен наставник. Алессандро, радуясь тому, что избавился от такого неподходящего для Флоренции человека, утвердил это решение, которое давало ему возможность обойтись без убийства, и посоветовал Строцци возглавить свиту Екатерины. В самом деле, чтобы ослепить французский двор, Медичи снарядили блестящую свиту для той, которую они совершенно неправильно называли *флорентинской принцессой* и которая носила также имя герцогини Урбино. Коргеж, во главе которого ехали герцог Алессандро, Екатерина и Строцци, насчитывал более тысячи человек, не считая эскорта и слуг, так что, когда хвост процессии был еще у ворот Флоренции, голова его уже прошла ту деревню за пределами города, где в наши дни изготовляют соломку для шляп.

В народе стали поговаривать о том, что Ека-

терина собирается выходить замуж за сына Франциска I, вначале это был всего только слух, но после триумфального шествия из Флоренции в Ливорно у тосканцев уже не осталось никаких сомнений на этот счет. Видя все эти приготовления, Екатерина сама заподозрила, что ее готовятся выдать замуж, и ее дядя раскрыл ей, какая неудача постигла дом Медичи, в расчеты которого входило выдать ее за дофина. Герцог Алессандро все еще надеялся, что герцогу Олбени удастся изменить решение французского короля, который стремился купить себе в Италии поддержку рода Медичи, но тем не менее соглашался только на брак Екатерины с герцогом Орлеанским. Этот мелочный расчет оказался гибельным для Италии, но, однако, не помешал Екатерине стать королевой.

Этот герцог Олбени, сын Александра Стюарта, брата Джеймса III, короля Шотландии, женился на Анне де Латур де Булонь, сестре Мадлен де Латур де Булонь, матери Екатерины; таким образом, он приходился ей дядею с материнской стороны. Именно с материнской стороны Екатерина была так богата и связана родственными узами со столькими семействами. Как это ни странно, но даже ее соперница Диана де Пуатье и та прихо-

дилась ей двоюродной сестрой. Матерью Жана де Пуатье, отца Дианы, была Жанна де Латур де Булонь, тетка герцогини Урбино. По этой линии Екатерина точно так же находилась в родстве и с невесткой своей Марией Стюарт.

Екатерина узнала тогда, что в приданое ей дают деньгами сто тысяч дукатов. Дукат был золотой монетой величиною в один из наших старинных луидоров, но вдвое тоньше. Золото в то время ценилось очень высоко, а так как один нынешний дукат равняется почти двенадцати франкам, то в переводе на наши деньги эта сумма составляет шесть миллионов франков. Можно себе представить, какие обороты делал банкирский дом Филиппо Строцци в Лионе, если его миланская контора могла выплатить эти миллион двести тысяч ливров золотом. Кроме того, Екатерина должна была получить себе в приданое графство Овернь и Лорагэ, а папа Климент подарил ей еще на сто тысяч дукатов золотых вещей и различных драгоценностей и сделал немало других свадебных подарков, в которых принял участие и сам герцог Алессандро.

Приехав в Ливорно, Екатерина, в то время еще совсем юная, была, несомненно, польщена исключительным великолепием кортежа, который

устроил возглавлявший тогда род Медичи папа Климент, ее «дядюшка со стороны Божьей матери», чтобы затмить французский двор. Он прибыл и сам на одной из своих галер, сплошь обитой изнутри темно-красным атласом с золотой бахромой и покрытой тентом из парчи. На этой галере, украшение которой обошлось около двадцати тысяч дукатов, несколько помещений было отведено для невесты Генриха французского; все они были украшены редчайшими из собранных родом Медичи драгоценностей и диковин. Капитаном великолепно одетых гребцов был приор ордена иоаннитов. Папская свита разместилась на трех других галерах. Галеры герцога Олбени, ставшие на якорь подле галер Климента VII, составляли вместе с ними очень внушительную флотилию. Герцог Алессандро представил папе свиту Екатерины; у него было с папой тайное совещание, и на этом совещании он, по-видимому, представил ему графа Себастъяно Монтекуккули, который покинул, и, должно быть, несколько неожиданно, свою службу у императора, и двух генералов последнего, Антуана де Лэва и Фердинандо Гонзаго. Не договорились ли между собою оба незаконнорожденные, Джулио и Алессандро, сделать так, чтобы герцог Орлеанский стал дофи-

ном? Какую награду обещали за это Себастъяно Монтекуккули, человеку, который, до того как поступить на службу к Карлу V, изучал медицину? История об этом молчит. К тому же мы увидим, каким туманом неизвестности окутано это событие. Все здесь настолько неясно, что недавно еще авторитетные и вдумчивые историки полагали, что Монтекуккули ни в чем не виновен.

Тогда-то папа официально объявил Екатерине, кому ее готовят в жены. Единственное, что удалось сделать герцогу Олбени, и то ценою больших усилий, — это добиться, чтобы французский король сдержал обещание женить на Екатерине своего второго сына. Климент был в таком нетерпении, он до такой степени боялся, что все его планы рухнут в результате какой-либо интриги императора или оттого, что в дело вмешается французская знать, презиравшая род Медичи и противившаяся этому браку, что он немедленно же сел на корабль и отправился в Марсель. Он прибыл туда в конце октября 1533 года. Как ни был богат дом Медичи, роскошь его померкла перед блеском французского двора. Чтобы читатель знал, каких пределов достигло великолепие этих банкиров, достаточно сказать, что вместо двенадцати новых монет папа в качестве свадебного

подарка подарил двенадцать монет древних, исключительных по своей исторической ценности, так как все это были уникумы. Но Франциск I, любивший блеск и празднества, превзошел всех. Свадьба Генриха Валуа и Екатерины продолжалась тридцать четыре дня. Совершенно не к чему пересказывать подробности (их можно найти в любой истории Прованса и города Марселя) знаменитого свидания папы с французским королем, которое дало повод к известной остроте герцога Олбени о том, что следует соблюдать посты; шутка эта, о которой нам рассказывает Брантом, развлекала тогда всех придворных: она характерна для нравов той эпохи. Невзирая на то, что Генрих Валуа был всего двадцатью днями старше Екатерины Медичи, папа потребовал, чтобы оба эти подростка стали фактически мужем и женой в самый день торжества — до такой степени он боялся разных хитростей и уловок, которые были в эти времена в ходу. Историки утверждают, что Климент хотел иметь доказательства супружеской жизни молодых и, чтобы получить их, задержался на тридцать четыре дня в Марселе; он надеялся, что его юная племянница представит ему эти доказательства, ибо, несмотря на свои четырнадцать лет, Екатерина уже

достигла половой зрелости. По всей вероятности, не кто иной, как он, расспрашивая новобрачную перед тем как уехать, сказал ей в утешение приписываемые отцу Екатерины знаменитые слова: A figlia d'inganno non manca mai la figliuolanza.

Бесплодие Екатерины, продолжавшееся десять лет, объяснялось самыми странными причинами. В наши дни мало кто знает, что по поводу этого обстоятельства в ряде медицинских трактатов высказаны предположения до такой степени непристойные, что даже рассказать их нельзя. Достаточно хотя бы прочесть, что об этом пишет Бейль в статье, озаглавленной «Фернель». По одному этому можно судить о том, какие клеветнические измышления до сих пор еще чернят память этой королевы, рисуя все поступки ее в ложном свете. Причины ее бесплодия следовало искать вовсе не в ней самой, а исключительно в Генрихе II. Достаточно отметить, что в те времена ни один принц не стеснялся иметь незаконнорожденных детей, и тем не менее у Дианы де Пуатье, пользовавшейся гораздо большим расположением принца, чем его законная жена, детей не было. В медицине подробно описан тот физический недостаток, которым страдал Генрих II. Становятся понятными и все шутки

придворных дам, которые могли делать из него аббата Сен-Виктора в те времена, когда на французском языке можно было говорить о таких вещах, называть которые в наши дни позволено только латинскими словами. После того как принц подвергся операции, у Екатерины было одиннадцать беременностей и она родила десятерых детей. То обстоятельство, что Генрих II так запоздал с этой операцией, — настоящее счастье для Франции. Если бы Диана могла иметь от него детей, политические дела страны необычайно бы осложнились. Как только эта операция была сделана, герцогиня Валантинуа пережила вторую молодость женщины. Одного этого обстоятельства достаточно, чтобы убедиться, что историю Екатерины Медичи необходимо написать заново и что, как очень верно заметил Наполеон, историю Франции или следует всю уложить в один том, или же отвести под нее тысячу томов.

Стоит только сравнить поведение Карла V во время пребывания папы Климента VII в Марселе с поведением французского короля, и мы увидим, насколько король превзошел императора. Вот краткое описание этой встречи, принадлежащее перу современника.

«После того как его святейшество папа прибыл

во дворец, который, как я говорил, был отведен ему по другую сторону порта, все разошлись по своим покоям до следующего дня ожидать, пока его святейшество приготовится к въезду в город, каковой въезд был весьма торжествен и пышен. Папа восседал на носилках, которые двое слуг несли на плечах; облачен он был в одеяния первосвященника; не было только тиары. Впереди на белом иноходце везли святые дары, и лошадь эту вели под уздцы два великолепно одетых конюха, и поводья были из белого шелка. За ними следовали все кардиналы в своих парадных одеяниях, *верхом на папских мулах,* как подобает их сану, и госпожа герцогиня Урбино во всем своем великолепии, сопровождаемая множеством знатных дам и господ, как итальянцев, так и французов. Когда сопутствуемый всей этой свитой святой отец достиг места, где ему были уготованы покои, все степенно удалились, и при этом не было никакого смятения и беспорядка. И в то время как совершал свой въезд папа, король сел на фрегат и отправился морем в то место, которое папа перед этим покинул, дабы из этого самого места наутро смиренно явиться к отцу церкви, как и подобает истинно христианскому королю.

Подготовившись, король отправился во дворец,

где пребывал папа. Сопровождали его принцы крови, среди которых были герцог Вандомский (отец видама[68] Шартрского), граф Сен-Поль, господа де Монпансье и де Ларош-сюр-Ион, герцог Немурский, брат герцога Савойского, который умер во время своего пребывания там, герцог Олбени и многие другие; графы, бароны, сеньоры, причем сеньор Монморанси находился все время при короле, своем господине. И когда король прибыл во дворец, он был очень учтиво принят папой и всей коллегией кардиналов, собравшихся на консисторию. После чего каждый удалился в отведенное ему место, король же пригласил к себе на праздник нескольких кардиналов, и в их числе кардинала Медичи, племянника папы. Кардинал явился в роскошном облачении, с большою свитой.

Начиная со следующего дня определенные лица, назначенные для этой цели его святейшеством и королем, стали встречаться и обсуждать вопросы, для решения которых они сюда приехали. Прежде всего они занялись делами религии, и была оглашена булла, дабы искоренить ереси и не допустить, чтобы смуты в стране разго-

---

[68] Примечания: 68
Видам — старинный дворянский титул во Франции.

рались еще сильнее. После чего совершилось бракосочетание герцога Орлеанского, второго сына короля, с Екатериной Медичи, герцогиней Урбино, племянницей его святейшества. Условия были те же или весьма сходные с теми, кои были предложены папой герцогу Олбени. Означенное бракосочетание совершилось с превеликим торжеством, и союз их благословил наш святой отец.

После того как это бракосочетание было совершено, его святейшество созвал консисторию и возвел четверых епископов в сан кардинала: кардинала Ле Венер, который перед этим был епископом Лизье и королевским попечителем бедных, кардинала Булонского из дома Ла-Шамбр, приходившегося с материнской стороны братом герцогу Олбени, кардинала Шатальонского из дома Колиньи, племянника сира де Монморанси, кардинала де Живри».

Когда Строцци в присутствии всего двора стал вручать привезенное приданое, он заметил, что французские вельможи были несколько удивлены: они довольно громко заявили, что это вовсе не так много, чтобы возместить неравенство сторон в браке (что бы они сказали в наши дни?). На это кардинал Ипполито ответил:

— Очевидно, вы плохо осведомлены о секретах вашего короля. Его святейшество обещался передать Франции три жемчужины, которым нет цены: Геную, Милан и Неаполь.

Папа предоставил Себастъяно Монтекуккули возможность лично явиться к французскому двору, где он и предложил свои услуги: он стал жаловаться на Антуана де Лэва и Фердинан до Гонзаго и поэтому был принят при дворе. Монтекукулли сам не принадлежал к свите Екатерины, которая целиком состояла теперь из французов и француженок, ибо, к великому удовольствию папы, к ней был применен закон монархии: Екатерина еще до свадьбы приняла французское подданство, что было скреплено подписями и печатями. Вначале Монтекуккули служил при дворе королевы, сестры Карла V. Спустя некоторое время он перешел на службу к дофину в качестве кравчего.

При дворе Франциска I герцогине Орлеанской жилось очень тяжко. Ее молодой супруг увлекся Дианой де Пуатье, которая по своему рождению могла соперничать с Екатериной, но которая притом занимала еще более высокое положение, чем она. Дочери Медичи пришлось немало вытерпеть от королевы Элеоноры, сестры Карла

V, и от герцогини Этамлекой, которая благодаря своему браку с главою дома де Брос стала одной из самых могущественных и самых именитых французских дам. Ее тетка герцогиня Олбени, королева Наваррская, герцогиня Гиз, герцогиня Вандомская, супруга коннетабля и многие другие не менее влиятельные дамы своим происхождением, своими правами и своим влиянием при дворе, великолепнейшем из всех французских дворов, не исключая даже двора Людовика XIV, затмевали дочь флорентинских торговцев пряностями, у которой было больше славы и больше богатства по дому де Латур де Булонь, чем по ее собственному дому Медичи.

Положение племянницы Филиппо Строцци было настолько тяжелым и трудным, что этот республиканец, будучи не в состоянии руководить ею среди сплетения столь противоречивых интересов, через год покинул ее и уехал в Италию, куда к тому же его вызвали в связи с кончиною папы Климента VII. Поведение Екатерины, особенно если вспомнить, что ей в то время едва исполнилось пятнадцать лет, было образцом благоразумия: она очень сильно привязалась к своему свекру-королю и старалась всегда быть при нем; она сопровождала его верхом и на охоту

и на войну. Ее откровенное преклонение перед Франциском I поставило дом Медичи вне всяких подозрений, когда был отравлен дофин. Екатерина вместе с герцогом Орлеанским находилась тогда в ставке короля в Провансе, ибо вскоре после этого бракосочетания на Францию напал Карл V, шурин короля. Королевский двор так и не успел покинуть место, где только что окончились свадебные торжества — на смену веселью туда пришли ужасы одной из самых страшных войн. В то время как Карл V, обращенный в бегство, терял последних своих солдат в Провансе, дофин возвращался по Роне в Лион. Он остановился на ночлег в Турноне и, скуки ради, проделал несколько самых неистовых физических упражнений, единственное, чему он и его брат, находясь на положении заложников, могли научиться. Это было в августе, принц сильно разгорячился и имел неосторожность попросить стакан воды; Монтекуккули подал ему воду со льдом. Дофин умер почти внезапно. Франциск I обожал своего сына. Как утверждают все историки, дофин был принцем в лучшем смысле этого слова. Убитый горем отец затеял громкий процесс против Монтекуккули, поручив расследовать дело самым ученым из судей своего времени. Вначале граф

героически переносил все пытки, но потом в своих показаниях стал упорно называть императора[69] и двух его генералов — Антуана де Лэва и Фердинандо Гонзаго. Подобный ход следствия не удовлетворил Франциска I. Ни одно дело не разбиралось с такой тщательностью, как это. Вот как, по словам очевидца, поступил король:

«Король созвал в Лион всех принцев крови и рыцарей своего ордена и других видных людей своего королевства: папского легата и нунция, кардиналов, которые в это время находились при его дворе, равно как и посланников: английского, шотландского, португальского, венецианского, феррарского и других, а вместе с ними всех принцев и видных иностранных сеньоров, как итальянских, так и немецких, которые в это время находились у него при дворе. Там были, например, герцог Витеннбергский из Германии, герцог Сомский, Арианский, Атрийский, князь Мальфи (который когда-то собирался жениться на Екатерине), Стиллиано из Неаполя, синьор Ипполито д'Эсте, маркиз Виджево из миланского дома Тривульче, синьор Джованни Паоло де Чера из Рима, синьор Чезаре Фрегозе из Генуи,

[69] Примечания: 69

…стал упорно называть императора… — Речь идет о германском императоре и испанском короле Карле V.

синьор Аннибале Гонзаго из Мантуи и другие в превеликом числе. Когда они собрались, им были прочитаны от начала до конца протоколы процесса того *несчастного,* который отравил покойного дофина, со всеми показаниями, допросами и очными ставками и всем тем, что требуется в суде, ибо король не хотел, чтобы приговор был приведен в исполнение до того, как все присутствующие выскажут свое мнение по поводу этого чудовищного и подлого злодеяния».

Верность, преданность и ловкость графа Монтекуккули покажутся чем-то совершенно необычным в наше время, когда ни о каком умении хранить тайну не может быть и речи, когда все на свете, вплоть до самих министров, готовы говорить о любом ничтожнейшем происшествии, в котором они замешаны. Но в то время принцы умели выбирать себе преданных слуг. Тогда можно было встретить монархических Море[70], ибо у людей была вера. Никогда не требуйте ничего значительного от людей, движимых корыстью, потому что выгодным может

[70] Примечания: 70

Море, Пьер — французский республиканец; его обвинили в участии в республиканском заговоре Фисски против короля Луи-Филиппа, и, хотя это не было доказано, он был приговорен к смертной казни в 1836 году.

быть и одно и другое, но ждите всего от чувств, от того, кто верит в бога, в монарха, в родину. Эти три вида убеждений, и только они, породили Бертро[71] в Женеве, Сиднея[72] и Стрэффорда в Англии, убийц Томаса Бекета, точно так же, как Монтекуккули, Жака Кера[73] и Жанну д'Арк, Ришелье и Дантона, Боншана[74], Тальмона[75] и наряду с этим Клемана[76], Шабо[77] и других. Карл V поручил осуществить убийство трех посланников Франциска I представителям высшей знати. Год спустя Лоренцино, двоюродный брат Екатерины, убил герцога Алессандро, после того как в течение трех лет притворялся его другом. Обстоятельства убийства были таковы, что его прозвали флорентинским Брутом. Подобные злодеяния замышлялись даже против самых высокопостав-

---

[71] Примечания: 71

Бертро. — Бальзак неверно называет фамилию. Речь идет о Бертелье Филибере (1470–1519), прославившемся во время защиты Женевы от войск герцога Савойского. После падения Женевы Бертелье отказался бежать, враги его казнили.

[72] Примечания: 72

Сидней, Олджер (1622–1683) — английский республиканец, казнен за участие в заговоре против короля (1678).

[73] Примечания: 73

Жак Кер (ок. 1395–1456) — богатый французский торговец, ссужал короля деньгами, за что получил дворянство.

[74] Примечания: 74

Боншан, Шарль, маркиз (1759–1793) — французский генерал, предводитель вандейского контрреволюционного восстания.

[75] Примечания: 75

Тальмон, Антуан Филипп — один из активных участников контрреволюционного восстания в Вандее, казнен в 1794 году.

[76] Примечания: 76

Клеман, Жак (1567–1589) — французский монах-доминиканец, убивший французского короля Генриха III.

[77] Примечания: 77

Шабо, Франсуа (1759–1794) — член революционного Конвента, был казнен по решению Трибунала в 1794 году.

ленных лиц, поэтому никто не верил, что Лев X или Климент VII умерли естественной смертью. Мариана, историк Филиппа II, сообщая о кончине королевы испанской, урожденной французской принцессы, полушутя говорит, что «во имя славы испанского престола господь допустил, чтобы врачи, по своей слепоте, лечили королеву от водянки» (в действительности же она была беременна). Когда король Генрих II позволил себе оскорбление, которое заслуживало ответа ударом шпаги, нашелся Ла Шатеньре, который и принял на себя этот удар. В эту эпоху принцам и принцессам еду приносили в закрытых на замок шкатулках, а ключи хранились всегда у них. Отсюда и произошло название «право на замок»; привилегия эта перестала существовать при Людовике XVI.

Дофин был отравлен тем же способом и, возможно, тем же самым ядом, которым в царствование Людовика XIV была отравлена жена Филиппа Орлеанского, брата короля. Папа Климент VII уже два года как умер. Герцог Алессандро совсем погряз в распутстве и, по-видимому, не придавал никакого значения возвышению герцога Орлеанского. Екатерина, которой было тогда семнадцать лет, обожала своего свекра и в день,

когда произошло это событие, находилась при нем. Единственный, кто мог быть заинтересован в смерти дофина, — это Карл V, ибо у Франциска I был план женить своего сына так, чтобы с его женитьбой территория Франции увеличилась. Поэтому граф в своих признаниях очень ловко учел соотношение страстей и всех политических сил своего времени: Карл V бежал, после того как его армия погибла в Провансе, а с нею вместе его удача, его слава, его надежды на господство. Необходимо помнить, что даже если этот человек был невиновен и все его признания, сделанные под пытками, вынужденные, то Франциск I предоставлял ему право свободно говорить перед высоким собранием и в присутствии людей, которые в какой-то мере стремились к справедливости. Король хотел знать правду и совершенно искренне ее добивался.

Несмотря на открывшееся перед Екатериной блестящее будущее, положение ее при дворе после смерти дофина нисколько не изменилось; если бы престол достался ее мужу, бесплодие ее могло повести за собой развод. Дофин был по-прежнему увлечен Дианой де Пуатье. Диана дерзала соперничать с г-жой д'Этамп. В силу этого Екатерина все свои заботы и все внимание

устремила на свекра: она понимала, что ни в ком, кроме него, ей не найти поддержки. Словом, первые десять лет замужества Екатерины были отмечены все новыми разочарованиями и горем; надежды забеременеть неизменно рушились, а соперничество Дианы отравляло все ее дни. Судите сами, во что должна была обратиться жизнь принцессы, если за ней неотступно следила ревнивая любовница ее мужа, находившая себе поддержку в сильнейшей из партий — партии католиков — и в могущественных связях, которые образовались у жены сенешаля, когда она выдала замуж обеих своих дочерей, одну за Робера Ламарка, герцога Бульонского, принца Седанского, другую — за Клода Лотарингского, герцога Омальского.

Екатерина, очутившись между двух партий: партией г-жи д'Этамп[78] и партией жены сенешаля (так в царствование Франциска I называли Диану) — обе эти партии находились в состоянии смертельной вражды, расколовшей надвое королевский двор и все государство, — пыталась сохранить дружбу и с герцогиней д'Этамп, и с Дианой де Пуатье.

---

[78] Примечания: 78

Г-жа д'Этамп, Анна (1508–1585) — фаворитка французского короля Франциска I.

Екатерина, которой суждено было стать столь замечательной королевой, научилась той двоедушной политике, которая составила суть всей ее жизни. Екатерина-королева сумела лавировать между католиками и кальвинистами так же, как Екатерина-женщина лавировала между г-жой д'Этамп и г-жой де Пуатье. Она изучила всю противоречивость французской политики: Франциск I поддерживал Кальвина и лютеран, чтобы поставить в затруднительное положение Карла V. Потом, после того, как он долгое время втайне помогал делу Реформации в Германии, после того, как он дал согласие на пребывание Кальвина при Наваррском дворе, он сам обрушился на реформатов с наслыханной яростью. Екатерина увидела, что весь двор, в том числе и придворные дамы, играл с ересью, как с огнем. Диана стояла во главе католической партии вместе с Гизами только потому, что герцогиня д'Этамп поддерживала Кальвина и протестантов. Вот какое политическое воспитание получила эта королева: при французском дворе она видела те же порядки, что и в доме Медичи. Дофин на каждом шагу перечил своему отцу: он был плохим сыном. Он позабыл самую страшную, но вместе с тем и самую верную заповедь монарха:

у государей всегда одни и те же цели, и сын, даже если он при жизни отца был его противником, должен следовать его политике, став королем. Вот что говорит Спиноза, который был не только великим философом, но и мудрым политиком, о государе, вступающем на престол в результате убийства своего предшественника или мятежа: «Если новый государь хочет удержаться на престоле и быть спокойным за свою жизнь, то надо, чтобы он с неслыханной яростью мстил за смерть своего предшественника, дабы потом никому уже не могло прийти в голову совершить подобное преступление. Но чтобы месть эта была достойной, ему недостаточно пролить кровь своих подданных, он должен ратовать за политику, которую проводил убитый государь, и в деле управления страной следовать по его пути». Это правило помогло Медичи захватать Флоренцию. Козимо I, преемник герцога Алессандро, спустя одиннадцать лет после своего воцарения приказал убить в Венеции флорентинского Брута и, как мы уже говорили, неустанно преследовал всех Строцци. Забвение этого правила погубило Людовика XVI. Этот король погрешил против всех основ государственности, восстановив парламенты, уничтоженные его дедом. Людовик XV был

прав. Парламенты[79], в особенности парижский, в значительной степени вызвали те волнения, которые повлекли за собою созыв Генеральных штатов. Ошибкой Людовика XV было то, что, уничтожив этот барьер, отделявший короля от народа, он не заменил его чем-либо более прочным, иначе говоря, то, что взамен парламентов он не создал устойчивой конституции для провинций. Она-то и могла стать лекарством от всех монархических зол, с помощью нее были бы упорядочены и утверждены налоги и постепенно проведены все реформы, необходимые для поддержания монархии.

Первое, что сделал Генрих II, — он оказал доверие коннетаблю Монморанси, несмотря на то, что отец его завещал ему держать того в немилости. Коннетабль Монморанси вместе с Дианой де Пуатье, с которой его связывали близкие отношения, по сути дела, был хозяином государства. Таким образом, став королевой Франции, Екатерина была еще менее счастлива, чем тогда, когда она была дофиной. Кроме того, начиная с 1543 года, в течение десяти лет, она каждый год рожала

[79] Примечания: 79

Парламенты. — До революции 1789–1794 годов парламентами во Франции назывались высшие суды, на которые возлагались и некоторые административные функции.

по ребенку и выполняла свой материнский долг на протяжении всего этого десятилетия — то есть последних лет царствования Франциска I и почти всего царствования Генриха II. Столь частые беременности были на руку ее сопернице, которая таким образом избавлялась от законной жены. Екатерина не могла простить Диане этой грубой женской хитрости. Будучи таким образом отстраненной от государственных дел, эта замечательная женщина стала наблюдать за интригами придворных и партий, образовавшихся при дворе. Все находившиеся при ней итальянцы возбуждали страшные подозрения. После казни Монтекуккули коннетабль Монморанси, Диана и большинство проницательных придворных политиков были склонны подозревать Медичи, но Франциск I всегда отвергал эти подозрения. Поэтому и Гонди, и Бирага, и Строцци, и Руджери, и Сардини — словом, все итальянцы, приехавшие во Францию вместе с Екатериной, вынуждены были проявлять чудеса хитрости и храбрости, чтобы вынести жизнь при дворе под гнетом нависшей над ними немилости. В то время, когда у власти была Диана де Пуатье, Екатерина проявляла к ней такое расположение, что досужие умы усмотрели бы в этом доказательство того

глубокого притворства, к которому ее вынудили прибегнуть события, окружающие ее люди и поведение Генриха II. Те, кто думает, что Екатерина никогда не предъявляла своих прав, ни как супруга, ни как королева, слишком далеко уходят от истины. Надо сказать, что чувство собственного достоинства было развито в ней в самой высокой степени, и оно мешало ей настаивать на том, что историки называют супружескими правами. Одиннадцать беременностей Екатерины и десять родившихся у нее детей достаточно объясняют поведение Генриха II, который на протяжении всех этих беременностей мог проводить сколько угодно времени с Дианой де Пуатье. Но, вне всякого сомнения, король неукоснительно исполнял свои обязанности перед самим собою. При коронации он устроил королеве торжественный въезд, не уступавший всем тем, которые происходили во время прежних коронаций. В протоколах парламента и Счетной палаты записано, что два величественных кортежа, предварявших появление Екатерины, тянулись через весь Париж до Сен-Лазара. Да вот и выдержка из описания, сделанного дю Тилле.

«В Сен-Лазаре был воздвигнут помост, на котором поставили трон (дю Тилле называет его

парадным креслом). На нем восседала Екатерина в горностаевом казакине, украшенном драгоценными камнями, в корсаже и в королевской мантии. На голове у нее была корона, вся в жемчугах и алмазах. Рядом с нею поместилась жена маршала Ламарка, ее статс-дама. Вокруг них стояли принцы крови, а также другие богато одетые принцы, сеньоры, канцлер Франции в одеянии из парчи с золотыми узорами на красном фоне. Впереди королевы на том же возвышении сидели в два ряда двенадцать герцогинь и графинь, все одетые в горностаевые казакины, корсажи, мантии и с герцогскими и графскими коронами на головах. Это были герцогини д'Эстувиль, старшая и младшая Монпансье, принцесса де Ларош-сюр-Ион, герцогини Гиз, Нивернуа, де Валантмнуа (Диана де Пуатье), герцогиня Омальская, Мадемуазель, побочная дочь короля Франции (которая стала герцогиней де Кастро-Фарнезе, а потом герцогиней де Монморанеи-Данвиль), госпожа жена коннетабля и мадемуазель де Немур, не считая других дам, для которых там не хватило места. Четыре президента парламента в бархатных шапочках, несколько советников, а также секретарь дю Тилле, поднявшись на помост, преклонили перед королевой колени, и первый президент

Лизе обратился к ней с речью. Канцлер стал на одно колено и произнес ответную речь. Въезд королевы состоялся в три часа дня, она ехала в открытых носилках. Напротив сидела Маргарита Французская, по обе стороны носилок шли кардиналы Амбуазский, Шатильонский, Булонский и Ленонкурский в своих одеяниях. Королева остановилась у собора Парижской богоматери, где ее встретило духовенство. По окончании молебствия королеву повезли на улицу Каландр в парламент, где в большом зале был приготовлен ужин. Там она сидела в середине зала за мраморным столом и под бархатным балдахином, затканным золотыми лилиями».

Здесь как раз следует опровергнуть одно из распространенных мнений, которые кое-кто стал повторять вслед за Совалем.

Утверждали, что Генрих II до такой степени перестал считаться с правилами приличия, что поместил инициалы своей любовницы на зданиях, которые он, по совету Екатерины, с таким великолепием достраивал или воздвигал. Но двойной вензель, украшающий здание Лувра, каждый день обличает тех недалеких людей, которые готовы поверить этим россказням, без всяких оснований порочащим наших королей

и королев. Вместе с тем первая буква имени Henri и переплетенные с ней два C, первая буква имени Catherine, могут быть прочитаны как два D, первые буквы имени Diane. Совпадение это, по-видимому, нравилось Генриху II, но это не исключает того, что королевский вензель фактически был составлен из первых букв имен короля и королевы. Верность всего сказанного подтверждается тем, что вензель этот можно видеть до сих пор на колонне Хлебного рынка, которую Екатерина воздвигла сама. Помимо этого, те же буквы мы находим в усыпальнице Сен-Дени на надгробном памятнике, заказанном Екатериной для себя еще при жизни, рядом с надгробием Генриха II, где скульптор вылепил ее с натуры.

В критическую минуту, отправляясь в поход на Германию, Генрих II передал власть Екатерине и объявил ее регентшей как на время своего отсутствия, так и в случае своей смерти; это было 25 марта 1552 года. Самый заклятый враг Екатерины, автор «Удивительного слова о непотребствах Екатерины», отмечает, что она снискала себе всеобщие похвалы и что король был удовлетворен тем, как она справилась со своей задачей. Генрих II получил от нее вовремя и людей и деньги. Наконец после рокового сражения при Сен-Кан-

тене[80] Екатерина собрала с парижан крупные суммы, которые она отправила в Компьень, где в то время находился король.

Чтобы добиться хотя бы незначительного влияния в политике, Екатерине пришлось делать огромные усилия. Она проявила достаточно ловкости, чтобы заставить коннетабля, всесильного при Генрихе II, служить ее интересам. Известно, какими страшными словами король ответил донимавшему его Монморанси. Ответ этот был результатом разумных советов, которые Екатерина дала королю в те немногие часы, когда она оставалась с ним наедине и когда она излагала перед ним положение флорентинской политики, заключавшейся в том, чтобы сталкивать знатнейших людей государства между собою и на гибели их утверждать королевскую власть; это была система Людовика XI, примененная потом ею самой и Ришелье. Генрих II, глядевший на все глазами Дианы и коннетабля, был королем феодального склада и жил в дружбе со знаменитыми домами своего королевства.

После напрасной попытки коннетабля угодить ей, попытки, которая, по-видимому, относится

[80] Примечания: 80

Сражение при Сен-Кантене. — В 1557 году после ожесточенного штурма испанские войска захватили французский город Сен-Кантен.

к 1556 году, Екатерина стала очень ласковой с Гизами: она замыслила вывести их из партии Дианы с тем, чтобы противопоставить коннетаблю. Но, к несчастью, Диана и коннетабль были так же, как и Гизы, настроены против протестантов. Поэтому в борьбе их не было того ожесточения, которое могла внести туда религиозная рознь. К тому же Диана спутала карты королевы, начав заигрывать с Гизами и выдав свою дочь за герцога Омальского. В этой игре она зашла так далеко, что некоторые авторы думают даже, что галантный кардинал Лотарингский завоевал не только ее расположение, но и нечто большее. Сатирические поэты того времени написали по этому поводу следующее четверостишие:

Коль Шарль[81] *у вас в стране такое занял место,*

Коль над собою вы Диане дали власть

Месить вас так и сяк, и мять, и в кадку класть,

Вас нет здесь, государь, вы превратились в тесто.

Никак нельзя считать искренними все знаки

[81] Примечания: 81
Кардинал Лотарингский.

скорби и сожаления, которые выказала Екатерина при кончине Генриха II. Ввиду того, что страсть короля к Диане де Пуатье была неизменной, Екатерине оставалось только играть роль покинутой жены, которая любит своего мужа; но, как всякая умная женщина, она продолжала притворяться и после его смерти, вспоминая короля с большой нежностью. Диана, как известно, всю жизнь носила траур по своему покойному мужу г-ну де Брезе. Ее цветами были черный и белый, и именно эти цвета король носил на турнире, который стал для него последним[82]. Екатерина точно так же носила траур всю жизнь, несомненно, подражая своей сопернице. Она отнеслась к Диане де Пуатье с редкостным коварством, на которое историки не обратили внимания. После смерти короля коннетабль, оказавшийся человеком недостойным, потерял всякий интерес к герцогине де Валантинуа и подло ее покинул. Диана предложила королеве свои земли и свой замок в Шенонсо. Тогда Екатерина сказала в присутствии свидетелей: «Я не могу позабыть, что она была отрадой моего дорогого Генриха, мне

[82] Примечания: 82

...эти цвета король носил на турнире, который стал для него последним. — Король Генрих II умер от раны, полученной на турнире в 1559 году.

стыдно принимать от нее что-нибудь даром, я дам ей взамен другое поместье и предлагаю ей Шомон-сюр-Луар». И действительно, этот акт обмена имел место в Блуа в 1559 году. Зятьями Дианы были герцог Омальский и герцог Бульонский, в то время владетельные принцы; она сумела сберечь все свое состояние и спокойно умерла в 1566 году в возрасте шестидесяти шести лет. Она была на девятнадцать лет старше Генриха II. Эти даты, которые исследователь, изучавший ее жизнь, списал в конце прошлого столетия с ее надгробной эпитафии, проливают свет на многие непонятные моменты истории: ведь некоторые историки полагают, что после осуждения ее отца в 1523 году ей было сорок лет, а другие — что ей было шестнадцать. В действительности же ей тогда было двадцать четыре года. После того как мы познакомились со всеми фактами, рисующими как в положительном, так и в отрицательном свете ее отношение к Франциску I, когда дом Пуатье находился в такой большой опасности, мы не хотим ничего утверждать и ничего опровергать. Это одно из тех обстоятельств, которые историки до сих пор не выяснили. Все происходящее на наших глазах показывает нам, что история подделывается именно тогда, когда она

делается. Екатерина возлагала большие надежды на возраст своей соперницы и не раз пыталась от нее избавиться. Это была тайная и страшная борьба. Однажды, правда, Екатерине чуть было не удалось осуществить свои надежды. В 1554 году Диана заболела и просила короля поехать в Сен-Жермен, пока она не поправится. Этой в высшей степени кокетливой женщине не хотелось предстать перед взорами короля в столь невыгодном свете. Ко времени возвращения короля Екатерина заказала великолепный балет: шесть молоденьких девушек должны были продекламировать стихи. В число их она включила мисс Флеминг, родственницу своего дяди, герцога Олбени, девушку необычайной красоты, бледнолицую и белокурую; одну из своих родственниц, Кларисе Строцци, очаровательную итальянку с чудесными черными волосами и удивительно красивыми руками; м-ль Льюистон, придворную даму Марии Стюарт; самое Марию Стюарт, принцессу Елизавету Французскую, которая потом стала испанскою королевою и судьба которой сложилась так тяжело, и принцессу Клод. Елизавете было тогда девять лет, Клод — восемь, Марии Стюарт — двенадцать. Само собою разумеется, королева хотела оттенить красоту Кларисе Ст-

роцци и мисс Флеминг, показав их без соперниц, чтобы остановить на одной из них выбор короля. Король не сопротивлялся: он выбрал себе мисс Флеминг, и у нее от него родился незаконный сын, Генрих Валуа, граф Ангулемский, великий приор Франции. Но влияния Дианы это обстоятельство не поколебало. Герцогиня де Валантинуа простила ему, подобно тому, как впоследствии маркиза де Помпадур простила Людовика XV. Но с какой же стороны такая попытка характеризует Екатерину? Что это: любовь к власти или любовь к мужу? Пусть женщины решают.

В наши дни то и дело толкуют о вольностях, которые себе позволяет печать. Но трудно себе представить, каких пределов они достигали в самом начале книгопечатания. Известно, например, что Аретино, который был Вольтером своего времени, повергал в дрожь королей, и в первую очередь самого Карла V. Но вряд ли знают, до какой смелости доходили тогда памфлеты. Замок Шенонсо, о котором мы говорили, был отдан Диане, впрочем, это не тс слово, ее просто умолили принять его в дар, стремясь загладить этим одно из самых отвратительных произведений, когда-либо высмеивавших женщину, произведение, по которому можно судить о том, что за борьба

происходила между нею и г-жой д'Этамп.

В 1537 году, когда ей было тридцать восемь лет, какой-то поэт из Шампани, по имени Жан Вуте, издал сборник латинских стихотворений, содержавший три эпиграммы на Диану. Поэт, надо полагать, заручился каким-то высоким покровительством, ибо стихам его предшествует восхваление, написанное Сальмоном Макреном, первым камердинером короля. Вот единственное место из всех этих эпиграмм, озаглавленных: In Pictaviam, anum aulicam (На Пуатье, старую придворную даму).

…Non trahit esca ficta praedam.

«Никакая дичь не прельстится намалеванною приманкой», — говорит поэт, после того как он обличает Диану в том, что она красится, что она покупает себе волосы и зубы. «Но если даже ты купишь себе главное, что составляет прелесть женщины, — добавляет он, — то ты не добьешься от твоего любовника того, чего он хочет, ведь для этого надо быть живой, а не мертвой».

И этот сборник, изданный Симоном де Колин, посвящается епископу!.. Франсуа Бойе, брат которого для того, чтобы спасти свою репутацию при дворе и искупить свой проступок, предложил ей,

как только Генрих II вступил на престол, замок Шенонсо, построенный его отцом Тома Бойе, государственным советником при четырех королях: Людовике XI, Карле VIII, Людовике XII и Франциске I. Что там памфлеты, написанные на г-жу Помпадур и на Марию-Антуанетту, в сравнении с этими стихами, под которыми мог бы подписаться сам Марциал! Этому Вуте, по-видимому, пришлось худо. Так вот земля и замок Шенонсо достались Диане за одно только прощение обиды, а ведь прощать обиды нам велит Евангелие! Наказания, налагаемые тогда на печать, были немного посуровее, чем в наши дни, хотя это и не были судебные приговоры.

Каждая овдовевшая французская королева обязана была оставаться в комнате короля в течение сорока дней и не видеть другого света, кроме света свечей: выйти на воздух она могла только после погребения своего супруга. Этот неукоснительно соблюдавшийся обычай немало смущал Екатерину, которая боялась дворцовых интриг; ей, однако, удалось его обойти, и вот как: кардинал Лотарингский однажды рано утром (и в такое-то время, в такую минуту!) уходил от прекрасной римлянки, знаменитой куртизанки эпохи Генриха II, которая жила на

улице Кюльтюр-Сен-Катрин, и к нему пристала ватага молодых кутил. По свидетельству Этьена, «его преосвященство, чрезвычайно этим пораженный, заявил, что еретики устраивают ему засады…». По этой причине двор переселился из Парижа в Сен-Жермен. Королева не захотела покидать короля, своего сына, и сама перебралась туда же.

В момент воцарения Франциска II, когда Екатерина думала, что власть уже попала в ее руки, она обманулась, и обман этот был тяжелым завершением двадцати шести лет, проведенных ею при французском дворе: за это время она знала одно только горе. Власть захватили тогда Гизы; они проявили при этом неслыханную дерзость: герцог Гиз был поставлен во главе армии, коннетабля сместили, кардинал возглавил церковь. Политическая карьера Екатерины началась с одной из драм, которая хотя и не наделала столько шума, сколько другие, но была, однако, не менее страшна; она-то и подготовила Екатерину к ужасным переживаниям ее последующей жизни. Стараясь казаться близкой к Гизам, она попыталась обеспечить себе победу при поддержке дома Бурбонов. Может быть, Екатерина, испробовав все самые крайние средства, хотела пустить в ход

ревность, чтобы вернуть себе короля, а может быть, она просто переживала свою вторую молодость и тосковала по настоящей любви, но она стала проявлять живейший интерес к одному вельможе королевской крови, Франсуа Вандому, сыну Луи Вандома (от этого рода произошел дом Бурбонов), видаму Шартрскому, имя, под которым этого человека знает история. Тайная ненависть, которую Екатерина питала к Диане, проявлялась при различных обстоятельствах, но историки, увлекшись вопросами политики, не обращали на них до сих пор никакого внимания. Симпатии Екатерины к видаму были вызваны оскорблением, которое этот молодой человек нанес фаворитке короля. Диана хотела самых блестящих партий для своих дочерей, которые, впрочем, и сами принадлежали к самой высшей знати Франции. Ей особенно хотелось удостоиться чести породниться с королевским домом. По ее желанию руку ее второй дочери, впоследствии сделавшейся герцогиней Омальской, предложили видаму, которого весьма разумная политика Франциска I держала в бедности. В самом деле, когда видам Шартрский и принц Конде явились ко двору, как бы вы думали, какое содержание Франциск I назначил им? Обычное камергер-

ское жалованье да еще 1200 экю пенсии, то есть немного больше того, что получали рядовые придворные. Несмотря на то что Диана де Пуатье предложила ему огромное состояние, какую-то видную должность и милость короля, видам отказался.

Впоследствии этот Бурбон, уже ставший мятежником, женился на Жанне, дочери барона д'Эстиссака, и брак его был бездетным. Естественно, что эти гордые повадки расположили к видаму Екатерину, которая приняла его особенно ласково и сумела сделать из него преданного друга. Историки утверждают, что своим умением нравиться, заслугами и способностями последний из герцогов Монморанси, казненный в Тулузе, походил на видама Шартрского. Но Генрих II не стал ревновать, ему не могло прийти в голову, чтобы королева Франции могла изменить своему долгу или чтобы Медичи позабыла честь, которую оказал ей один из Валуа. В то время когда королева, как говорят, кокетничала с видамом Шартрским, король ее почти совершенно покинул; это было после рождения ее последнего сына. Однако попытка эта ни к чему не привела, ибо Генрих умер, нося цвета Дианы де Пуатье.

После смерти короля Екатерина, как уверяют,

была в любовной связи с видамом. Такого рода отношения как нельзя более соответствовали нравам того времени, когда любовь была столь рыцарственной и в то же время столь несдержанной, что самые высокие поступки были так же в порядке вещей, как и самые предосудительные; беда лишь в том, что историки совершили свою всегдашнюю ошибку: исключение они приняли за правило. У Генриха II было четыре сына, и это обстоятельство лишало Бурбонов всякой надежды; все представители этого рода были крайне бедными, а предательство коннетабля бросало на них тень подозрения, независимо от причин, побудивших его покинуть страну. Видам Шартрский, который для первого принца Конде был тем, чем Ришелье для Мазарини, — его отцом в политике, примером, которому он следовал, и к тому же еще наставником в любовных делах, умел скрывать под покровом легкомыслия далеко идущие притязания своего дома. Не собираясь бороться с Гизами, с Монморанси, с шотландскими принцами, с кардиналами, с герцогом Бульонским, он сумел обратить на себя всеобщее внимание своей любезностью в обращении, манерами, живостью ума, завоевал благосклонность самых очаровательных дам и

победил сердца, о которых даже не мечтал. Это был человек, пользовавшийся особыми привилегиями, неотразимый и обязанный всем своим положением только любви. Бурбоны не стали бы сердиться, как Жарнак на клевету де Ла Шатеньере; они отличным образом принимали от своих любовниц земли и замки, как, например, принц Конде принял поместье Сен-Валер от г-жи жены маршала Сент-Андре.

После смерти Генриха II, в течение первых двадцати дней траура, положение видама сразу же изменилось. Он стал пользоваться особым вниманием королевы-матери и в то время, как он ухаживал за нею так, как только было возможно ухаживать за королевой, — в совершенной тайне; он, казалось, был предназначен для выполнения некоей миссии. Екатерина действительно решила воспользоваться его услугами. Она поручила ему передать принцу Конде письмо, в котором она доказывала, что им необходимо объединиться против Гизов. Проведав об этой интриге, Гизы явились в покои королевы, чтобы вырвать у Екатерины приказ о заключении видама в Бастилию. И Екатерине пришлось повиноваться.

Видам пробыл несколько месяцев в заключении и, выйдя из тюрьмы, в тот же самый день

умер. Это было незадолго до заговора в Амбуазе. Так окончилась первая и единственная любовь Екатерины Медичи. Писатели-протестанты утверждали, что королева приказала отравить видама, чтобы все, что было между ними, осталось навсегда тайной!.. Вот какой ценой досталась этой женщине наука власти.

Часть первая
Мученик-кальвинист

I. Дом, которого больше нет на улице, которой не существует в Париже, который был не таким, как ныне

В наши дни мало кто знает, как незатейливо были устроены жилища парижских горожан в XVI веке и как просто они жили. Быть может, именно простота поступков и мыслей этих горожан былых времен явилась причиною их величия; а ведь они были свободны и благородны, и, быть может, в большей степени, чем буржуазия наших дней; их историю еще только предстоит написать, она требует, чтобы за нее взялся какой-нибудь проникновенный историк, она его ждет. Замысел мой родился под влиянием некоего действительного происшествия, которое и лежит в основе настоящего исследования; происшествие это — одно из самых примечательных в истории городского сословия, и несомненно, что после того, как люди прочтут этот рассказ, говорить о нем будут все. Но разве впервые в истории выводы делаются раньше, чем узнаются факты?

В 1560 году улица Вьель-Пельтри проходила вдоль левого берега Сены, между мостом Нотр-

Дам и Мостом Менял. На месте теперешней мостовой была проезжая дорога и стояли дома. Жители каждого из этих домов, расположенных на самом берегу, могли тогда спускаться к реке по деревянным или каменным лестницам. Лестницы эти были защищены со стороны реки крепкой железной решеткой или дверью, обитой гвоздями. В домах здесь, как и в Венеции, имелось два выхода: один на сушу и один на воду. Теперь, когда я пишу эти строки, остался только один-единственный дом, который видом своим напоминает старый Париж, да и тот, пожалуй, скоро будет уже окончательно разрушен. Дом этот расположен на углу Малого моста, напротив кордегардии Городской больницы. В былое время со стороны реки дома эти выглядели очень своеобразно и по виду каждого дома можно было определить, чем занимается его владелец, узнать, какие у него привычки, как хозяин его использует близость к Сене и вместе с тем как он злоупотребляет этой близостью. Чуть ли не на всех мостах, перекинутых через Сену, были построены водяные мельницы, причем мельниц этих было столько, что они не могли не помешать судоходству, и в Париже оказалось, пожалуй, не меньше запруд, чем мостов. Некоторые из этих

водоемов старого Парижа пленили бы художника своей живописностью. Какою причудливою лесною чащей выглядели все эти переплеты балок, подпиравших мельницы, их колеса и шлюзы! Какое своеобразное впечатление производили эти торчавшие из воды сваи, которые служили опорою нависающим над рекою зданиям! К сожалению, жанровых картин тогда еще не писали, искусство гравюры было в младенческом состоянии, и это редкостное зрелище потеряно для нас безвозвратно. В миниатюре, правда, все это сохранилось еще в иных наших провинциальных городах, где зубчатые берега реки застроены деревянными домиками или где, как, например, в Вандоме, в заросших тиной запрудах огромные решетки разделяют друг от друга участки разных владельцев, расположенные на том и другом берегу.

Само название этой улицы, которой теперь уже не найти на плане, достаточно ясно говорит о том, чем славились ее обитатели[83]. В то время горожане, промышлявшие одним и тем же ремеслом, не были рассеяны по всему городу, а, напротив, сосредоточивались где-то в одной его

---

[83] Примечания: 83
Вьель-Пельтри — буквально «Старая Меховая» *(фр.).*

части и, таким образом, представляли собой внушительную силу. Они бывали объединены в цех, который ограничивал их численность; к тому же их объединяли еще и церковные братства. Все это позволяло им поддерживать цены на определенном уровне. Притом мастера не были тогда на поводу у своих работников и не выполняли их прихотей, как в наши дни; напротив, они заботились о них, старались относиться к ним, как к собственным детям, посвящая их во все тонкости своего искусства. Чтобы стать мастером, ремесленник должен был создать какое-нибудь замечательное произведение, и он неизменно посвящал свой труд святому — покровителю братства.

Не станете же вы утверждать, что отсутствие конкуренции вело к отказу от совершенства и лишало изделия красоты? Не ваши ли восторги перед творениями старых мастеров создали новую профессию — торговца старинными вещами?

В XV и XVI веках торговля мехами переживала эпоху своего расцвета. Добывать пушнину было тогда делом нелегким: приходилось совершать длинные и опасные путешествия в северные страны; в силу этого меха ценились чрезвычайно

дорого. В те времена, так же как и теперь, высокие цены только повышали спрос: ведь тщеславие не знает преград. Во Франции, а равным образом и в других странах ношение мехов было установленной королевским указом привилегией знати, и это объясняет, почему горностай так часто фигурирует на старинных гербах; некоторые редкостные меха, как, например, vair, который, вне всякого сомнения, есть не что иное, как королевский соболь, имели право носить одни только короли, герцоги и занимающие определенные должности вельможи. Различали vair, состоящий из мелких, и vair, состоящий из крупных шкурок; слово это уже лет сто как вышло из употребления и до такой степени забылось всеми, что даже в бесчисленных переизданиях «Сказок» Перро про знаменитую туфельку Золушки, которая первоначально была, по-видимому, из мелкого vair, в настоящее время говорится, что она *хрустальная* (verre). Недавно один из наших самых выдающихся поэтов вынужден был восстановить правильное написание этого слова, дабы просветить своих собратьев-фельетонистов в своей рецензии об опере «Cenerontola»[84], где

[84] Примечания: 84
«Золушка» *(ит.).*

символическая туфелька заменена ничего не значащим кольцом. Нет ничего удивительного, что, к великому удовольствию меховщиков, запреты, связанные с ношением мехов, постоянно нарушались. Высокие цены на материи и на меха приводили к тому, что каждый предмет одежды становился столь же долговечным, как мебель, оружие и другие аксессуары устойчивой жизни XV столетия. У дамы, у вельможи, у любого состоятельного человека, а равно и у любого горожанина было не более двух комплектов одежды для каждого сезона; носили эту одежду всю жизнь, а когда владелец ее умирал, она переходила по наследству к его детям. Поэтому перечисление оружия и одеяний, совершенно почти ненужное в брачных контрактах нашего времени в силу того, что носильные вещи беспрестанно обновляются и стоят не так уже дорого, в ту эпоху имело первостепенное значение. Дороговизна одежды приводила к тому, что она всегда бывала добротной. Предметы женского туалета составляли огромный капитал, которому в семье вели счет и который хранился в сундуках столь тяжелых, что под ними неминуемо обвалились бы потолки современного дома. Парадное платье женщины 1840 года могло быть разве

только домашней одеждой у светской дамы 1540 года. В наши дни открытие Америки, легкость передвижения, отмирание сословных различий, подготовившее отмирание различий внешних, повергли торговлю мехами в то состояние, в котором она пребывает сейчас, то есть почти совершенно свели ее на нет.

Стоимость вещи, которую меховщики наших дней продают, как и в былые времена, за двадцать ливров, стала меньше в силу падения самой стоимости денег: ведь ливр стоил тогда свыше двадцати теперешних франков.

В наши дни простая мещанка или куртизанка носит отороченную куньим мехом пелерину, даже не зная, что в 1440 году городской страж, которому она чем-нибудь не понравилась бы, мог ее за это арестовать и предать суду. Англичанки, которые так увлекаются горностаем, даже не подозревают, что некогда одни только королевы, герцогини и канцлеры Франции имели право носить этот царственный мех. В наше время существует несколько родов, которым было пожаловано дворянство, — они носят имя Пельтье или Лепельтье. Происхождением своим это имя обязано какой-то богатой конторе, производившей скупку мехов, ибо большинство фамилий

купцов вначале были прозвищами. Отступление это делает понятным не только долгие распри из-за первенства, которые велись в течение двух столетий между цехами суконщиков, мехов-щиков и галантерейщиков (каждому из трех хотелось быть первым в Париже), но и ту роль, которую играл господин Лекамю, придворный поставщик двух королев — Екатерины Медичи и Марии Стюарт — и поставщик парламента, в течение двадцати лет бывший синдиком свое-го цеха. Лекамю жил на этой самой улице. Дом его образовывал один из углов перекрестка на-против Моста Менял, где теперь сохранилось только четвертое из угловых зданий — башня Парижского суда. На одном из углов этого дома, расположенного на набережной, которая сейчас носит название Цветочной, возле Моста Менял, был устроен выступ. Там стояла статуя мадонны, перед которой день и ночь горели свечи. В летнее время ее украшали живые цветы, а зимою — ис-кусственные. С той стороны, точно так же как и со стороны улицы Вьель-Пельтри, дом этот покоил-ся на деревянных столбах. В торговых кварталах под домами были крытые галереи: почва там затвердела от нанесенной на ногах уличной грязи и была в буграх. Во всех французских горо-

дах подобные галереи носили название рядов, к этому добавлялось еще наименование отрасли торговли, как, например, зеленные ряды, мясные ряды. Эти простые галереи, без которых нельзя было обойтись в Париже, с его такой переменчивой, такой дождливой погодой, галереи, которые составляли неотъемлемую принадлежность всего облика старого города, теперь совершенно исчезли. Точно так же, как сохранился всего один-единственный дом, выходящий на реку, от всех длинных старых рядов рынка уцелел только один прогон в каких-нибудь сто футов длиной, последнее из того, чего пока еще не одолела разрушительная сила времени. Скоро, должно быть, исчезнет с лица земли и этот последний уголок старого Парижа с его темным лабиринтом улиц. Само собой разумеется, эти средневековые руины никак не совместимы с величественным обликом нашей теперешней столицы. Поэтому, упоминая о них, я хочу выразить не столько свое сожаление об этих уголках старого города, сколько просто зарисоватъ с натуры все, что еще не успело превратиться в прах, и таким образом оправдать эти драгоценные описания в глазах грядущего, которое наступает на современность.

Стены этого дома были из дерева и черепицы.

Промежутки между бревнами, как это сейчас еще бывает в некоторых старых провинциальных городах, были выложены кирпичами разной толщины и составляли узор, называемый венгерскою кладкой. Оконные проемы точно так же были покрыты снизу и сверху богатой деревянной резьбой, равно как и угловой столб, поднимавшийся над статуей мадонны, и как опоры выставки магазина. Каждое окно, каждая балка перекрытия, разделявшего этажи, были украшены арабесками с изображениями людей или фантастических животных, залегших среди причудливой листвы. Со стороны улицы, а также со стороны реки дом был увенчан крышей, напоминающей две приставленные друг к другу игральные карты, и, таким образом, имел два ската: один — выходящий на улицу и один — на реку. Крыша выдавалась вперед, подобно крышам швейцарских шале, и притом на довольно большом расстоянии, так что на втором этаже образовывался балкон, на котором, не выходя из-под навеса, хозяйка дома могла прогуливаться над улицей или над запрудой, устроенной между двумя рядами домов и двумя мостами.

Дома, которые имели выход на реку, были тогда в большой цене. В эту эпоху не было ни ко-

лодцев, ни канализации в нашем смысле слова. Существовала только кольцевая канализация, завершенная Обрио, первым, кто еще в эпоху Карла V задумался над улучшением санитарного состояния Парижа. Это был человек талантливый и энергичный. Жители домов, расположенных на берегу, подобно дому Лекамю, брали воду для хозяйственных надобностей прямо из реки; в ту же реку стекала вся дождевая вода и выливались помои. Результаты огромной работы по благоустройству, проделанной купеческими старшинами, постепенно уничтожаются. Сейчас одни только люди, которым за сорок, помнят еще бурные потоки, стремившиеся по улицам Монмартр, дю Тампль и другим. Поглощавшие их страшные, зияющие жерла совершали в свое время неоценимые благодеяния. Места, где они находились, навсегда останутся заметными: всюду, где проходили эти подземные каналы, почва над ними поднялась; вот еще одна археологическая деталь, которая по прошествии двух столетий станет уже непонятной для историка.

Однажды около 1816 года девочка несла бриллианты для одной актрисы театра Амбигю, которая должна была играть роль королевы. Ее захватило ливнем и потянуло в подземную

канаву на улице дю Тампль; она неминуемо бы погибла, если бы ее не спас прохожий, который услыхал, как она кричала; бриллианты она выпустила из рук, их подобрали потом в люке сточной трубы. Происшествие это наделало много шуму. После него стали настойчиво требовать ликвидации этих страшных ям, которые уносили не только воду, но и маленьких девочек. Эти своеобразные сооружения были снабжены более или менее подвижными решетками, но, когда местные жители позабывали вовремя поднять решетки, они засорялись, и в период дождей это нередко служило причиною наводнений.

Выставка лавки господина Лекамю была открытой, заднюю сторону ее составляли стекла в свинцовой оправе, отчего во внутреннем помещении было всегда довольно темно.

Богатым людям меха носили на дом. Тем, кто приходил покупать их у меховщиков, товар показывали в открытых помещениях, в галерее, заставленной столами, где в течение всего дня на табуретках сидели приказчики; подобные картины можно было видеть на рынке еще лет пятнадцать тому назад. Сидя на этих передовых постах, приказчики, ученики и ученицы болтали между собою, окликали друг друга, отвечали,

останавливали прохожих; этими особенностями тогдашних обычаев воспользовался Вальтер Скотт в «Приключениях Найджела». Вывеска, изображавшая горностая и подвешенная наподобие того, как это еще и сейчас делается у нас на постоялых дворах, представляла собой кронштейн с поперечною перекладиной позолоченного железа филигранной работы. Над изображением горностая была надпись; на одной стороне:

ЛЕКАМЮ
МЕХОВЩИК
ИХ
ВЕЛИЧЕСТВ КОРОЛЕВЫ И ГОСПОДИНА
НАШЕГО КОРОЛЯ

На другой:

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВЫ-МАТЕРИ И
ГОСПОД ЧЛЕНОВ ПАРЛАМЕНТА

Слова *ее величества королевы-матери* были добавлены совсем недавно. Позолота была еще свежа. Эта замена означала, что государственный переворот совершился. Он был вызван внезапною, насильственною смертью Генри-

ха II, которая положила конец карьере многих придворных и с которой началось возвышение Гизов.

Заднее помещение лавки выходило на реку. В этой комнате обычно и проводили весь день почтенный торговец и его жена демуазель Лекамю. В эти времена жена человека незнатного не имела права называться дамой, но французские короли в благодарность за весьма значительные услуги, которые им оказывали парижские горожане, в качестве одной из дарованных им привилегий закрепили за их женами право именоваться *демуазелями.* Между этой комнатой и лавкой была деревянная винтовая лестница, которая вела на верхний этаж, где помещались сам магазин и спальня супругов, и чердачные помещения с маленькими слуховыми окнами, где жили дети, служанки, подмастерья и приказчики.

Этой скученностью семьи, слуг и учеников и теснотою, в которой они жили, так что ученики спали все вместе в одной большой комнате под стропилами крыши, и объясняется, почему такое огромное население, какое было тогда в Париже, умещалось на какой-нибудь десятой части территории современного города. Становятся

понятными и все удивительные подробности частной жизни в средние века и любовные интриги, о которых — да простят меня историки! — мы ничего бы не знали, если бы не новеллы того времени. В эту эпоху у такого, например, именитого вельможи, как адмирал Колиньи, было всего-навсего три комнаты, и свита его помещалась в соседней гостинице. В Париже тогда было около пятидесяти особняков, вернее, впрочем, дворцов, и они принадлежали принцам крови или знатным вельможам, которые жили тогда лучше, чем такие владетельные князья Германии, как герцог Баварский или курфюрст Саксонский.

Кухня дома Лекамю находилась непосредственно под задним помещением лавки у самой реки; в ней была застекленная дверь, выходившая на чугунный балкон: с этого балкона служанка могла черпать ведрами воду, на нем она сушила белье. Заднее помещение служило торговцу одновременно столовой, кабинетом и гостиной.

Эту просторную комнату, обычно отделанную резными панелями, чаще всего украшало какое-нибудь произведение искусства, например, деревянный сундук. Жители дома весело ужинали здесь после работы: здесь келейно обсуждались политические дела, затрагивавшие

интересы купцов и королевскую власть. Грозные парижские цехи могли тогда вооружить до ста тысяч человек. К тому же в те времена за торговцами стояли их слуги, их приказчики, их ученики и их работники. Горожане имели своего главу — *купеческого старшину* — и свой дворец, где они собирались, — здание Парижской ратуши. В этом знаменитом торговом собрании принимались важные решения. Если бы цехи не обессилели от голода и от многочисленных жертв, Генрих IV, этот мятежник, в конце концов сделавшийся королем, никогда, быть может, не вступил бы в Париж. Теперь читатель легко представит себе, как выглядел уголок старого Парижа в том месте, где сейчас находится мост и Цветочная набережная с ее высокими деревьями и где от этих времен не осталось ничего, кроме башни суда, откуда был дан сигнал к Варфоломеевской ночи. Странное дело! Одному из домов, расположенных возле этой башни, окруженной деревянными лавками, дому Лекамю, суждено было стать свидетелем события, подготовившего кровопролитную ночь, последствия которой, к сожалению, оказались все же не столько роковыми, сколько благоприятными для кальвинистов.

II. Реформаты

Ко времени начала этой повести дерзость поборников новой религии встревожила весь Париж. Некий шотландец, по имени Стюарт, убил президента[85] Минара, того самого судью, которому общественное мнение приписывало главную роль в вынесении смертного приговора советнику Анну дю Буру[86]. Его сожгли на Гревской площади вслед за портным покойного короля, которого пытали в присутствии Генриха II и Дианы де Пуатье. В Париже так тщательно за всеми следили, что стражники даже заставляли прохожих молиться перед статуей мадонны, дабы обнаружить среди них еретиков, которые делали это неохотно, а порою просто отказывались осенить себя крестным знамением, считая, что это несовместимо с их верою.

Оба стражника, приставленные к дому Лекамю, покинули свои посты; поэтому сын меховщика,

---

[85] Примечания: 85

Президент — то есть председатель суда.

[86] Примечания: 86

Анн дю Бур — французский законовед, протестант, по приказу короля Генриха II был повешен, а потом сожжен как еретик (1559).

Кристоф, которого сильно подозревали в том, что он отошел от католичества, смог выйти из дома, не боясь, что его тут же заставят стать на колени перед изображением святой девы. Это было в апреле 1560 года, в семь часов вечера, когда уже начало темнеть. Подмастерья, видя, что и на той и на другой стороне улицы уже пусто и только по временам появляются отдельные прохожие, стали заносить в помещение выставленные снаружи образцы товаров, чтобы закрыть лавку и запереть двери. Кристоф Лекамю, пылкий двадцатидвухлетний юноша, стоял на пороге и, казалось, следил за входившими и выходившими из лавки подмастерьями.

— Сударь, — сказал один из них Кристофу, указывая ему на какого-то человека, который с нерешительным видом расхаживал взад и вперед по галерее, — верно, это вор или шпион; по всему видно, что это проходимец, а никак не порядочный человек: ведь если у него есть до нас какое дело, он прямо бы подошел и сказал, а не стал бы топтаться здесь на одном месте… А вид-то у него какой! — добавил он и стал передразнивать незнакомца. — Как он прячется под плащом! Какой подозрительный взгляд! Какое исхудавшее лицо!

Когда незнакомец, столь нелестно описанный подмастерьем, увидел на пороге лавки Кристофа, он тут же вышел из-под навеса на противоположной стороне улицы, где он прогуливался, перешел дорогу, прячась под навесом дома Лекамю, и, прежде чем подмастерья вернулись, чтобы закрывать ставни, приблизился к юноше.

— Я Шодье[87], — сказал он тихо.

Услышав имя одного из самых знаменитых проповедников и самых вдохновенных актеров страшной трагедии, имя которой было Реформация, Кристоф задрожал, как задрожал бы какой-нибудь верноподданный крестьянин, увидев перед собой переодетого короля.

— Вы, может быть, хотите взглянуть на меха?.. Хоть сейчас совсем уже поздно, я вам все покажу сам, — сказал Кристоф, чтобы обмануть подмастерьев, шаги которых послышались за его спиной.

Он знаком пригласил посетителя войти, но тот ответил, что предпочитает говорить с ним на улице. Кристоф зашел в дом, взял шапку и последовал за учеником Кальвина.

Приговоренный королевским эдиктом к изгнанию, Шодье, тайный представитель Теодора де

---

[87] Примечания: 87

Шодье, Антуан (1534–1591) — один из активнейших французских кальвинистов.

Беза и Кальвина, которые, находясь в Женеве, руководили французскими реформатами, все время ездил туда и обратно. Он рисковал подвергнуться той страшной казни, которой парламент, выполняя веления церкви и приказ короля, в качестве страшного примера для остальных подверг одного из своих членов, знаменитого Анна дю Бура. Этот проповедник, брат которого — капитан — был на отличном счету у адмирала Колиньи, являлся одним из рычагов, с помощью которого Кальвин поднял на ноги Францию с самого начала религиозной войны. Война эта, которая вот-вот должна была вспыхнуть, длилась потом целых двадцать два года. Он был одной из тех скрытых пружин, существование которых лучше всего объясняет весь огромный размах Реформации.

Шодье спустился вместе с Кристофом к берегу реки. Шли они подземным ходом, похожим на тот, который десять лет тому назад проложен под сводом Марион.

Этот подземный ход, начало которого было между домом Лекамю и соседним домом, проходил под улицей Вьель-Пельтри и назывался Мостиком Меховщиков. Красильщики города пользовались им, чтобы промывать в реке свои

нитки, шелка и материи. Там на причале стояла лодка, и в ней сидел лодочник. Кроме него, на носу находился какой-то незнакомец невысокого роста, очень просто одетый. После нескольких взмахов весел лодка очутилась на середине Сены, и лодочник направил ее под одну из деревянных арок Моста Менял, где он ловко привязал ее к железному кольцу. Ехали они все молча.

— Здесь мы можем говорить свободно, здесь нет ни предателей, ни шпионов, — сказал Шодье, глядя на обоих незнакомцев. — Достаточно ли у тебя самоотвержения, которое способно вооду-шевить на мученичество? Готов ли ты на все во имя святого дела? Не страшат ли тебя пытки, которые выпали на долю портного покойного короля и советника дю Бура? Не страшна ли тебе участь, которая ждет почти всех нас? — спросил он Кристофа, и глаза его засияли.

— Я выполню то, что мне повелит моя вера, — просто ответил Лекамю, глядя на окна своего дома. Лампа на столе, при свете которой отец в эту минуту, должно быть, перебирал свои торго-вые книги, напомнила ему о семейных радостях и о мирной жизни, от которой он отрекался. Картины этой жизни пронеслись перед ним, мгновенные и всеобъемлющие. Юноша увидел

перед собою уголок родного города с его безмятежным, довольным бытом; там протекало его счастливое детство, там жила Бабетта Лалье, его невеста; там все обещало ему сладостные и тихие дни. Он увидел за один миг свое будущее и пожертвовал всем или, во всяком случае, все поставил на карту. Вот какими были тогда люди!

— Остановимся здесь! — властно сказал лодочник. — Ведь мы знаем, что это один из наших *святых*! Если бы не было шотландца, он убил бы президента Минара.

— Да, — сказал Лекамю, — жизнь моя принадлежит истинной церкви, и я с радостью отдам ее за победу Реформации; над этим я много думал. Я знаю, что она значит для счастья народов. Короче говоря, папизм толкает человека к безбрачию, а Реформация — к семейной жизни. Настало время очистить Францию от паразитов-монахов, отдать их богатства королю; тот ведь рано или поздно все равно продаст их нашему сословию. Положим жизни за наших детей во имя того, чтобы когда-нибудь потомки наши были свободны и счастливы.

Лица всех четырех — нашего юноши, Шодье, лодочника и незнакомца, сидевшего на скамье, — освещенные последними лучами заката,

являли собой величественную, достойную кисти большого художника картину, картину, особенно значительную тем, что в ней как бы запечатлелась история того времени, если только верно, что иным людям дано воплотить в себе дух эпохи.

Религиозная реформа, начатая Лютером в Германии, Джоном Ноксом — в Шотландии, Кальвином — во Франции, распространялась главным образом среди низших классов общества, которые впервые приобщились к мысли. Если знатные люди и поддерживали движение реформатов, то по причинам отнюдь не религиозного характера. К враждующим партиям присоединились различные авантюристы, разорившиеся вельможи, младшие сыновья дворян, которые готовы были поддерживать любые волнения. Но в душе ремесленников и торговцев жила крепкая вера, основанная к тому же на прямом расчете. Небогатые нации сразу же становились сторонниками этой религии: ведь она стремилась возвратить стране все церковные богатства, уничтожить монастыри и лишить служителей церкви их огромных доходов. Торговые круги учли все выгоды этого религиозного маневра и стали поддерживать его телом, душою и кошельком. Но в лице их сыновей протестантство нашло

людей, готовых на любые жертвы, нашло то благородство, которое присуще молодости, еще не тронутой эгоизмом.

Люди незаурядные и проницательные умы — а их всегда немало среди народа — угадывали, что Реформация несет за собою Республику; они хотели изменить государственный строй всей Европы, вроде того, как это было сделано в Соединенных Нидерландах, которые одержали победу над самой могущественной державой той эпохи, над Испанией Филиппа II, представленной в Нидерландах герцогом Альбой. Жан Отоман[88] обдумывал тогда план своей знаменитой книги, где содержится подобный проект, книги, заложившей во Франции закваску мыслей, которые впоследствии расшевелила еще раз Лига[89], мыслей, которые подавлял Ришелье, а потом Людовик XIV, но которые снова воспрянули благодаря усилиям энциклопедистов при Людовике XV и взошли при Людовике XVI, находя каждый раз поддержку в младшей ветви королевского

[88] Примечания: 88

Жан Отоман, настоящее имя — Франсуа Отоман (1524–1590) — французский ученый, философ, протестант.

[89] Примечания: 89

Лига. — Католическая Лига 1576 года — объединение французского католического духовенства, дворянства, парижской буржуазии против гугенотов-кальвинистов, возглавляемое герцогами Гизами.

дома: поддержку Орлеанской династии в 1789 году, точно так же как династии Бурбонов в 1589 году. Начав мыслить, человек начинает восставать. А всякое восстание — это или плащ, под которым прячется новый государь, или пеленки, в которых шевелится новая диктатура. За спиною Реформации крепнул дом Бурбонов, младшая ветвь Валуа. Во времена, когда наша лодка плыла под аркадами Моста Менял, вопрос этот необычайно усложнился, и причиною этого было честолюбие Гизов, соперничавших с Бурбонами. Поэтому королевская власть, воплотившаяся тогда в Екатерине Медичи, могла выдерживать это сражение целых тридцать лет, сталкивая одних с другими, между тем как впоследствии к этой власти уже не тянулись ничьи руки и она беззащитной предстала перед народом. Ришелье и Людовик XIV уничтожили власть знати. Людовик XV уничтожил власть парламента. А когда король остается так, как остался Людовик XVI, один на один с народом, его всегда низвергают.

Кристоф Лекамю принадлежал к самым отважным и преданным сынам своего народа. Его бледное лицо имело тот слегка розоватый оттенок, который иногда бывает свойствен блондинам. Волосы его отливали медным блеском;

серо-голубые глаза блестели: они одни говорили о величии его души. В целом в облике его не сквозило ни малейшего стремления подчеркнуть свое превосходство, которое бывает присуще людям образованным, — черты лица его были неправильны и несколько угловаты, подбородок сужен; низкий лоб свидетельствовал всего лишь о большой энергии. Жизненная сила его, пожалуй, легче всего угадывалась в контурах его впалой груди. Кристоф был скорее холерик, чем сангвиник. Его заостренный нос выдавал в нем народную смекалку, а выражение его лица говорило об умении найтись при трудных обстоятельствах, но вместе с тем также и о неспособности охватить умом все обстоятельства жизни в целом. Над его глазами, подобно двум навесам, выдавались надбровные дуги, едва прикрытые белесоватым пушком; глаза были резко окаймлены бледно-голубою тенью. Вокруг носа бледность лица его усиливалась, показывая крайнюю степень экзальтации. Кристоф был представителем народа, который приносит себя в жертву, который сражается и который легко обмануть; у него хватало ума, чтобы понять ту или иную идею и служить ей, но он был слишком благороден, чтобы извлекать из нее выгоду, слишком прямодушен, чтобы себя продавать.

Рядом с единственным сыном Лекамю, Шодье, этот пламенный проповедник, темноволосый, исхудавший от несчетных бдений, с пожелтевшим лицом, с упрямым лбом воина, с выразительным ртом, с горящими карими глазами, с коротким приподнятым подбородком, представлял ту часть христиан, из которой вышло такое множество пастырей Реформации, подлинных фанатиков веры, чье мужество и чей ум воспламеняли народы. Адъютант Кальвина и Теодора де Беза был полной противоположностью сыну меховщика. Он воплощал в себе то живое дело, результаты которого сказались на Кристофе. Иным и нельзя было представить себе мощный источник энергии, питавший народные движения.

Лодочник, человек порывистый, загорелый от ветра, привычный к палящему зною и к холодным ночам, со сжатыми губами, с быстрыми движениями, с желтоватыми, хищными, ястребиными глазами, с черными курчавыми волосами, был одним из тех авантюристов, которые ради успеха дела жертвуют всем, подобно игроку, рискующему своим состоянием. Весь облик его говорил о неистовых страстях, о смелости, которая ни перед чем не отступает. Его лицо и тело одинаково умели и говорить, и хранить молчание. В

чертах его было больше отваги, чем благородства. Его вздернутый тонкий нос свидетельствовал о его решимости. Он был проворен и ловок. Его легко можно было принять за вождя какой-нибудь партии. Если бы не существовало Реформации, из него наверное вышел бы Пизарро[90], Эрнандо Кортес или Морган Истребитель[91] — словом, человек неудержимых дерзаний.

Незнакомец, который сидел на скамейке, завернувшись в плащ с капюшоном, принадлежал, по-видимому, к самому высшему сословию. Тонкое белье, весь покрой его платья, материя, из которой оно было сшито, аромат духов, фасон и кожа перчаток — все это обличало в нем придворного, точно так же как взгляд и вся его гордая и спокойная осанка выдавали в нем человека военного. От вида его вам сначала становилось не по себе, а потом вы проникались к нему уважением. Человека, который умеет уважать себя сам, уважают и другие. Он был небольшого роста и горбат,

---

[90] Примечания: 90

Пизарро, Франсиско (1471–1541) — испанский завоеватель Перу, с неслыханной жестокостью проводил колонизацию захваченных земель. Кортес, Эрнандо (1485–1547) — завоеватель Мексики, беспощадно истреблял местное население.

[91] Примечания: 91

Морган Истребитель — один из главарей флибустьеров — морских пиратов XVII века, грабивших главным образом испанские корабли.

но обхождение его сразу заставляло забыть и то и другое. Стоило только сломать лед молчания, как он становился веселым и решительным и в манерах его появлялась необыкновенная живость, которая очень располагала к себе. У него были голубые глаза, нос с горбинкой, общий всем представителям Наваррского дома, и тот ясно выраженный испанский тип, черты которого стали потом столь характерными в лицах королей из династии Бурбонов. После нескольких незначительных слов, которыми они обменялись, разговор их приобрел большой интерес.

— Итак, — сказал Шодье, едва только Лекамю кончил говорить, — лодочник — это Ла Реноди, и это монсеньор принц Конде, — добавил он, указывая на горбуна.

Словом, эти четыре человека представляли собой веру народа, дар убеждения, силу солдата и королевскую власть, укрывавшуюся в тени.

— Сейчас ты услышишь, чего мы от тебя хотим, — сказал посланец Кальвина после паузы, которая привела в удивление молодого Лекамю. — Чтобы ты ни в чем не ошибся, нам придется посвятить тебя в самые сокровенные тайны Реформации.

Когда он замолчал, чтобы выслушать, что по

этому поводу скажет принц, Конце и Ла Реноди знаками попросили его продолжать! Подобно всем высокопоставленным лицам, которые, принимая участие в заговоре, выступают, как правило, только в решительную минуту, принц предпочитал молчать, и причиною его молчания была отнюдь не трусость: в это время он был душою заговора, не отступал ни перед какими опасностями и ежечасно рисковал жизнью. Однако на этот раз какое-то чувство собственного величия и превосходства заставило его поручить все объяснения проповеднику, и он только внимательно разглядывал новичка, которого им предстояло использовать в своих целях.

— Дитя мое, — начал Шодье в манере, характерной для гугенотов, — мы готовим тебя к первой битве с римской блудницей. Через несколько дней или погибнут Гизы, или наших воинов казнят на эшафоте. Дело идет к тому, что скоро король и обе королевы окажутся в нашей власти. В эти дни во Франции люди нашей веры впервые берутся за оружие, и знай, что Франция не сложит его до полной победы: пойми, что здесь речь вдет не о государстве, а о целой нации. Большинство французской знати видит, к чему стремятся кардинал Лотарингский и брат его герцог. Под

предлогом защиты католицизма Лотарингский дом[92] хочет добиться французской короны, считая, что она принадлежит ему по праву. Дом этот опирается на церковь и в ее лице имеет необычайно могущественного союзника: монахи стали его опорой, его приспешниками, его шпионами. Лотарингская династия хочет уверить всех, что она опекает трон, а на самом деле она стремится его захватить; покровительствуя дому Валуа, она хочет стереть этот дом с лица земли. Мы решили взяться за оружие, потому что дело идет одновременно и о свободе народа и об интересах знати, которая также находится под угрозой. Давайте уничтожим сразу этих крамольников, столь же отвратительных, как и бургиньоны, которые некогда предали Францию огню и мечу. Тогда нужен был Людовик Одиннадцатый, чтобы положить конец посягательствам бургиньонов, ну, а в наши дни принц Конде сумеет остановить Лотарингцев. Это никак не гражданская война, это — единоборство между Гизами и Реформацией, борьба не на жизнь, а на смерть: или погибнут они, или мы сложим наши головы.

— Хорошо сказано! — воскликнул принц.

---

[92] Примечания: 92
Лотарингский дом — см. прим. к стр. 13.

— При таком положении, Кристоф, — добавил Ла Реноди, — мы не хотим пренебрегать ничем, что могло бы увеличить нашу партию, ибо реформаты — это партия людей, чьи интересы ущемлены, это дворяне, принесенные в жертву Лотарингцам, это старые полководцы, которых сейчас унижают в Фонтенбло: кардинал изгнал их оттуда и велел поставить виселицы, чтобы вешать тех, кто просит у короля денег за смотры и свое невыплаченное жалованье.

— Вот, дитя мое, — снова заговорил Шодье, заметив на лице Кристофа выражение ужаса, — вот что заставляет нас добиваться победы с помощью оружия, вместо того, чтобы убеждать людей идти на муки. Королеве в наших планах тоже отведено место, и не потому, что она сама хочет отказаться от своих прав. Нет, она далека от этой мысли, но ей все равно придется это сделать, если мы победим. Как бы там ни было, королева Екатерина, униженная и приведенная в отчаяние тем, что власть, которую она после смерти короля мечтала захватить в свои руки, перешла вместо этого в руки Гизов, напуганная растущим влиянием юной Марии, племянницы Лотарингцев и их союзницы, по всей вероятности, согласится поддержать тех принцев и вельмож, которые готовы

выступить, чтобы освободить ее. В настоящее время, несмотря на то, что она делает все, чтобы ее считали сторонницей Гизов, она в действительности их ненавидит, она хочет их гибели и готова для этого обратить нас против них. Но монсеньор сам сумеет обратить ее против всех. Королева-мать согласится с нашими планами. На нашей стороне будет коннетабль: монсеньор только что виделся с ним в Шантильи, но коннетабль ничего не предпримет без приказа своих повелителей. Он приходится дядей монсеньору и ни за что не оставит его без помощи в тяжелую минуту, а ведь наш великодушный принц без колебаний пойдет сам на любой риск, чтобы заставить Анна де Монморанси принять решение. Все уже готово, и когда мы стали думать о том, кого послать, чтобы сообщить королеве Екатерине условия нашего союза с ней, проекты указов и создания нового правительства, наш выбор пал на тебя. Двор сейчас в Блуа. Там немало наших; но все это наши будущие вожди, и точно так же, как монсеньор, — сказал он, кивая на принца, — они должны быть вне всякого подозрения; ради них все мы должны пожертвовать собой. За королевой-матерью и за нашими друзьями так тщательно и неотступно следят, что мы лишены

возможности воспользоваться посредничеством человека, сколько-нибудь известного или занимающего важную должность: он сразу же возбудит подозрения, и ему не дадут увидаться с Екатериной. Нам надо, чтобы господь послал нам пастуха Давида с его пращой, дабы тот поразил Голиафа — де Гиза. Отец твой, на свое несчастье, правоверный католик, является меховщиком обеих королев и постоянно выполняет их заказы. Добейся же, чтобы он послал тебя ко двору. Ты ни в ком не вызовешь подозрения и ничем не скомпрометируешь королеву. Все наши вожди могут заплатить головой, если какое-нибудь безрассудство даст повод считать, что королева в сговоре с ними. Если попадется кто-нибудь из людей знатных, это будет поводом для тревоги, в то время как человек незначительный, вроде тебя, никем не будет замечен. Берегись! У Гизов столько шпионов, что лишь на середине реки можно говорить, не оглядываясь. Так вот, сын мой, ты, как верный страж, должен умереть на своем посту. Помни это! Если тебя схватят, мы все отречемся от тебя; если это понадобится, мы оклевещем тебя и смешаем с грязью. В случае нужды мы скажем, что ты подослан Гизами и они заставили тебя играть эту роль, дабы нас погубить.

Словом, знай, ты должен пожертвовать всем.

— Если ты погибнешь, — сказал принц Конде, — клянусь тебе честью дворянина, твоя семья станет для Наваррского дома священной. Я буду носить ее имя в своем сердце и сделаю для нее все, что смогу.

— С меня довольно этих слов, — ответил Кристоф, которому не пришло даже в голову, что этот мятежник — гасконец. — Мы живем в такое время, когда каждый, будь он принц или горожанин, обязан выполнять свой долг.

— Вот истинный гугенот. Если бы все наши люди были такими, — сказал Ла Реноди, кладя руку на плечо Кристофу, — победа была бы за нами.

— Послушай, юноша, — добавил принц, — я хочу, чтобы ты знал, что если Шодье проповедует, если дворянин вооружается, то принц дает бой. Поэтому в этом горячем деле все доли равны.

— Вот что, — сказал Ла Реноди, — бумаги я передам тебе только в Божанси, — тебе нельзя рисковать ими во время твоего длинного пути. Ты отыщешь меня в порту. У меня будет другой вид, другой голос, другая одежда, и узнать меня будет нельзя. Но я спрошу тебя: «Ты орлеанец?» — а ты мне ответишь: «К вашим услугам». А как надо ехать, я тебе сейчас расскажу. Лошадь ты най-

дешь в таверне «Расписная кружка», неподалеку от Сент-Жермен-Лосеруа. Ты спросишь там Жана Бретонца, он сведет тебя в конюшню и даст тебе одну из моих лошадей, а та свободно пробежит за восемь часов тридцать лье. Выезжай через ворота Бюсси, у Бретонца есть мой пропуск, бери его — и в путь. Все города тебе следует объезжать. Ранним утром ты будешь в Орлеане.

— А лошадь? — спросил молодой Лекамю.

— Она не выйдет из строя раньше времени. Оставь ее при входе в предместье Баннье. Городские ворота хорошо охраняются, и не следует возбуждать подозрений. Теперь, друг, все будет зависеть от того, как ты справишься со своей задачей. Придумай какой-нибудь предлог, чтобы зайти в третий дом слева. Это дом некоего Турильона, перчаточника. Постучи три раза в дверь и крикни: «Служу герцогам Гизам!» Хозяин дома считается ярым сторонником Гизов, и только мы вчетвером знаем, что он наш. Он даст тебе надежного лодочника, тоже сторонника Гизов, разумеется, такого же покроя, как и он сам. Немедленно же отправляйся в порт и садись там в зеленую лодку с белой каймой. Завтра к полудню ты пристанешь в Божанси. Там я велю приготовить для тебя другую лодку; на ней ты сумеешь

в безопасности добраться до Блуа. Наши враги Гизы не обращают внимания на берега Луары и охраняют только порты. Таким образом, ты сможешь увидеться с королевой в тот же день или самое позднее на следующее утро.

— Ваши слова начертаны у меня здесь, — сказал Кристоф, притрагиваясь ко лбу.

Охваченный порывом религиозного чувства, Шодье обнял своего питомца. Он гордился им.

— Да хранит тебя господь, — сказал он, показывая на закат, который обливал багрянцем крытые гонтом дома и пронизывал своими лучами целую чащу балок, среди которых клокотала вода.

— Ты настоящий сын своего народа, — сказал Ла Реноди Кристофу, пожимая ему руку.

— Мы еще увидимся, *сударь*, — заверил его принц, необычайно милостиво, чуть ли не дружески прощаясь с ним.

Одним взмахом весла Ла Реноди доставил юного заговорщика на ступени лестницы, которая вела в дом, и лодка тотчас же исчезла под аркадами Моста Менял.

Кристоф стал трясти железную калитку, которая вела от реки на лестницу, и крикнул; г-жа Лекамю услыхала его, открыла одну из ставней задней комнаты и спросила, как он сюда попал.

Кристоф ответил, что на реке холодно и надо сначала открыть, ему дверь, а потом уже спрашивать.

— Хозяин, — сказала служанка-бургундка, — вы ушли через улицу, а возвращаетесь по воде? Подумайте, как батюшка рассердится.

Кристоф, все еще под впечатлением встречи с принцем Конде, Ла Реноди и Шодье и еще более потрясенный известием о гражданской войне, которая вот-вот должна была разразиться, ничего не ответил. Он стремительно поднялся из кухни в заднюю комнату; увидав его, старуха мать, ярая католичка, была не в силах сдержать свой гнев.

— Я готова поклясться, что те трое, с которыми ты говорил там, — это реформаты. Не так ли? — спросила она.

— Замолчи, жена, — предусмотрительно одернул ее седовласый старец, листавший в это время толстую книгу. — А вы, бездельники, — обратился он к трем юношам, которые давно уже кончили ужинать, — чего вы спать не ложитесь? Уже восемь часов, вам ведь утром в пять часов вставать. Не забудьте, надо отнести шапку и мантию президенту де Ту. Идите туда все втроем да прихватите с собой палки и рапиры. По крайней мере, если вам повстречаются какие-нибудь шалопаи, вроде

вас самих, вы сумеете с ними справиться.

— А надо ли брать с собой горностаевый казакин, что молодая королева себе заказала, тот, который мы должны отправить во дворец Суассон, или будет нарочный в Блуа и к королеве-матери? — спросил один из приказчиков.

— Нет, — ответил синдик, — счет королевы Екатерины достиг уже трех тысяч экю; пора получить по нему деньги, я думаю для этого сам поехать в Блуа.

— Отец, я не допущу, чтобы вы в ваши годы да еще в такое время подвергались опасности на дорогах. Мне уже двадцать два года, и вы можете послать туда меня, — сказал Кристоф, украдкой поглядывая на сундук, где был спрятан казакин.

— Вы что, прилипли, что ли, к скамейке? — закричал старик на своих подмастерьев, которые сию же минуту схватили свои рапиры, плащи и меха г-на де Ту.

На другой день парижский парламент принимал во дворце своего нового президента — этому знаменитому человеку, который подписал смертный приговор советнику дю Буру, суждено было еще в том же году судить принца Конде.

— Послушай, Бургундка, — сказал старик, — сходика ты к куму Лаллье да пригласи его с нами

поужинать. Пусть он только вина прихватит, а еда вся наша. Да скажи ему, чтобы непременно дочку с собой приводил.

III. Горожане

Синдик[93] цеха меховщиков был благообразным стариком лет шестидесяти с седыми волосами и широким открытым лбом. Будучи в течение сорока лет поставщиком двора, он пережил перевороты, происходившие в царствование Франциска I, и удержался на своем месте, несмотря на все женские распри вокруг трона. Он был свидетелем появления при дворе юной Екатерины Медичи, которой тогда еще не было и пятнадцати лет, он видел, сколько унижений ей пришлось вынести при герцогине Этампской, любовнице ее свекра, видел, как ее унижала герцогиня де Валентинуа, любовница ее мужа, покойного короля. Но нашему меховщику удалось пережить все эти разительные перемены, не в пример многим другим поставщикам двора, благополучию которых приходил конец, когда та или иная любовница короля впадала в немилость. Он был столь же благоразумен, сколь и богат. Вел он себя до крайности скромно. Гордыня

[93] Примечания: 93

Синдик — представитель общины или корпорации ремесленников, уполномоченный на ведение дел.

ни разу не заманила его в свои сети. Этот купец при дворе в присутствии принцесс, королев и королевских любовниц умел прикинуться тихим, незаметным, смиренным и уступчивым, и не что иное, как это добродушие и скромность, помогло ему сохранить свою торговлю.

Таким дипломатом мог быть только человек очень хитрый и проницательный. Но чем больше смирения он проявлял, общаясь с людьми посторонними, тем более деспотичным он становился в стенах собственного дома: там все были в его власти. В своей отрасли торговли он занимал первое место, и поэтому его собратья относились к нему с большим почтением. К тому же он охотно оказывал людям разные услуги, и среди всего, что он для них делал, несомненно, самой значительной была та помощь, которую он в течение долгого времени оказывал знаменитому хирургу XVI века Амбруазу Паре; тот получил благодаря ему возможность целиком отдаться своей науке. Когда возникали какие-либо недоразумения между купцами, Лекамю всегда выступал в роли примирителя. Таким образом, всеобщее уважение закрепило его позиции среди равных ему, в то время как своей показною кротостью он снискал себе расположение двора.

После того как в результате этой хитрой и ловкой политики он сумел вырасти в глазах всех своих собратьев по ремеслу, он стал делать все для того, чтобы сохранить репутацию благочестивого человека в глазах кюре церкви Сен-Пьеро-о-Беф, который считал его одним из самых ревностных католиков в Париже. Поэтому, как только были созваны Генеральные штаты, под влиянием парижских кюре, которое в те времена было огромно, он был единогласно избран туда в качестве представителя третьего сословия.

Этот старик был одним из тех тайных и закоренелых честолюбцев, которые добрых пятьдесят лет готовы унижаться перед всеми и каждым, вымогая себе должность за должностью, причем никто даже не подозревает, как эта должность им достается. И что же, на старости лет они достигают таких высот, о которых в молодые годы даже наиболее дерзновенные из них не смели мечтать: так далека была цель, столько раз обрывы преграждали путь к ней и так легко было сорваться в пропасть! Лекамю, который втайне сумел скопить огромное состояние, не хотел ничем рисковать и готовил блестящее будущее для своего сына. Вместо честолюбия личного, которое жертвует будущим во имя настоящего, у него

было честолюбие семейное, чувство, уже утраченное в наши дни и сведенное на нет нашим законодательством о правах наследования[94]. Лекамю уже представлял своего внука первым президентом парижского парламента и отождествлял себя с ним.

Кристоф, крестник знаменитого историка де Ту, получил прекрасное образование; но образование это породило в нем дух сомнения и страсть к исследованию, которыми были заражены тогда студенты и все университетские факультеты. Кристоф готовился стать адвокатом — это была первая ступень на судейском поприще. Старый меховщик делал вид, что никак не может решить, какая карьера больше всего подходит для его сына; иногда казалось, что он хочет сделать из него адвоката, в действительности же он домогался для него места советника парламента. Этот купец хотел, чтобы род Лекамю сравнялся с теми древними и знаменитыми парижскими купеческими родами, из которых вышли Паскье, Моле, Мирон, Сегье, Ламуаньон, дю Тилле, Лекуа-

[94] Примечания: 94

...чувство... сведенное на нет нашим законодательством о правах наследования. — Гражданский кодекс, введенный в действие Наполеоном в 1804 году, отметил преимущественное право наследования старших детей.

нье, Лескалопье, Гуа, Арно, знаменитые эшевены и купеческие старшины — защитники трона. Поэтому, для того чтобы Кристоф мог оказаться достойным той должности, которую он ему прочил, старик собирался женить его на дочери самого богатого ювелира столицы, своего кузена Лаллье, племяннику которого выпало на долю передавать Генриху IV ключи Парижа. Но этот купец лелеял и еще один тайный план: половину своего состояния и половину состояния ювелира ему хотелось употребить на приобретение большого дворянского поместья, что в ту пору было делом трудным и требовавшим немало времени. Однако этот тонкий политик слишком хорошо знал свое время и не мог не понимать, какие огромные перемены назревают вокруг: он ясно предвидел, что государство разделяется на два лагеря, и последующие события показали, что он был прав. Бессмысленные казни на площади Эстрапад, казнь портного Генриха II, совсем недавняя казнь советника Анна дю Бура, сговор фаворитки с реформатами в царствование Франциска I и недавний сговор с ними высшей знати — все это были зловещие признаки. Меховщик решил, что бы ни случилось, оставаться католиком, роялистом и сторонником парламента,

но in petto[95] он хотел, чтобы его сын принадлежал к Реформации. Он считал себя достаточно богатым, чтобы выкупить Кристофа, если тот слишком себя скомпрометирует, и надеялся, что, если Франция обратится в кальвинизм и Парижу будут грозить уличные бои, его сын сможет стать спасителем всей семьи. А память о таких боях, возобновлявшихся и в последующие четыре царствования, была жива среди горожан. Но всеми этими мыслями старый меховщик, точно так же как и Людовик XI, не делился даже с самим собою: он был настолько хитер, что умел обманывать и жену и сына. Этот властный человек давно уже возглавлял самый богатый, самый населенный квартал Парижа, его центр, — он именовался квартальным старшиной, а это была должность, которая через пятнадцать лет приобрела завидную популярность. Одетый в суконное платье, подобно всем благоразумным купцам своего времени, которые повиновались законам, направленным против роскоши, сьер Лекамю (а он носил это звание, которым Карл V удостоил парижских горожан, разрешив им покупать земельные угодья, а их женам назы-

[95] Примечания: 95
В глубине души *(ит.).*

ваться звучным именем — демуазель) не носил ни золотой цепи, ни шелков, а только добротную куртку с большими пуговицами из черненого серебра, суконные штаны и кожаные ботинки с пряжками. Из-под его полурасстегнутой куртки виднелась тонкая полотняная навыпуск рубаха, собранная в буфы, как этого требовала тогдашняя мода. Хотя крупное и красивое лицо старика было хорошо освещено лампой, Кристоф никак не мог догадаться, какие мысли скрывались под его голландским румянцем. Но он все же понимал, на что рассчитывал старый Лекамю, поощряя его чувства к Бабетте Лаллье. Поэтому, как человек, уже сделавший выбор, Кристоф, услыхав, что отец пригласил его невесту, только усмехнулся, и в усмешке этой была горечь.

Когда Бургундка ушла вслед за подмастерьями, старик Лекамю поглядел на жену. В этом взгляде можно было прочесть весь его характер, суровый и непоколебимый.

— Тебе, должно быть, хочется с твоим проклятым языком, чтобы нашего сына повесили! — сказал он сурово.

— Да, по мне лучше было бы, чтобы его осудили, но чтобы он сподобился спасения, чем видеть его живым, но гугенотом, — мрачно ответила

она. — Подумать только, что ребенок, который девять месяцев пробыл в моей утробе, изменил католической вере и спутался с этой нечистью, что он на веки вечные пойдет в ад!

Она принялась плакать.

— Глупая тварь! — возмутился меховщик. — Пусть он лучше все-таки остается в живых, даже если его и обратят в другую веру! А ты вот при подмастерьях сказала такие слова, за которые люди могут сжечь наш дом и нас всех поджарить живыми, как клопов в тюфяке.

Жена его перекрестилась, села и замолчала.

— Ну, а ты, — сказал старик, бросив на сына укоризненный взгляд, — расскажи-ка мне, что ты делал там на реке вместе с… Подойди-ка поближе, и я тебе кое-что скажу, — добавил он, обняв юношу и притянув его к себе, — …с принцем Конде, — прошептал он на ухо Кристофу, так что тот весь задрожал. — Или ты думаешь, что придворный меховщик не знает всех тайн двора? Что же, я, по-твоему, не вижу, что делается вокруг? Главнокомандующий отдал приказ стянуть все войска в Амбуаз. Увести армию из Парижа и отправить ее в Амбуаз, в то время как двор находится в Блуа, заставить войска идти через Шартр и Вандом вместо того, чтобы вести их по

Орлеанской дороге! Разве цель этого не ясна? Все это неспроста. Если королевам нужны казакины, они за ними пришлют. Очень может быть, что принц Конде решил убить обоих Гизов, а те, может быть, в свою очередь, хотят отделаться от него. Защищаясь, принц прибегнет к услугам гугенотов. А что делать во всей этой суматохе сыну меховщика? Когда ты женишься, когда ты станешь адвокатом в парламенте, ты будешь таким же благоразумным, как твой отец. Прежде чем обратиться в новую веру, сын меховщика должен подождать, пока это сделают все остальные. Я нисколько не осуждаю реформатов, какое мне до них дело? Но двор состоит из католиков, обе королевы — католички, в парламенте одни католики. И мы, поставщики, тоже должны быть католиками. Ты никуда отсюда не уйдешь, Кристоф, или я отправлю тебя к президенту де Ту, твоему крестному, и тот будет стеречь тебя по ночам, а днем заставит чернить пером бумагу вместо того, чтобы эти проклятые женевцы чернили тебе душу на своей кухне.

— Вот что, отец, — сказал Кристоф, облокачиваясь на спинку кресла, в котором сидел старик, — пошлите меня в Блуа отвезти королеве-матери ее казакин и получить с нее деньги по

счету. Иначе я погиб! А вы ведь меня любите?

— Погиб? — повторил старик, не выказывая, однако, ни малейшего изумления. — Если ты останешься здесь, ты не погибнешь. Я всегда могу тебя отыскать.

— Меня убьют.

— Убьют? За что?

— Самые ярые из гугенотов остановили свой выбор на мне: я должен кое-что для них сделать, и если я не выполню того, что только что им обещал, они убьют меня среди бела дня на улице, как убили Минара. Но если вы отправите меня ко двору по своим делам, то, может быть, я сумею оправдаться перед обеими сторонами. Одно из двух: или я добьюсь успеха, не рискуя при этом ничем, и таким образом обеспечу себе достойное место в их партии, или, если дело окажется слишком опасным, я ограничусь только тем, что выполню ваше поручение.

Старик вскочил с кресла, как будто оно было из железа, которое раскалили.

— Жена, — сказал он, — оставь нас одних и покарауль, чтобы никто сюда не зашел, нам надо поговорить.

Когда демуазель Лекамю вышла, меховщик взял сына за пуговицу и увел его в дальний угол

комнаты, выходивший на выступ моста.

— Кристоф, — сказал он ему на ухо таким же шепотом, каким он произносил имя принца Конде, — будь гугенотом, если ты, на горе себе, им стал, но только будь им в душе, ибо этого требует благоразумие, и не давай повод соседям показывать на тебя пальцами. Из твоих слов я вижу, как доверяют тебе твои вожди. Что же ты собираешься делать при дворе?

— Трудно сказать, — ответил Кристоф, — я сам еще хорошенько не знаю.

— Гм! Гм! — пробурчал старик, глядя на сына. — Этот молодчик хочет потешиться над отцом, он далеко пойдет.

Так вот, — заговорил он снова, совсем тихо, — ты едешь ко двору вовсе не для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение обоим Гизам или королю, нашему господину, или молодой королеве Марии. Все они верные католики. Но я готов поклясться, что у Итальянки есть зуб против Шотландки и против Лотарингцев, я ведь ее знаю: ей чертовски хотелось взяться за все самой! Покойный король так ее боялся, что вел себя точь-в-точь как ювелир: он резал один алмаз другим, затмил одну женщину другой. Вот отчего королева Екатерина так возненавидела

бедную герцогиню де Валантинуа, у которой она отобрала ее чудесный замок в Шенонсо. Если бы не господин коннетабль, то герцогиню, во всяком случае, уже придушили бы… Берегись, сын мой! Не попадайся в руки этой итальянки с ледяным сердцем; от таких женщин надо держаться подальше! Да, дело, которое тебе поручили при дворе, принесет тебе немало печали! — вскричал отец, видя, что Кристоф снова собирается ему ответить. — Дитя мое, я подумал о том, кем ты будешь, и даже если ты окажешь услугу королеве Екатерине, это не помешает моим планам осуществиться; только, бога ради, прошу тебя, не рискуй головой! А герцоги Гизы преспокойно ее отрежут, так же вот, как наша Бургундка режет репу, ибо люди, которые воспользовались тобою, отрекутся от тебя.

— Я это знаю, отец, — сказал Кристоф.

— Значит, у тебя хватит силы? Ты знаешь, и ты все-таки рискуешь?

— Да, отец.

— Провалиться бы им всем! — вскричал старик, крепко обняв юношу. — Мы ведь понимаем друг друга: ты достойный сын своего отца, дитя мое, ты прославишь нашу семью, и я вижу, что твоему старику отцу можно говорить, с тобой по

душам. Только не будь гугенотом больше, чем сам Колиньи! Не обнажай шпаги: тебе предстоит взяться за перо; готовься лучше к своей будущей роли судейского. Хорошо, ты мне все расскажешь потом, когда дело будет сделано. Если через четыре дня после твоего прибытия в Блуа ты ничего о себе не сообщишь, это будет означать, что ты в опасности. Старик отправится на выручку своего дитяти. Уж если я тридцать два года продавал меха, так я, верно, знаю и подкладку придворных платьев. Я сумею добиться, чтобы передо мной распахнулись все двери.

Услыхав эти слова отца, Кристоф изумился. Но вместе с тем он заподозрил, что старик устраивает ему какую-то ловушку, и замолчал.

— Ну, так готовьте счет, пишите письмо королеве; я хочу ехать сию же минуту, иначе мне грозит большая беда.

— Ехать сейчас? А как?

— Я куплю себе лошадь… Пишите же, ради бога!

— Скорее, мать! Дай денег твоему сыну! — крикнул меховщик жене.

Та вошла в комнату, поспешно открыла сундук и передала Кристофу кошелек с деньгами. Тронутый до глубины души, юноша обнял мать.

— Счет уже давно готов, — сказал старый меховщик, — вот он. Сейчас я напишу письмо.

Кристоф взял счет и положил его в карман.

— Ну, а теперь ты, во всяком случае, поужинаешь с нами, — сказал старик. — Обстоятельства настолько серьезны, что тебе и дочери Лаллье надо обменяться кольцами.

— Ну, хорошо, я сейчас схожу за ней! — воскликнул Кристоф.

Юношу смущала нерешительность отца, он еще недостаточно знал его характер; он поднялся к себе в комнату, оделся. Взял свою дорожную сумку, потом неслышно спустился вниз и положил ее под прилавок вместе с рапирой и с плащом.

— Черт возьми, что это ты делаешь? — спросил отец, услыхав его шаги.

Кристоф расцеловал старика в обе щеки.

— Я не хочу, чтобы кто-нибудь видел, что я готовлюсь к отъезду: я все сложил под прилавком, — ответил он ему шепотом.

— Вот письмо, — сказал отец.

Кристоф взял его и вышел из дома, как будто для того, чтобы сходить за своей молоденькой соседкой.

Через несколько минут после его ухода явился старик Лаллье вместе с дочерью и служанкой,

которая несла три бутылки старого вина.

— Ну, а где же Кристоф? — спросили старики Лекамю.

— Кристоф? — воскликнула Бабетта. — Да мы его и не видали.

— Нечего сказать, хорош сынок! Он меня водит за нос так, как будто мне двадцать лет. Что же теперь делать, кум? Мы живем в такое время, когда дети умнее своих отцов.

— Да, но ведь наш квартал давно уже считает его еретиком, — сказал Лалльe.

— А вы его защищайте, кум, — ответил Лекамю старику ювелиру. — Конечно, молодежь легкомысленна, она гоняется за всем новым; однако с Бабеттой он успокоится. Она ведь для него позанятнее, чем Кальвин.

Бабетта улыбнулась: она любила Кристофа и принимала к сердцу все, что говорилось против него. Это была девушка из старинного купеческого рода, воспитанная под неусыпным надзором матери; манеры ее были так же мягки и гармоничны, как и ее лицо; одета она была в шерстяное платье скромного серого цвета; ее простенькая косынка резко выделялась на этом фоне своей белизной; на голове у нее была коричневая бархатная шапочка, очень похожая на детский капор,

но отделанный рюшем и бахромой песочного цвета. Несмотря на то, что она была блондинкой с бледным, как у всех блондинок, лицом, казалось, что в ней есть какая-то хитрость и тонкое лукавство, которые она, однако, старалась спрятать под обличьем благовоспитанной девушки. Пока обе служанки бегали туда и сюда, накрывая стол скатертью и ставя на него кувшины, большие оловянные блюда и приборы, меховщик и его жена стояли возле высокого камина с ламбрекенами из красной саржи, окаймленными черною бахромою, и говорили о всяких пустяках. Напрасно Бабетта старалась узнать, куда скрылся Кристоф: отец и мать нашего юного гугенота давали на все уклончивые ответы. Но когда обе семьи сели за стол и служанки вышли на кухню, Лекамю сказал своей будущей невестке:

— Кристоф уехал ко двору.

— В Блуа! Отравился в такой длинный путь и даже не попрощался со мной! — вскричала девушка.

— Медлить было нельзя, — возразила старуха мать.

— Куманек, — сказал меховщик, продолжая прерванный разговор, — заваруха во Франции начинается, реформаты поднимают голову.

— Победы они могут добиться только кровопролитными войнами, и тогда всей нашей торговле придется плохо, — отозвался Лалльe, который на все смотрел только с точки зрения интересов торгового дела.

— Мой отец, на глазах которого кончились войны бургиньонов и арманьяков, говорил мне, что семье нашей было бы не спастись, если бы один из его дедов, отец его матери, не принадлежал к роду Гуа, тех знаменитых мясников парижского рынка, которые держали сторону бургиньонов, в то время как другой — Лекамю — принадлежал к партии арманьяков; на людях они готовы были перегрызть друг другу горло, но у себя дома они отлично находили общий язык. Поэтому будем пытаться спасти Кристофа; может быть, и он когда-нибудь спасет нас.

— Я вижу, что вы человек дошлый, кум, — сказал ювелир.

— Нет, — ответил Лекамю. — Но купцам надо думать о себе. И народ и дворяне хотят им зла. Парижские купцы внушают страх всему миру, кроме самого короля, который знает, что они ему верны.

— Вы человек ученый и столько всего видели, — робко попросила Бабетта, — объясните же

мне, чего хотят эти реформаты?

— Да, скажите, кум! — воскликнул ювелир. — Я знал портного покойного короля и был уверен, что это человек без всяких задних мыслей и что он не блещет никакими особенными талантами. Он ведь вроде нас был и такой жизни, что чуть ли не без исповеди мог к причастию идти. И что же, оказывается, он был одним из заправил этой новой веры! Подумать только, голову его оценили в несколько сот тысяч экю!

— Должно быть, он и вправду какие-то тайны знал, если и сам король, и герцогиня Валантинуа присутствовали, когда его пытали.

— И страшные тайны! — сказал меховщик. — Если Реформация победит, друзья мои, — добавил он, понизив голос, — церковные земли неминуемо отойдут к торговцам. После того как будут уничтожены все привилегии церкви, реформаты собираются потребовать, чтобы дворян уравняли в податях с купцами и чтобы король правил один, если только вообще они оставят в стране короля.

— Как, свергнуть короля! — вскричал Лаллье.

— Эх, кум, — сказал Лекамю, — в Нидерландах купцы сами управляют страной при помощи эшевенов, которые выбирают из своего числа временного правителя.

— Видит господь, кум, всего этого можно отлично добиться и оставаясь католиками! — вскричал ювелир.

— Мы с вами слишком уже стары, чтобы видеть победу парижских горожан, но знайте, кум: наступит время, когда они победят. Ах, как надо, чтобы мы понадобились королю, когда трон его будет в опасности, мы ведь до сих пор всегда умели выгодно продавать свою помощь! Последний раз все купцы получили дворянство, им было позволено покупать дворянские поместья и носить дворянские имена, не испрашивая на это всякий раз особого разрешения короля. А скажите, вы или я, внук самого Гуа по женской линии, разве мы не достойны того, чтобы стать вельможами?

Эти слова настолько напугали ювелира и обеих женщин, что в комнате воцарилось глубокое молчание. В крови Лекамю начинала уже бродить закваска 1789 года; он был еще не настолько стар, чтобы не предвидеть, как далеко пойдет буржуазия в Лиге.

— Ну, а на торговле вся эта перепалка не отразилась? — спросил Лалльe у жены Лекамю.

— Ей это всегда вредит, — ответила та.

— Вот поэтому-то я и хочу сделать своего сына адвокатом, — сказал Лекамю, — чего другого, а

кляуз на наш век хватит.

После этого разговор перешел на самые заурядные предметы, к большому удовольствию ювелира, который недолюбливал и политические смуты, и полет мысли.

IV. Замок Блуа

Берега Луары от Блуа до Анже были излюбленным местопребыванием двух последних ветвей королевской династии, которые царствовали перед Бурбонами. Этот чудесный край действительно заслужил ту честь, которую ему оказали короли. Вот что писал о нем один из наших изящнейших писателей:

«Во Франции есть провинция, которой никогда нельзя налюбоваться. Благоуханная, как Италия, цветущая, как берега Гвадалквивира, полная своего особого обаяния, она всегда была и остается подлинно французской, в отличие от наших северных провинций, которые выродились в силу общения с немцами, от нашего Юга, где исконное население смешивалось с маврами, с испанцами и с кем угодно. Эта чистая, целомудренная, храбрая и верная своим королям провинция — Турень! Это живая история Франции! Овернь — это Овернь, Лангедок — не более чем Лангедок, но Турень — это Франция, и наша самая национальная река — это Луара, которая орошает Турень. Вот чем объясняется изобилие исторических памятников в различных департаментах, назва-

ния которых идут от Луары. С каждым шагом в этой стране очарования открываются все новые картины, обрамленные контурами реки или спокойным овалом пруда, глубокие воды которого отражают замок, его башни, леса и бьющие из-под земли ключи. И нет ничего удивительного, что там, где пребывали короли, где столько лет находился двор, собирались все самые богатые, самые знатные и самые заслуженные люди и что они воздвигли там дворцы, достойные их величия».

Однако непонятно, почему короли не прислушались к мнению, которое высказал однажды Людовик XI, — переместить столицу страны в Тур. Там без больших затрат Луару можно было бы сделать доступной для торговых судов и для небольших военных кораблей. Там резиденция правительства была бы защищена от вторжения врага. Северные крепости не потребовали бы таких средств на свое оснащение — а ведь оно стоит не меньше, чем вся роскошь Версаля. Если бы Людовик XIV внял совету Вобана, который предлагал ему устроить резиденцию в Мон-Луи между Луарой и Шером, дело, может быть, даже обошлось бы без революции 1789 года. Эти живописные берега то там, то тут носят на себе от-

печаток нежной заботы королей. Замки Шамбор, Блуа, Амбуаз, Шенонсо, Шомон, Плесси-Летур, как и замки, построенные любовницами наших королей, вельможами и финансистами в Вере, Азеле-Ридо, Юссе, Виландри, Балансе, Шантелу, Дюртале — иные из них уже не существуют, но большинство уцелело, — все эти восхитительные памятники передают дух и очарование этой эпохи, столь плохо понятой сектой литературных медиевистов. Среди этих замков замок Блуа, где в те времена находился двор, носит наряду с другими следы блеска и великолепия Орлеанской династии и династии Валуа и в силу этого особенно любопытен для каждого историка, каждого археолога, каждого католика. В то время он был совершенно отрезан от мира. Город, окруженный крепкими стенами и башнями, расстилался у подножия крепости — а ведь этот замок являлся в одно и то же время и крепостью и загородною резиденцией. Над городом с его тесно прижатыми друг к другу синеватыми шиферными крышами, которые тянулись тогда, как и теперь, от самой Луары до вершины холма, над правым берегом реки находится треугольное плато. С запада его окаймляет ручей. Теперь ручей этот не имеет никакого значения, потому что русло его прохо-

дит под городом, но в XV веке, как утверждают историки, на этом месте находилась довольно значительная балка, от которой осталась теперь лощина с совершенно отвесными стенами, отделяющими предместье города от замка.

Вот на этом-то плато, открытом с севера и с юга, графы де Блуа и воздвигли в стиле архитектуры XII века замок, где находился двор знаменитых Тибо-Плута, Тибо-Старого и других[96]. В эти феодальные времена, когда король был не более чем primus inter pares[97], как прекрасно выразился один из польских королей, из числа графов Шампани, Блуа, Анжу, рядовых нормандских баронов и бретонских герцогов вышла целая когорта государей — королей самых могущественных держав. Плантагенеты Анжуйские, Люзиньяны из Пуату, Роберты Нормандские благодаря своей отваге становились родоначальниками королевских династий, иногда же, подобно де Глэкену, простые рыцари отказывались от королевского пурпура и предпочитали ему меч коннетабля. Когда графство Блуа было присо-

[96] Примечания: 96

Двор знаменитых Тибо... — Тибо — имя нескольких графов Шампанских в средние века.

[97] Примечания: 97

Первый среди равных *(лат.)*.

единено к королевским владениям, Людовик XII, который облюбовал это место, может быть, для того, чтобы жить подальше от Плесси, связанного в его памяти с мрачным образом Людовика XI, построил корпус с окнами на восток и на запад, соединивший под углом замок графов Блуа с остатками старинных строений, от которых в наши дни уцелел только один огромный зал, где при Генрихе III собирались Генеральные штаты. Франциск I захотел довести до конца постройку этого замка, присоединив к нему еще два крыла; таким образом, весь квадрат был бы завершен. Но Шамбор отвлек этого короля от Блуа, и он ограничился тем, что воздвигнул там только корпус, который и явился самостоятельным замком как во время его царствования, так и при его внуках. Этот третий из замков, построенных Франциском I, гораздо обширнее, чем та часть Лувра, которая носит название Лувра Генриха II. Это один из самых причудливых образцов так называемой архитектуры Ренессанса. Поэтому в то время, когда существовала эта своеобразная архитектура и о средневековье никто не думал, в эпоху, когда литература не была так тесно связана с искусством, как в наши дни, Лафонтен сказал про замок Блуа на своем полном добродушия языке:

«Когда я разглядываю это здание снаружи, мне больше всего по душе построенное Франциском I; множество чудесных маленьких галерей, маленьких балконов, мелких, разбросанных там и сям украшений, — а из всего этого вместе вырастает нечто величественное и радует глаз».

Итак, замок Блуа являл тогда собою сочетание трех разных стилей, трех эпох, трех царствований. И не существует, пожалуй, ни одной королевской резиденции, которую в этом отношении можно было бы сравнить с замком Блуа. Эта огромная постройка в пределах одной и той же ограды, одного и того же двора с большою точностью и полнотою воспроизводит ту картину нравов и всей жизни народов, которая воплощена в архитектуре. В дни, когда Кристоф направлялся к королевскому двору, та часть замка, которая сейчас занята четвертым дворцом, воздвигнутым там семьдесят лет спустя мятежником Гастоном, братом Людовика XIII, представляла собою целый ансамбль цветников и висячих садов, в живописном беспорядке переплетавшихся с зубчатыми выступами и недостроенными башнями замка Франциска I. Эти сады соединялись смело перекинутым мостом (нынешние старики в Блуа помнят еще этот мост, который снесли при них) с цветни-

ком, возвышавшимся по другую сторону замка и в силу самого рельефа местности оказавшимся на том же уровне. Дворяне — приближенные королевы Анны Бретонской[98] или жившие в Бретани и являвшиеся, чтобы о чем-нибудь перед ней ходатайствовать, советоваться с ней и докладывать ей о событиях в Бретани, по обыкновению ожидали на этом пригорке, пока она встанет, выйдет на прогулку и даст им аудиенцию. Вот почему история назвала этот пригорок Бретонским насестом. В наши дни на этом месте разбит чей-то фруктовый сад, выходящий на площадь Иезуитов. Площадь эта тогда тоже была покрыта зеленью и составляла часть этого чудесного ансамбля с его верхними и нижними садами. И теперь еще на довольно значительном расстоянии от площади Иезуитов стоит павильон, построенный при Екатерине Медичи, где, если верить историкам Блуа, у нее были бани. Эта деталь позволяет восстановить до крайности неправильное расположение садов, которые то возвышались, то опускались в зависимости от уровня почвы. Вокруг замка она была особенно неровной и этим делала его как

[98] Примечания: 98

Анна Бретонская (1477–1514) — жена французского короля Карла VIII, в качестве приданого принесла французской короне герцогство Бретань.

бы крепостью, что, как мы в дальнейшем увидим, очень мешало герцогу Гизу. Замок соединялся с садом внешними и внутренними галереями, из которых главная по характеру украшавшего ее орнамента носила название галереи Оленей. Эта галерея заканчивалась великолепной лестницей, несомненно повлиявшей на создание знаменитой двойной лестницы в Шамборе; лестница эта шла с этажа на этаж и вела во внутренние покои замка. Хотя Лафонтен и предпочитал замок Франциска I замку Людовика XII, настоящий художник, отдав должное великолепию дома, построенного королем-рыцарем, прельстится, может быть, все же и простодушным созданием короля-добряка. Легкость обеих лестниц, находящихся с каждой стороны замка Людовика XII, своеобразные изящные скульптуры — им тогда не было числа, но даже и те немногие, что остались, продолжают пленять антикваров — все, вплоть до почти монастырского расположения комнат, свидетельствует о крайней простоте нравов. По-видимому, двор тогда еще не существовал; он не был тем, чем стал впоследствии благодаря усилиям Франциска I и Екатерины Медичи, приведшим к гибели феодальных нравов. Когда восхищаешься этими галереями, капителями

отдельных колонн, этими поразительными по своему изяществу статуэтками, нельзя отделаться от мысли, что Мишель Колом, этот великий скульптор, этот бретонский Микеланджело, сотворил все это, чтобы угодить своей королеве Анне, образ которой он увековечил на гробнице ее отца, последнего из герцогов Бретонских.

Что бы ни говорил Лафонтен, ни один дворец не может сравниться по грандиозности с роскошным зданием, построенным Франциском I. В силу какого-то непонятного недосмотра или, может быть, просто потому, что о них позабыли, апартаменты, которые занимали тогда Екатерина Медичи и ее сын Франциск II, и посейчас еще сохранили свое прежнее расположение. Поэтому историк может видеть обстановку, в которой развертывалась трагедия Реформации, одним из самых запуганных актов которой являлась двойная борьба Гизов и Бурбонов с Валуа.

Замок Франциска I своими огромными размерами совершенно подавляет незатейливое жилище Людовика XII. С нижней стороны, то есть со стороны площади, носящей сейчас название площади Иезуитов, фасад чуть ли не вдвое выше, чем со стороны двора. Первый этаж здания, который составляли знаменитые галереи, нахо-

дится на уровне третьего этажа, выходящего в сад. Таким образом, второй этаж, где жила королева Екатерина, там переходит в четвертый, а королевские покои занимают пятый этаж над нижними садами, которые в то время были отделены от фундамента глубокими рвами. Замок, огромный даже со стороны двора, кажется просто гигантским, если смотреть на него с нижней части площади, как смотрел Лафонтен, который признается, что не был ни во дворе, ни во внутренних покоях. Со стороны площади Иезуитов весь замок кажется меньше. Балконы, которые могут служить местом для прогулок, галереи великолепной работы, их лепные озонные амбразуры величиною с целый будуар, которые и действительно служили тогда будуарами, напоминают собою фантастические декорации наших современных опер, когда художник хочет изобразить какой-нибудь волшебный дворец. Но когда глядишь на это здание со двора, несмотря на то, что три верхних этажа, поднимающиеся над первым, достигают высоты Павильона часов в Тюильри, необычайное искусство этой архитектуры дает себя чувствовать, пленяя и поражая взгляд. Посреди главного здания, в котором размещался великолепный двор Екатерины и двор

Марии Стюарт[99], воздвигнута шестиугольная башня с витою каменною лестницею в середине. Этот мавританский каприз, этот замысел гигантов, осуществленный карликами, придает всему фасаду какую-то сказочность. Лестница эта имеет форму спирали с четырехугольными клетками вдоль каждой из пяти стен башни и на известном расстоянии образует подобие балконов, окаймленных снаружи и внутри лепными арабесками. Это поразительное творение человеческих рук с его тончайшими, искусно выполненными деталями, с настоящими чудесами скульптуры, вдохнувшей в камни жизнь, можно сравнить разве только с богатой и диковинной резьбой из слоновой кости, которою славятся китайские или дьеппские мастера. Из камня здесь сплетаются кружева, цветы, фигуры людей и животных, число их с каждым шагом растет и растет, и в конце концов они же венчают эту башню замком свода, где скульптор XVI века состязается с бесхитростными ваятелями, которые за пятьдесят лет до него украсили своими произведениями замок свода над обеими лестницами в замке Людовика

[99] Примечания: 99

Мария Стюарт (1542–1587) — жена французского короля Франциска II, племянница герцога де Гиза (Балафре). С 1560 по 1567 год — королева Шотландии.

XII. Но как бы мы ни были ослеплены, видя все это необычайное разнообразие форм, мы замечаем, что Франциску I не хватало денег для постройки замка Блуа, точно так же как Людовику XIV их не хватало для Версаля. То тут то там мы видим вдруг какую-нибудь прелестную головку, а все остальные очертания фигуры тонут в едва отесанной глыбе. Часто какая-нибудь причудливой формы розетка только намечена несколькими ударами резца на камне, который потом от сырости весь покрылся зеленоватою плесенью.

На стене фасада видишь окно с лепным кружевным орнаментом, а рядом с ним другое, где сплошная громада камня изъедена временем, которое тоже что-то высекло из него на свой лад. Даже для самых несведущих и неискушенных глаз ощутим разительный контраст между этим зданием, где на каждом шагу на вас целым каскадом сыплются чудеса искусства, и внутренностью замка Людовика XII, состоящей из первого этажа с его легкими, поистине воздушными аркадами, укрепленными на тонких столбах, и двух верхних этажей, где скульптурная отделка окон выполнена с восхитительной строгостью. Под аркадами тянется изящная галерея, стены кото-

рой были расписаны a fresco[100] точно так же, как и потолок. И теперь уцелели кое-какие следы этой великолепной росписи, созданной наподобие итальянской, живого свидетельства власти наших королей, которым тогда принадлежала Миланская область. Напротив замка Франциска I в то время находилась капелла графов де Блуа, фасад которой, пожалуй, даже гармонировал с архитектурой резиденции Людовика XII. Никакой образ не в силах передать величественную монументальность этих трех зданий, и, несмотря на то, что отделка каждого из них так не вяжется с отделкой других, королевская власть, которая при всем своем могуществе, при всей силе была мучима неимоверными страхами и выдавала себя принимаемыми ею неимоверными предосторожностями, стала как бы объединяющим звеном для этих трех столь различных построек, две из которых стенами своими примкнули к огромному залу Генеральных штатов, просторному и высокому, как храм. Разумеется, этому королевскому дворцу были присущи и простодушие и устойчивость жизни горожан, описанной нами в начале этой повести, жизни, которой

---

[100] Примечания: 100
По сырой извести *(ит.).*

искусство никогда не было чуждо. Блуа был как бы основной темой, темой блестящей и воодушевляющей, на которую буржуазия и феодальное дворянство, богатство и знатность дали столько новых вариаций в городах и даже в деревнях. Другим и не мог быть дворец государя, правившего Парижем в XVI веке. Богатые одежды, которые носили вельможи, и роскошные женские платья, должно быть, удивительно гармонировали с очертаниями этого тонко обработанного камня. Поднимаясь по чудесной лестнице своего замка в Блуа, французский король мог любоваться на все большем и большем протяжении долиной прекрасной Луары, которая несла ему вести со всего королевства, разделенного ею на два лагеря, противостоящих друг другу и едва ли не соперничавших. Если бы Франциск I, вместо того чтобы строить себе замок Шамбор в этой сумрачной и мертвой равнине, построил себе резиденцию под углом к описанному нами замку, там, где тянулись сады, среди которых Гастон воздвиг свой дворец, Версаля бы не существовало: Блуа неизбежно сделался бы столицей Франции. Четыре короля из династии Валуа и Екатерина Медичи расточали свои богатства, отделывая замок Франциска I в Блуа. Можно ли не заметить

этой расточительности, когда любуешься массивными внутренними стенами, спинным хребтом этого замка, в которых находятся глубокие альковы, и потайные лестницы, и кабинеты, размером своим не уступающие залу заседаний и кордегардии, и королевские покои, где в наши дни без труда удается разместить целую роту солдат?

Если бы посетитель в первую минуту даже не ощутил этой связи между необычайной красотою фасада замка и красотами внутренней отделки, то одного уцелевшего убранства кабинета Екатерины Медичи, того кабинета, куда должен был явиться Кристоф, было бы достаточно, чтобы свидетельствовать о тончайшем искусстве, которое населило эти покои живыми существами; саламандры сверкали там среди цветов, и кисть художника XVI века украсила самыми яркими своими картинами самые мрачные глубины замка. Стены этого кабинета хранят еще и по сей день следы того пристрастия к позолоте, которое Екатерина привезла с собою из Италии, ибо все принцессы из рода Медичи любили, по прелестному выражению уже цитированного нами автора, покрывать в королевских замках Франции стены золотом, которое предки их нажили торговлей, дабы сами эти стены свидетельство-

вали об их богатстве.

Королева-мать занимала в первом этаже апартаменты королевы Клод Французской, жены Франциска I; там и сейчас еще сохранились тонкие лепные буквы — сдвоенные C вместе с изображением лебедей и лилий ослепительной белизны. Инициалы эти означали также candidior candidis (белее самого белого) — девиз этой королевы, чье имя, как и имя Екатерины, начиналось с буквы C, одинаково подходил и к дочери Людовика XII, и к матери последних Валуа, ибо, как бы ни неистовствовали кальвинисты в своей клевете, верность Екатерины Медичи Генриху II за все время не была омрачена ни одним подозрением.

По всей вероятности, королеве-матери, у которой было еще двое малолетних детей (сын, впоследствии герцог Алансонский, и дочь Маргарита, будущая жена Генриха IV, которую Карл IX звал Марго), понадобился весь второй этаж целиком.

Король Франциск II и королева Мария Стюарт разместились в третьем этаже в королевских покоях, которые некогда занимал Франциск I и где впоследствии жил Генрих III. Королевские покои, так же как и апартаменты, занимаемые

королевой-матерью, были расположены по всей длине замка и в каждом этаже были перегорожены знаменитой внутренней стеной, толщина которой достигает четырех футов и которая служит опорой для огромных стен между залами замка. Таким образом, как во втором, так и в третьем этаже комнаты разделялись на две половины, резко отличавшиеся друг от друга. Южная, ярко освещенная сторона, выходившая во двор, служила для приемов и для государственных дел, в то время как жилые помещения были расположены на северной стороне, представлявшей собой великолепный фасад с балконами и галереями, откуда открывался вид на поля Вандомуа, на *Бретонский насест* и на городские рвы — тот единственный вид, о котором говорит наш великий баснописец Лафонтен.

Замок Франциска I в те времена завершался огромной, но еще не достроенной башней. От этой башни должно было начинаться новое крыло дворца, пристроенное к нему под прямым углом. Впоследствии Гастон сломал боковые стены этой башни, чтобы прилепить к ней свой дворец, но довести до конца свой замысел ему не удалось, и башня так и осталась полуразрушенной. Эта королевская башня служила тогда тюрьмой, или,

как ее называло народное предание, *каменным мешком.* Какой поэт, проходя теперь залами этого великолепного замка, столь дорогими искусству и истории, не будет охвачен мучительным сожалением и обидой за Францию, когда увидит, что эти восхитительные арабески кабинета Екатерины замазаны известью и погублены во время эпидемии холеры по распоряжению коменданта казарм (эти королевские покои были превращены в казармы!). Панели кабинета Екатерины Медичи, о которых скоро будет идти речь, — это последнее, что осталось от всей богатой меблировки, накопленной царствованиями пяти королей с утонченным вкусом. Проходя по этому лабиринту опочивален, зал, лестниц и башен, можно с ужасающей уверенностью сказать: «Здесь Мария Стюарт ласкала своего мужа на радость Гизам. Там Гизы оскорбляли Екатерину. На этом же месте второй Балафре пал под ударами королевских мстителей. А на столетие раньше из этого окна Людовик XII знаком приглашал к себе своего друга кардинала Амбуазского. На этом балконе д'Эпернон, сообщник Равальяка, принимал королеву Марию Медичи, которая, как утверждают, знала о готовящемся убийстве короля и допустила, чтобы оно совершилось!» В капелле,

где состоялась свадьба Генриха IV и Маргариты Валуа, единственном помещении, уцелевшем от всего замка графов де Блуа, устроена сапожная мастерская полка. Этот необыкновенный памятник, воскрешающий столько стилей и напоминающий о столь значительных событиях нашей истории, разрушается с каждым днем и видом своим позорит Францию. Какою горечью наполняется сердце того, кто любит старую Францию и ее архитектуру, при мысли, что скоро эти старинные камни постигнет участь зданий на углу улицы Вьель-Пелыри: память о них сохранится, может быть, только на этих страницах!

Необходимо заметить, что Гизы, несмотря на то что в городе у них был собственный дворец, сохранившийся и посейчас, — для того чтобы пристальнее следить за тем, что делается при дворе, выговорили себе право поселиться прямо над покоями короля, там, где позднее жила герцогиня Немурская, — на антресолях третьего этажа.

Юный Франциск II и юная королева Мария Стюарт, влюбленные друг в друга, как только можно быть влюбленными в шестнадцать лет, были внезапно в холодное зимнее время перевезены из замка Сен-Жермен, который герцог Гиз считал недостаточно укрепленным, в настоящую

крепость, какою был в те дни замок Блуа. С трех сторон замок этот был окружен крутыми рвами, а ворота были под надежной защитой. У Гизов, приходившихся дядями королеве, были веские основания для того, чтобы не жить самим в Париже, удерживая двор в стенах замка, которые постоянно оставались в поле их зрения и которые они всегда могли отстоять от врага. Вокруг престола шла борьба между Лотарингским домом и домом Валуа, и борьба эта завершилась в этом же замке спустя двадцать восемь лет, в 1588 году, когда Генрих III в присутствии матери, которую тогда лотарингцы глубоко унижали, услышал о гибели самого отважного из Гизов, второго Балафре, сына того первого Балафре, который издевался над Екатериной Медичи, держал ее у себя в плену, шпионил за ней и угрожал ей.

Прелестный замок Блуа стал для Екатерины самой тесной тюрьмою. После кончины мужа, у которого ей всегда приходилось быть на поводу, она хотела царствовать; но оказалось, что она обращена в рабство иностранцами, которые при всей своей учтивости были в тысячу раз грубее, чем настоящие тюремщики. Ни один ее шаг не оставался незамеченным. У самых преданных ей фрейлин обнаруживались или любовники,

преданные Гизам, или аргусы, не спускавшие с них глаз. И действительно, в то время страсти были необычными, как это всегда бывает, когда в государстве сталкиваются противоположные силы. Галантные нравы, оказавшиеся столь полезными для Екатерины, помогали и дому Гизов. Подруга принца Конде, первого вождя Реформации, была женою маршала Сент-Андре, который был клевретом гофмаршала. Кардинал, увидевший на примере видама Шартрского, что Екатерина скорее просто никем не побеждена, чем непобедима, сам стал ухаживать за нею. Таким образом, игра страстей усложнялась еще и политической игрою. Получалась как бы двойная шахматная партия, где надо было следить и за сердцем, и за помыслами человека, ибо случалось, что либо сердце их выдавало, либо, напротив, ум выдавал сердце. Несмотря на то, что кардинал Лотарингский и герцог Франсуа де Гиз, почти не разлучавшиеся со своей племянницей, относились к Екатерине с явным недоверием, самой скрытой и самой ловкой противницей Екатерины Медичи была все же королева Мария, ее невестка, эта маленькая блондинка, лукавая, как субретка, надменная, как все Стюарты, королева трех королевств, женщина с познаниями ученого

и с проказами монастырской воспитанницы, влюбленная в мужа, как куртизанка в любовника, верная союзница своих дядей, которых она боготворила, счастливая тем, что благодаря ей эти чувства к ним разделял и король Франциск. Свекровь никогда не бывает любима невесткой, а особенно тогда, когда эта свекровь — королева и не хочет расстаться со своей короной. Екатерина, не будучи достаточно осторожной, не всегда умела скрыть свои планы. В былые дни, когда Диана де Пуатье царствовала над королем Генрихом II, положение Екатерины было более сносным: она по крайней мере пользовалась всеми королевскими почестями, и двор ее уважал, а теперь герцог и кардинал окружили себя всюду своими ставленниками и как будто даже испытывали удовольствие, всячески унижая королеву-мать. Самолюбие Екатерины, которая была в настоящем плену у придворных, уязвлялось не только ежедневно, но даже ежечасно, ибо Гизы явились продолжателями той системы, которую применял к ней покойный король.

Бедствия, потрясавшие Францию в течение тридцати шести лет, начались, может быть, именно с того момента, когда сын меховщика обеих королев взялся выполнить свою риско-

ванную миссию и оказался в силу этого главным действующим лицом нашей повести. Опасность, которой подвергал себя этот убежденный реформат, стала совершенно явной в то самое утро, когда он покинул порт Божанси с ценнейшими документами, компрометирующими самых высокопоставленных лиц, и отправился в Блуа вместе с хитрым мятежником, неутомимым Ла Реноди, прибывшим в порт еще раньше, чем он.

В то время как лодка, где находился Кристоф, подгоняемая легким восточным ветром, спускалась вниз по течению Луары, знаменитый кардинал Шарль Лотарингский и второй герцог Гиз, один из величайших полководцев того времени, подобно двум орлам, примостившимся на вершине скалы, оглядывали местность, дабы со всею трезвостью оценить создавшееся положение, прежде чем нанести свой решающий удар, которым они сначала пытались уничтожить французскую Реформацию в Амбуазе и который они повторили в Париже двенадцать лет спустя, 24 августа 1572 года.

V. Двор

Ночью трое всадников — люди, призванные играть важную роль в той трагедии, началом которой был двойной заговор Гизов и реформатов и которая длилась все эти двенадцать лет, — обессиленные, добрались до цели пути. Спешившись, они оставили своих полумертвых лошадей у боковой двери замка, который охранялся солдатами и офицерами, беззаветно преданными герцогу Гизу, кумиру всех военных.

Скажем несколько слов об этом великом человеке, из которых будет видно, как сложилась его судьба.

Матерью Гиза была Антуанетта Бурбонская, двоюродная бабушка Генриха IV. Но что проку в узах родства! Как раз в это время он хотел разделаться со своим кузеном — принцем Конде. Племянницей его была Мария Стюарт. Женою его была Анна, дочь герцога Феррарского. Верховный коннетабль Анн де Монморанси в письмах к герцогу Гизу называл его «монсеньор», как короля, а подписывался словами «ваш покорнейший слуга». Гиз, который был в это время гофмаршалом и распоряжался всем двором, отвечал ему:

«Господин коннетабль» — и подписывался теми же словами, которыми он подписывал письма в парламент: «Ваш добрый друг».

Что же касается кардинала, которого звали *Трансальпийским* папой и которого Этьен именует «его святейшеством», то он пользовался поддержкой всего французского монашества и был на равной ноге со святым отцом. Он гордился своим красноречием, был одним из сильнейших богословов того времени и держал в своих руках Францию и Италию с помощью трех духовных орденов, беззаветно ему преданных, которые денно и нощно занимались выполнением его приказов и поставляли ему советников и шпионов.

Из всего этого видно, каких высот власти достигли кардинал и герцог. Несмотря на свои богатства и на все доходы, которые приносили их должности, они были или настолько бескорыстны, или настолько увлечены своими политическими делами и к тому же до такой степени щедры, что оба наделали долгов, но, разумеется, это были долги Цезаря. Вот почему, когда по приказу Генриха III был убит второй Балафре, который был так для него опасен, дом их не мог не разориться. В течение целого столетия огромные средства тратились на то, чтобы достичь власти, и все это

объясняет, почему дом Гизов пришел в такой упадок при Людовике XIII и при Людовике XIV, когда внезапная смерть Генриетты[101] открыла всей Европе глаза на подлый поступок, до которого унизился некий шевалье из Лотарингского дома. Именуя себя наследниками Каролингов, незаконно лишенными прав, кардинал и герцог вели себя крайне нагло с Екатериной Медичи, свекровью своей племянницы. Герцогиня де Гиз не упускала случая оскорбить Екатерину. Герцогиня эта происходила из рода д'Эсте, а предками королевы были Медичи, всего-навсего флорентинские торговцы, добившиеся высокого положения, но не признанные королевскими домами Европы. Поэтому Франциск I считал брак своего сына с дочерью Медичи мезальянсом и согласился на этот брак только в силу убеждения, что его сын Генрих никогда не станет престолонаследником. Понятна его ярость, когда умер дофин, отравленный флорентинцем Монтекуккули. Представители рода д'Эсте отказывались признать Медичи итальянскими князьями. Эти бывшие торговцы с того времени действительно

[101] Примечания: 101

Внезапная смерть Генриетты. — Генриетта Английская (1644–1670) — дочь английского короля Карла I, жила при дворе Людовика XIV. Согласно легенде, умерла отравленной.

хотели решить неразрешимую задачу: сохранить королевскую власть, окружив ее республиканскими учреждениями. И только уже значительно позднее король Испании Филипп II даровал роду Медичи титул великих герцогов: чтобы получить его, им надо было предать Францию, свою благодетельницу, и засвидетельствовать рабскую верность испанскому двору, который в Италии был их тайным противником.

«Ласкайте одних только врагов!» Знаменитые слова Екатерины являются как бы политической программой этого семейства купцов, в котором было немало великих людей, но в котором они уже перевелись к тому времени, когда Медичи стали всемогущими; род этот слишком рано подвергся вырождению, жертвою которого в конце концов становятся королевские династии и потомки знаменитых фамилий.

В каждом из трех последовательно сменявших друг друга поколений Лотарингского рода был один полководец и один кардинал, и — что, пожалуй, не менее удивительно — последний обычно, так же как и кардинал, о котором идет сейчас речь, чертами лица походил на Химене-

са[102]: сходство с последним было и у кардинала Ришелье. У этих пяти кардиналов в лицах была одновременно и свирепость и какая-то кошачья хитрость, в то время как в лицах военных сквозили типичные черты баска и горца, которые есть и у Генриха IV, причем и у отца и у сына лица отмечены одинаковым рубцом от раны. Рубцы эти, однако, не лишали их лиц того открытого и приветливого выражения, которое привлекало к ним солдат не меньше, чем их отвага.

Нелишним будет сказать о том, где и при каких обстоятельствах герцогу Гизу была нанесена эта рана: ведь лечил ее один из персонажей нашей трагедии — отважный Амбруаз Паре, человек, многим обязанный синдику меховщиков. Во время осады Кале герцог получил сквозное ранение в голову; острие копья, проколов ему щеку под правым глазом, вышло из затылка над левым ухом, а конец остался торчать из щеки. Герцог лежал у себя в палатке, все были в полном отчаянии; он был обречен и неминуемо бы погиб, если бы не храбрость самоотверженного Амбруаза Паре.

— Герцог не умер, господа, — сказал Амбруаз, глядя на свиту, которая заливалась слезами, — но

[102] Примечания: 102

Хименес (1436–1517) — испанский кардинал, был фактически правителем Кастилии.

скоро умрет, — продолжал он, — если у меня не хватит смелости поступить с ним сейчас, как с мертвым. Чем бы мне это ни грозило, я готов идти на риск. Глядите же!

Он поставил левую ногу на грудь герцога, сдавил ногтями древко копья, тихонько расшатал его и в конце концов вытащил железное острие из головы, как будто перед ним был какой-то неодушевленный предмет, а не живой человек. Жизнь герцога была спасена находчивостью и смелостью врача; однако на лице у него после этого остался глубокий шрам, откуда и пошло его прозвище. В силу аналогичной причины такое же прозвище было дано его сыну.

Держа в полном подчинении короля Франциска II, который страстно любил отвечавшую ему взаимностью жену и во всем подчинялся ей, эти два знаменитых Лотарингских принца умели использовать их взаимную любовь в своих интересах. Они царствовали во Франции, и при дворе у них не было противников, кроме Екатерины Медичи. Никогда еще столь искусным политикам не приходилось действовать с такой необыкновенной осторожностью.

Положение честолюбивой вдовы Генриха II и честолюбивого Лотарингского дома в какой-то

мере определилось местом, которое они занимали на террасе замка в то утро, когда туда должен был прибыть Кристоф. Королева-мать, делавшая вид, что очень расположена к Гизам, просила рассказать ей, какие вести привезли три сеньора, прибывшие из разных концов страны; но ей пришлось стерпеть новое унижение: кардинал учтиво отклонил ее просьбу. Она прогуливалась по дальним аллеям сада возле Луары, там, где по ее приказу для астролога Руджери была построена обсерватория, которую можно видеть еще и сейчас; оттуда открывается широкий вид на эту восхитительную долину. Оба Лотарингца находились на противоположной стороне, выходящей на Вандомуа, откуда глазу открывается возвышенная часть города, Бретонский насест и боковые ворота замка. Екатерина обманула обоих братьев, притворившись недовольной; на самом деле, она была очень рада поговорить с одним из прибывших: он был ее доверенным лицом и без всякого смущения вел двойную игру, за которую, разумеется, его щедро вознаграждали. Человек этот, по имени Киверни, делал вид, что с головою предан кардиналу Лотарингскому, в действительности же был верным слугою Екатерины. У Екатерины было еще двое преданных

ей вельмож в лице двух Гонди, ее ставленников; но эти два флорентинца были на слишком большом подозрении у Гизов, чтобы их можно было куда-либо посылать, и она держала их при дворе, где за каждым их словом и за каждым шагом следили, но где сами они с такою же тщательностью следили за Гизами и обо всем доносили Екатерине. Киверни вернулся из поездки в Экуан и в Париж. Последним явился Сент-Андре. Этот маршал Франции сделался столь значительным лицом, что Гизы, ставленником которых он был, приняли его третьим в триумвират противников Екатерины, образованный ими год спустя. А только что перед этим Вьельвиль, строитель замка Дюрталь, за свою преданность Гизам точно так же произведенный в маршалы, незаметно высадился на берегу и потом столь же незаметно уехал, причем никто не узнал, с каким поручением от герцога он явился в этот день во дворец. Что же касается Сент-Андре, то на его долю выпали военные приготовления. У кардинала Лотарингского, герцогов Гизов, Бираги, Киверни, Вьельвиля и Сент-Андре было совещание, на котором Сент-Андре было поручено заманить всех вооруженных реформатов в Амбуаз. То обстоятельство, что оба главы Лотарингского дома воспользовались

услугами Бираги, позволяет думать, что они были уверены в своем могуществе: они знали, как он предан королеве-матери. Но впрочем, может быть, они приблизили его к себе, чтобы с его помощью узнавать тайные планы своей соперницы, то есть с тою же самою целью, с которой королева-мать соглашалась отпускать его к ним. В эту удивительную эпоху двойная роль, которую иногда играли иные государственные деятели, была известна каждой из вражеских партий, пользовавшихся их услугами. Эти люди были чем-то вроде карт в руках игроков — выигрывал тот, кто оказывался хитрее. Во время этого совещания оба брата были необычайно сдержанны. Из разговора Екатерины с ее друзьями станет совершенно ясно, почему Гизы устроили это совещание рано утром и на открытом воздухе, так, как будто все его участники боялись говорить в стенах замка Блуа.

Королева-мать, сделав вид, что хочет посмотреть строящуюся для ее астролога обсерваторию, прогуливалась с утра в обществе обоих Гонди и с беспокойным любопытством поглядывала на своих врагов, собравшихся неподалеку. К ней подошел Киверни; они находились в это время на самом углу террасы, выходящей к церкви свя-

того Николая: там не приходилось бояться, что разговор их будет подслушан. Терраса была на том же уровне, что и церковные башни. Гизы же обычно собирали свои совещания в другом углу этой террасы, возле строившейся на ней тюрьмы, и расхаживали взад и вперед от *Бретонского насеста* к галерее по мосту, соединявшему цветник, галерею и *Насест*. Внизу не было ни души. Киверни взял руку королевы-матери для поцелуя и в это мгновение передал ей записку, так что ни тот, ни другой итальянец этого не заметили. Екатерина быстро повернулась, дошла до самого угла парапета и прочитала:

«У Вас достаточно могущества, чтобы сохранить равновесие среди Ваших вельмож, чтобы заставить их оспаривать друг у друга право служить Вам. У Вас четверо сыновей, и Вам нечего будет бояться ни Лотарингцев, ни Бурбонов, если Вы сумеете столкнуть их друг с другом. Ведь и те и другие хотят завладеть короною Ваших сыновей. Будьте госпожой Ваших советников, но не их служанкой, умейте сравнять их силы — иначе государство постигнет беда и разразятся жестокие войны.

Лопиталь».

Королева сунула записку себе за корсаж, решив

сжечь ее, как только она останется одна.

— Когда вы его видели? — спросила она у Киверни.

— Когда я возвращался от коннетабля в Мелене; он был там проездом с госпожой герцогиней Беррийской, ему хотелось как можно скорее проводить ее в Савойю, чтобы вернуться сюда и открыть глаза канцлеру Оливье, который попался в сети Лотарингцев. Господин Лопиталь видит, к чему стремятся Гизы, и хочет защитить ваши интересы. Поэтому он и торопится вернуться, чтобы отдать вам свой голос в Совете.

— А он искренен? — спросила Екатерина. — Вы же знаете, что Лотарингцы пригласили его в Совет, чтобы он поддержал их посягательства на корону.

— Лопиталь — человек слишком благородной крови, чтобы не быть прямым, — сказал Киверни, — к тому же его записка ко многому его обязывает.

— А что ответил Лотарингцам коннетабль?

— Он сказал, что он слуга короля и будет ждать его приказаний. Как только кардинал услышит этот ответ, он тут же предложит назначить своего брата верховным главнокомандующим королевства для того, чтобы сделать всякое дальнейшее

противодействие невозможным.

— Как, уже сейчас! — ужаснулась Екатерина. — А что, господин Лопиталь больше ничего не просил мне передать?

— Он сказал, что только вы, государыня, можете встать между королем и Гизами.

— А он не думал, что я могу воспользоваться гугенотами как орудием в борьбе?

— Ах, государыня! — воскликнул Киверни, пораженный проницательностью Екатерины. — Нам и в голову не могло прийти ставить вас в такие трудные условия.

— А он знал, в каком положении я нахожусь? — спросила королева на этот раз уже спокойно.

— Более или менее. Он находит, что вы совершили большую оплошность, когда после смерти короля согласились воспользоваться для себя падением Дианы. Герцоги Гизы решили, что, удовлетворив самолюбие женщины, они перестали быть в долгу перед королевой.

— Да, — сказала Екатерина, глядя на обоих Гонди, — с моей стороны это было большой ошибкой.

— Ошибкой, которую совершают и боги, — вставил Карло Гонди.

— Господа, — сказала королева, — если я откры-

то перейду на сторону реформатов, я стану рабою одной партии.

— Ваше величество, — горячо возразил Киверни, — вы совершенно правы: вам не следует служить им, вам надо заставить их служить себе.

— Невзирая на то, что вы сейчас их поддерживаете, — сказал Карло де Гонди, — мы не скроем, что их победа так же гибельна для вас, как их поражение!

— Я это знаю! — сказала королева. — Достаточно мне на чем-нибудь споткнуться, как Гизы сразу же этим воспользуются, чтобы разделаться со мной.

— Может ли племянница папы, мать четверых Валуа, королева Франции, вдова самого ярого преследователя гугенотов, католичка-итальянка, тетка Льва Десятого, может ли она становиться на сторону реформатов? — спросил Карло Гонди.

— А разве помогать Гизам не значит давать волю узурпаторам? — возразил Альберто. — Ведь в борьбе католиков с реформатами они видят средство захватить власть в свои руки. А поддерживать реформатов еще не значит отречься от престола.

— Подумайте только, ваше величество, ведь

весь ваш род, который должен быть предан королю Франции, в настоящее время является слугою Испании! — сказал Киверни. — А завтра он будет на стороне Реформации, если только реформаты будут в силах сделать герцога флорентинского королем.

— Я готова некоторое время помогать гугенотам, — сказала Екатерина, — хотя бы ради того, чтобы отомстить за себя этому солдату, этому попу и этой шотландке.

И она показала своим взглядом итальянки на герцога, на кардинала и на этаж замка, где жили ее сын и Мария Стюарт.

— Эти трое на глазах у меня захватили власть, которой я так долго ждала и которая была в руках у этой старухи, — сказала она и кивнула головой в сторону Луары, указывая на Шенонсо, замок, который она получила от Дианы де Пуатье в обмен на Шомон.

— Ма[103], — сказала она по-итальянски, — по-видимому, эти женевские пасторы и не догадаются обратиться ко мне! Честное слово, я же не могу идти к ним сама. Ни один из вас не осмелился заговорить с ними.

---

[103] Примечания: 103
Но *(ит.).*

Она топнула ногой.

— Я надеялась, что вы, может быть, встретите в Экуане горбуна, это человек с головой, — сказала она, обращаясь к Киверни.

— Он был там, ваше величество, но он не мог уговорить коннетабля стать его союзником. Господин де Монморанси мечтает свергнуть Гизов, из-за которых он сейчас в опале, но он не хочет потворствовать ереси.

— Которая истребит этих людей, мешающих королю управлять страной? Ей-богу, надо добиться, чтобы эти вельможи сами уничтожали друг друга, как этого добился Людовик Одиннадцатый, величайший из наших королей. В этом королевстве четыре или пять партий, и самая слабая из них — это партия моих детей.

— Реформаты борются за идею, — сказал Карло Гонди, — а партии, которые сокрушил Людовик Одиннадцатый, действовали во имя одной только выгоды.

— За выгодой всегда стоит какая-нибудь идея, — возразил Киверни. — В царствование Людовика Одиннадцатого этой идеей были ленные владения…

— Сделайте еретиков своим орудием, — сказал Альберто Гонди, — и вам не придется марать

руки в крови.

— О боже! — вскричала королева. — Я не знаю ни какими силами располагают эти люди, ни каковы их планы, и у меня нет надежных путей, чтобы установить с ними связь. Если я сделаю какие-то шаги в этом направлении и меня выследят — то ли королева, которая стережет меня, как младенца в колыбели, то ли эти двое тюремщиков, которые никого не пропускают в замок, — меня подвергнут унизительному изгнанию: отправят во Флоренцию под конвоем, который возглавит кто-нибудь из самых неистовых приспешников Гизов! Благодарю вас, друзья мои. О, невестка моя, желаю тебе когда-нибудь стать пленницей у себя в доме; тогда ты узнаешь, какие страдания ты мне причиняла!

— Что касается самих планов, — вскричал Киверни, — то герцог и кардинал их знают! Но эти две лисы умеют молчать. Добейтесь, ваше величество, чтобы они вам их рассказали, и я сделаю для вас все, что смогу, — я договорюсь с принцем Конде.

— А каковы же те решения, которых им не удалось от вас скрыть? — спросила королева, указывая на обоих братьев.

— Господин де Вьельвилль и господин де Сент-

Андре только что получили приказания, которые нам неизвестны; но, по-видимому, гофмаршал сосредоточивает свои отборные войска на левом берегу. Через несколько дней вас переведут в Амбуаз. Он уже приходил на эту террасу, чтобы осмотреть местоположение замка, и он находит, что Блуа не годится для его тайных замыслов.

— Но что же ему еще надо? — спросил Киверни, указывая на окружающие замок обрывы. — Ни в одном другом месте двор так не защищен от нападения, как здесь.

— Отрекитесь или царствуйте! — сказал Альберто на ухо королеве, которая погрузилась в раздумье.

Тайная ярость закипела в груди королевы; дрожь пробежала по ее прекрасному, цвета слоновой кости лицу; ей ведь не было и сорока лет, и целых двадцать шесть из них она прожила, не пользуясь никакой властью, при французском дворе, несмотря на то что прибыла во Францию с намерением все захватить в свои руки. Из уст ее вырвалась ужасная фраза на языке Данте:

— Пока сын мой жив, ничему этому не бывать… Он околдован своей молодой женой, — добавила она после паузы.

Это восклицание Екатерины было внушено

странным пророчеством, которое за несколько дней до этого она услышала в замке Шомон, на противоположном берегу Луары, куда ее повез Руджери, ее астролог, и где она хотела узнать у одной знаменитой гадалки судьбу своих четырех сыновей. Гадалка эта была втайне привезена сюда Нострадамусом[104], главою всех врачей, которые в этом великом XVI веке, подобно Руджери, подобно Кардано, Парацельсу и многим другим, занимались оккультными науками[105]. Эта женщина, о жизни которой история ничего не знает, сказала, что царствование Франциска II продлится всего только год.

— Что вы об этом думаете? — спросила Екатерина у Киверни.

— Начнется сражение, — ответил этот рассудительный человек. — Король Наваррский…

---

[104] Примечания: 104

Нострадамус. — Мишель де Нотр-Дам, известный под именем Нострадамуса (1503–1566) — французский врач, астролог, публиковал свои предсказания будущего. Руджери, Косма — флорентинский астролог, привезенный Екатериной Медичи в Париж. Кардано, Джероламо (1501–1576) — итальянский врач, математик и философ, астролог, увлекался книгами древних мистиков. Парацельс. — Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, известный под именем Парацельса (1493–1541) — химик и философ.

[105] Примечания: 105

Оккультные науки — общее название «наук» о различных «таинственных силах» и «сверхъестественных свойствах» природы. К оккультизму относятся разные формы магии, гадания, спиритизм.

— Скажите лучше — королева! — поправила его Екатерина.

— Да, конечно, королева, — улыбнувшись, сказал Киверни, — во главе реформатов поставила принца Конде, а тот, будучи младшим в роде, может пойти на все; вот почему господин кардинал поговаривает о том, чтобы вызвать его сюда.

— Пусть только он приедет, — воскликнула королева, — и я спасена!

Так вот вожди великого движения французских реформатов угадали в Екатерине свою будущую союзницу.

— Самое забавное, — воскликнула королева, — это то, что Бурбоны хотят обмануть гугенотов, а господа Кальвин, де Без и другие хотят обмануть Бурбонов; хватит ли у нас сил, чтобы обмануть и гугенотов, и Бурбонов, и Гизов? Перед тем как сражаться с тремя такими врагами, надо все хорошенько обдумать.

— У них нет короля, — ответил Альберто, — и победа всегда будет за нами, потому что на нашей стороне король.

— Maledetta Maria![106] — процедила Екатерина сквозь зубы.

---

[106] Примечания: 106
Проклятая Мария! *(ит.)*

— Лотарингцы уже подумывают о том, чтобы лишить вас поддержки горожан, — сказал Бирага.

Надежда захватить власть не была для герцога и кардинала, возглавляющих беспокойный дом Гизов, результатом какого-либо обдуманного плана: у них не было никаких оснований строить планы или питать надежды, — сами обстоятельства делали их смелыми. Двое кардиналов и двое Балафре — вот те четыре честолюбца, которые своими талантами превосходили всех окружающих их политических деятелей. Вот почему справиться с этим семейством было под силу только Генриху IV, воспитанному великой школой, где учителями были Екатерина и Гизы; он сумел извлечь пользу из всех уроков.

В описываемое нами время двое Лотарингцев оказались вершителями судеб величайшего религиозного переворота, который знала история Европы после реформы Генриха VIII в Англии, переворота, причиной которого явилось открытие книгопечатания. Будучи врагами Реформации, они сосредоточили в своих руках всю власть и хотели подавить ересь. Но противник их, Кальвин, несмотря на то, что он был менее знаменит, чем Лютер, был более силен. Там, где Лютер ви-

дел одни только религиозные догматы, Кальвин видел политику. В то время как влюбленный немец, толстый почитатель пива, сражался с дьяволом и бросал ему чернильницу в лицо, хитрый аскет-пикардиец вынашивал военные планы, руководил битвами, вооружал правителей, поднимал целые народы, заронив республиканские идеи в сердца буржуа, и вознаграждал себя за повсеместные поражения на полях брани все новыми победами над сознанием людей в разных странах.

Кардинал Лотарингский и герцог Гиз, точно так же как Филипп II и герцог Альба, знали, какие цели ставит себе монархия и какими узами католичество связано с королевской властью. Карл V, который сверх меры пил из чаши Карла Великого и опьянел от успехов, который переоценивал силы монархии и собирался поделить весь мир с Солиманом, сначала даже не почувствовал, как его ранили в голову; когда же кардинал Гранвелла указал ему, сколь глубока его рана, он отрекся от престола.

Мысль, которой были одержимы Гизы, заключалась в том, чтобы избавиться от еретиков сразу, одним ударом. Удар этот они сначала нанесли в Амбуазе, а потом в Варфоломеевскую

ночь, на этот раз в союзе с Екатериной Медичи, прозревшей от зарева двенадцатилетней войны и вразумленной грозным словом *республика,* прозвучавшим позднее в книгах писателей-реформатов, словом, смысл которого угадал предвосхитивший их Лекамю, горожанин Парижа. В то время как Екатерина беседовала со своими четырьмя советниками, Гизы, собираясь нанести смертельный удар в сердце знати, чтобы сразу же отделить ее от религиозной партии, с победой которой она теряла все, что имела, окончательно договаривались о том, как сообщить королю о подготовленном ими перевороте.

— Жанна д'Альбре хорошо знала, что делает, когда объявила себя покровительницей гугенотов! Реформация для нее — это таран, который она отлично умеет пускать в ход, — сказал гофмаршал; он понимал, как глубоко продуманы планы королевы Наваррской.

Жанна д'Альбре была действительно одной из умнейших женщин своего времени.

— Теодор де Без получил распоряжение Кальвина и сейчас находится в Нераке.

— Что за людей умеют находить эти горожане! — воскликнул герцог.

— Да, у нас нет человека такой закалки, как Ла

Реноди, — добавил кардинал, — это настоящий Каталина.

— Такие люди действуют всегда на свой страх и риск, — ответил герцог. — Уж я ли не разгадал способностей Л а Реноди! Я осыпал его милостями, я дал ему возможность спастись от приговора бургундского парламента, добился пересмотра его дела, разрешил ему въезд в королевство. Я готов был все для него сделать, а он в это время затевал свой сатанинский заговор против нас. Этот проходимец объединил немецких протестантов с французскими еретиками, уладив все богословские споры между Лютером и Кальвином. Он свел с реформатами недовольных вельмож, отнюдь не заставляя их отрекаться от католицизма. Уже в прошлом году в его распоряжении было тридцать полководцев! Он умел одновременно быть всюду: в Лионе, в Лангедоке, в Нанте! Наконец, его усилиями составлена распространяемая по всей Германии декларация, где богословы утверждают, что можно применить силу, чтобы вырвать короля из-под нашего влияния, и теперь она передается из города в город. Начав искать ее, нигде ее не находишь! А между тем ведь он от меня ничего, кроме хорошего, не видел! Надо будет или придушить его как собаку, или соблазнить

чем-нибудь, чтобы он перешел на нашу сторону.

— В Бретани, в Лангедоке, во всем королевстве они взбудоражили людей, чтобы нанести нам смертельный удар, — сказал кардинал. — После вчерашнего празднества я до рассвета читал королю все донесения, которые получил от моих монахов; но уличены только небогатые дворяне, ремесленники, и ничто не изменится от того, повесим мы их или оставим в живых. Такие, как Колиньи, как Конде, ничем не скомпрометированы, а ведь в их руках все нити заговора.

— Вот почему как только Авенель, этот адвокат, их выдал, — сказал герцог, — я велел Бражелону сделать все, чтобы заговорщики могли перейти в наступление: они ничего не подозревают, они думают, что застанут нас врасплох. Может быть, тогда-то и обнаружатся их вожди. Мой совет — дать им победить на сорок восемь часов.

— На это достаточно и получаса, — возразил испуганный кардинал.

— Вот такой ты храбрец! — воскликнул Балафре.

Не замечая насмешки, кардинал ответил:

— Не все ли равно, скомпрометирован принц Конде или нет, но он их вождь; снесем ему голову, и тогда нам не о чем будет беспокоиться. Для того

чтобы расправиться с ними, нужны не столько солдаты, сколько судьи, а судей у нас всегда хватит. В парламенте победа всегда бывает вернее, чем на поле сражения, и к тому же она достается не столь дорогою ценой.

— Я согласен, — ответил герцог. — Не думаешь ли ты, что принц Конде достаточно могуществен, чтобы придать мужества тем, кто завяжет с нами этот первый бой? Ведь есть же еще…

— Король Наваррский, — подсказал кардинал.

— Этот глупец, который снимает шляпу, когда говорит со мной. Должно быть, кокетство флорентинки делает тебя слепым?

— О, я об этом уже думал. Для чего же я любезничаю с ней, как не для того, чтобы читать у нее в сердце?

— У нее нет сердца, — порывисто ответил герцог, — она еще честолюбивее, чем мы с тобой.

— Ты храбрый полководец, — сказал кардинал брату, — только поверь мне, наши призвания не так далеки друг от друга, а я велел Марии следить за ней раньше, чем тебе пришло в голову ее в чем-нибудь заподозрить. Екатерине меньше дела до бога, чем моему башмаку. И если она не стала душою заговора, то вовсе не потому, что она этого не хотела. Но мы будем судить о ней по ее

поступкам и посмотрим, как она нам поможет. Пока что у меня есть уверенность, что ни с кем из еретиков она не общается.

— Пора уже все открыть королю и королеве-матери, которая ничего не знает, — сказал герцог, — в этом единственное доказательство ее невиновности. Но, может быть, они ждут последнего часа, чтобы ослепить ее вероятностью удачи. Из моих действий Ла Реноди хорошо поймет, что мы все знаем. Сегодня ночью Немуру приказано следовать за отрядами реформатов, которые движутся по проселочным дорогам; заговорщики будут вынуждены напасть на нас в Амбуазе, куда я их всех впущу. Если бы это случилось здесь, — сказал он, указывая на три стороны утеса, на вершине которого стоял замок Блуа, как это перед этим сделал Киверни, — их нападение оказалось бы безрезультатным, гугеноты могли бы в любой момент и прийти и уйти из Блуа — это зал с четырьмя входами, а ведь Амбуаз — это мешок.

— Я не покинул флорентинку, — сказал кардинал.

— Мы совершили ошибку, — ответил герцог, подбрасывая в воздух свой кинжал и ловя его за рукоятку. Надо было вести себя с ней, как с реформатами, предоставив ей полную свободу

действий, чтобы потом поймать ее с поличным.

Кардинал посмотрел с минуту на брата и покачал головой.

— Зачем ты сюда явился, Пардальян? — спросил герцог, видя, как на террасу взошел молодой дворянин, впоследствии прославившийся своей дуэлью с Ла Реноди, которая принесла смерть им обоим.

— Монсеньор, у ворот дожидается посланец от меховщика королевы. Он говорит, что ему надо передать ей горностаевый казакин.

— Ах да, это тот казакин, о котором она говорила вчера, — ответил кардинал, — королеве этот мех понадобится во время путешествия по Луаре.

— А каким же образом ему удалось пройти так, что остановили его только у ворот замка? — спросил герцог.

— Этого я не знаю, — ответил Пардальян.

— Я об этом спрошу его сам, когда он будет у королевы: пускай подождет утреннего приема в кордегардии. Пардальян, а что, он молодой?

— Да, монсеньор, он говорит, что он сын Лекамю.

— Лекамю — правоверный католик, — сказал кардинал, у которого, так же как и у гофмаршала,

была память Цезаря. — Кюре церкви Сен-Пьеро-о-Беф доверяет ему, ибо он старшина квартала.

— Все равно, пускай его сын побеседует с капитаном шотландской дворцовой гвардии, — сказал герцог, сделав такое ударение на этом слове, которое не оставляло никаких сомнений в его смысле. — Но ведь Амбруаз сейчас в замке: он-то и скажет нам, действительно ли это сын того Лекамю, который сделал ему в свое время столько добра. Позовите сюда Амбруаза Паре.

Как раз в эту минуту королева Екатерина, гулявшая в одиночестве, пошла навстречу братьям Гизам, и те поспешили сами приблизиться к ней. Они умели быть очень почтительны с ней, но итальянке всегда казалось, что за этой почтительностью скрывается насмешка.

— Господа, — сказала она, — не будете ли вы добры сказать мне, что это сейчас готовится? Неужели вдова вашего покойного государя не заслужила в ваших глазах того уважения, которого заслуживают Вьельвилль, Бирага и Киверни.

— Государыня, — любезно ответил кардинал, — какими бы политиками мы ни были, как мужчины, мы не считаем себя вправе пугать дам разными лживыми слухами. Но сегодня утром нам предстоит совещаться по важным государ-

ственным делам. Надеюсь, вы простите моего брата за то, что он отдал распоряжения сугубо военного характера, которые никак не должны вас касаться: вопросы важные нам еще предстоит решать. Если вы сочтете это уместным, мы пойдем сейчас на утренний прием короля и королевы, время уже приближается.

— Что же случилось, господин гофмаршал? — спросила Екатерина, притворившись испуганной.

— Реформация, ваше величество, это не просто ересь, это партия, и она собирается выступить с оружием, чтобы отнять у вас короля.

Екатерина, кардинал, герцог и бывшие с ним вельможи, направляясь к лестнице, пошли по галерее. Там, выстроившись в два ряда, стояли придворные, не имевшие доступа в королевскую опочивальню.

Гонди, который внимательно следил за обоими Гизами, в то время как они разговаривали с Екатериной, шепнул потом королеве-матери на чистом тосканском наречии слова, ставшие позднее поговоркой: «Odiate et aspet-tate!» (Ненавидьте и ждите!)

Пардальян, который дал приказ офицеру гвардии, расставленной у дверей замка, пропустить

посланца меховщика королевы, увидел, что Кристоф стоит у портала замка и восхищенно разглядывает фасад, построенный нашим добрым Людовиком XII, где тогда было больше, чем теперь, разных забавных скульптур, как, во всяком случае, можно предполагать на основании того, что от них осталось. Например, любознательным людям удается разглядеть женскую фигуру, вырезанную в капители одной из колонн портала. Женщина эта поднимает юбки, приоткрывая

То, что Брюнель Марфизу показала,

толстому монаху, присевшему на корточки в капители колонны, соответствующей другому цоколю этого портала, на котором стояла тогда статуя Людовика XII. Многие из окон этого фасада, украшенные скульптурами того же стиля, к сожалению теперь уже не сохранившимися, по-видимому, настолько заинтересовали Кристофа, что стрелки королевской гвардии стали отпускать по его адресу различные шутки.

— Он бы не прочь тут пожить, — сказал один из аркебузиров, поглаживая висевшие у него на перевязи заряды, похожие на маленькие головки сахара.

— Ну что, парижанин, — спросил другой, — ты, верно, в жизни такого не видывал?

— Он узнает нашего доброго Людовика Двенадцатого, — сказал другой.

Кристоф сделал вид, что не слышит: он притворился совершенно обладевшим от восторга, и его глуповатое поведение в присутствии королевских гвардейцев окончательно рассеяло все подозрения Пардальяна.

— Королева еще не вставала, — сказал молодой капитан. — Ступай в переднюю и жди там.

Кристоф довольно медленными шагами последовал за Пардальяном. Он нарочно стал разглядывать красивую, разделенную аркадами галерею, где в царствование Людовика XII придворные обычно ожидали выхода короля. В описываемое нами время там неизменно пребывал кто-либо из вельмож — приверженцев Гизов, так как лестница, которая вела в покои герцога и кардинала, находилась в самом конце этой галереи, в башне, привлекающей и по сей день внимание посетителей своей замечательною архитектурой.

— Ты что, явился сюда ваяние изучать? — закричал Пардальян, видя, что Лекамю остановился перед красивыми статуями наружных маршей лестницы, которые соединяют или, вернее, разъединяют колонны каждой арки.

Кристоф последовал за молодым капитаном к парадной лестнице, но не мог удержаться, чтобы не бросить на эту башню, построенную в псевдомавританском стиле, полный восторга взгляд. В это чудесное утро на дворе было много военных и вельмож, которые, разделившись на небольшие группы, разговаривали между собою; их яркие костюмы сверкали на солнце и усиливали блеск совершенно еще нового фасада здания — настоящего чуда архитектуры.

— Проходи вот сюда, — сказал Пардальян юному Лекамю, сделав ему знак следовать за ним через украшенную резьбой дверь второго этажа, которую перед ними открыл узнавший Пардальяна гвардеец.

Можно представить себе изумление Кристофа, когда он вошел в кордегардию, помещение которой было в то время так велико, что теперь военные власти разделили ее перегородкой, сделав из нее две комнаты. Она действительно занимает в третьем этаже, в покоях короля, как и во втором этаже, в покоях королевы-матери, третью часть фасада, выходящего на двор; она освещается двумя окнами слева и тремя справа от башни, внутри которой находится знаменитая лестница. Молодой капитан направился к двери

опочивальни короля и королевы, которая выходила в этот огромный зал, и шепнул одному из двух дежуривших там пажей, чтобы он предупредил г-жу Дайель, камеристку королевы, что меховщик со своими заказами ждет во дворе.

Пардальян знаком показал Кристофу, что он может сесть, и тот уселся рядом с офицером, сидевшим на табуретке, в углу возле камина, который размерами своими мог сравниться со всей лавкой его отца; напротив этого камина, в самом конце огромного зала, был другой, точно такой же. Продолжая разговаривать с офицером, Кристоф сумел увлечь его беседою о торговых делах. Он произвел на него впечатление человека, весьма заинтересованного в успехе своей торговли, и такое же впечатление он произвел на капитана шотландской гвардии, который стал расспрашивать его, чтобы незаметно, но вместе с тем достаточно подробно выпытать у него все, что нужно.

Как ни был Кристоф предупрежден обо всем, он не мог понять той холодной жестокости, с которой Шодье зажал его в свои тиски. Тот, кто узнал бы истинную подоплеку этого дела, как ее знают современные нам историки, ужаснулся бы, увидав, как этот юноша, надежда двух семейств,

оказался сдавленным этими двумя могучими и безжалостными силами — Екатериной и Гизами. Но много ли на свете храбрецов, способных взвесить всю грозящую им опасность? Увидев, как строго охраняются в Блуа порт, город и самый замок, Кристоф был готов к тому, что натолкнется на шпионов и на расставленные повсюду западни. Поэтому он и решил скрыть всю важность своей миссии и все свое нервное напряжение, прикинувшись простаком и человеком, озабоченным своей торговлей. Именно таким он и показался молодому Пардальяну, офицеру королевской гвардии и капитану.

VI. Церемониал утреннего вставания короля Франциска II

Оживление, которое всегда бывает заметно в королевском дворце в часы, когда король встает с постели, уже давало себя чувствовать. Вельможи, оставившие своих конюхов или пажей с лошадьми во внешнем дворе замка, ибо никто, за исключением короля и королевы, не имел права въезжать во внутренний двор на лошади, небольшими группами поднимались по великолепной лестнице и постепенно заполняли огромный зал с двумя каминами. Тяжелые перекрытия этого зала уже не сохранили сейчас ничего из своих былых украшений. Паркет, некогда отделанный тончайшей мозаикой, уступил место каким-то отвратительным красным квадратам. Но в те времена толстые стены, которые сейчас сплошь выбелены известкой, были увешаны королевскими коврами и зал этот был полон чудес искусства — свидетелей пышности, которая осталась непревзойденной. Как реформаты, так и католики являлись туда, чтобы узнать все новости, поглядеть друг на друга и засвидетельствовать

свое почтение королю. Страстная влюбленность Франциска II в Марию Стюарт, которой не противодействовали ни Гизы, ни королева-мать, и уступчивость юной королевы во всем, что касалось политики, лишали короля всякой силы; к тому же семнадцатилетний король, начав управлять страной, знал одни только радости жизни, а женившись — одно только опьянение первой любви. В действительности же все только и старались угодить королеве Марии и ее дядям кардиналу Лотарингскому и гофмаршалу.

Все это шествие проходило перед взором Кристофа, и нет ничего удивительного в том, что юноша с большой жадностью вглядывался в каждого нового человека. Великолепная портьера, по обе стороны которой стояли два пажа и два шотландских гвардейца, несшие тогда охрану замка, прикрывала дверь в королевскую опочивальню, комнату, ставшую роковой для сына теперешнего Балафре, второго Балафре, который испустил дух у подножия кровати Марии Стюарт и Франциска II. Фрейлины королевы расположились у камина, в то время как Кристоф, сидевший напротив у второго камина, продолжал беседовать с капитаном дворцовой гвардии. Этот второй камин в силу своего местоположения считался *почет-*

ным, — он был вделан в капитальную стену зала заседаний, и мимо фрейлин и сеньоров, которые имели право стоять каждый раз, проходили король и обе королевы. Придворные могли быть уверены, что увидят Екатерину, ибо ее фрейлины, которые, как и весь двор, были в трауре, во главе с графиней Фьеско поднялись уже наверх из покоев королевы-матери и заняли места рядом с залом Совета, напротив свиты молодой королевы, возглавляемой герцогинею де Гиз, которая расположилась в противоположной части зала, примыкающей к опочивальне короля. Все эти фрейлины, принадлежавшие к самым знатным семействам Франции, стояли на расстоянии всего нескольких шагов одна от другой. Рядом с ними стояли придворные. И только самым знатным вельможам дозволялось переходить с одной стороны зала на другую.

Графиня Фьеско и герцогиня де Гиз по занимаемому ими положению сидели, в то время как фрейлины, составлявшие свиты обеих королев, стояли вокруг них. Одним из первых, кто решился пройти между этими двумя вражескими станами, был герцог Орлеанский, брат короля; он спустился с верхнего этажа в сопровождении своего наставника, г-на де Сипьера. Этот юный

принц, которому тогда было всего десять лет и которому уже в конце этого года было суждено начать царствовать под именем Карла IX, отличался крайней робостью. Герцог Анжуйский и герцог Алансонский, два его брата, точно так же как принцесса Маргарита, впоследствии ставшая женой Генриха IV, были еще слишком малы, чтобы появляться при дворе, и оставались в покоях матери и под ее надзором.

Герцог Орлеанский, богато одетый по моде того времени, в широких шелковых штанах до колен, в камзоле из черной узорчатой парчи и в коротком плаще из вышитого бархата, также черном (он носил еще траур по своему отцу-королю), поздоровался с двумя придворными дамами и остался возле свиты своей матери. Уже исполненный неприязни к сторонникам Гизов, он холодно ответил на обращенные к нему слова герцогини и облокотился на спинку кресла, на котором сидела графиня Фьеско. Его наставник, г-н де Сипьер, один из самых благородных людей своего времени, стоял сзади него, как изваяние. Принца сопровождал также Амио[107], одетый

[107] Примечания: 107

Амио, Жак (1513–1593) — французский гуманист, переводчик греческих авторов, был учителем сыновей Екатерины Медичи, королей Генриха III и Карла IX.

в простую сутану священника; в то время он был уже наставником герцога Орлеанского, а потом стал наставником трех младших принцев, любовь которых впоследствии очень ему помогла. Между почетным камином и другим, возле которого, в противоположном конце зала, собрались гвардейцы, их капитан, несколько придворных и Кристоф со своей поклажей, прогуливались канцлер Оливье, покровитель и предшественник Лопиталя, в мантии, которую всегда с тех пор носили канцлеры Франции, и кардинал Турнонский, только что прибывший из Рима. Им удавалось время от времени что-то шепнуть на ухо друг другу, несмотря на то, что они были в центре внимания сеньоров, выстроившихся вдоль стены, отделявшей этот зал от опочивальни короля, подобно живому ковру на фоне богатых стенных ковров, на которых были вышиты тысячи человеческих фигур. Несмотря на всю серьезность положения, придворная жизнь выглядела так, как она выглядит во всех странах, во все эпохи и в периоды самых грозных событий. Думая о вещах серьезных, придворные болтали о пустяках; продолжая весело шутить, они внимательно вглядывались в лица тех, кто стоял рядом, и оживленно говорили о любви и

женитьбах на богатых наследницах, в то время как вокруг них происходили самые страшные катастрофы.

— Ну, как вам понравился вчерашний праздник? — спросил Бурдель, сеньор Брантомский, подойдя к м-ль де Пьен, одной из фрейлин королевы-матери.

— Господам Баифу и дю Белле всегда приходят в голову самые блестящие мысли, — сказала она, указывая на двух церемониймейстеров, которые стояли рядом. — По-моему, все было на редкость безвкусно, — добавила она вполголоса.

— А вы не исполняли там никакой роли? — спросила м-ль де Льюистон, принадлежавшая к свите молодой королевы.

— Что это вы читаете? — спросил Амио у г-жи Фьеско.

— «Амадиса Галльского» сеньора Дез Эссара, инспектора королевской артиллерии.

— Чудесная книга, — ответила красавица, которая впоследствии стала придворной дамой королевы Маргариты Наваррской и прославилась под именем Фоссез.

— Это написано в совершенно новом стиле, — сказал Амио. — А вас разве все эти грубости не возмущают? — спросил он, взглянув на Бран-

тома.

— Что поделаешь, этот стиль нравится дамам! — воскликнул Брантом, здороваясь с герцогиней Гиз, которая держала в руках «Знаменитых дам» Боккаччо. — Здесь, наверное, говорится и о представительницах вашего рода, сударыня, — сказал он, — только жаль, что синьору Боккаччо не довелось жить в наши дни: он бы много о ком мог написать…

— До чего же хитер этот Брантом! — сказала прелестная м-ль Лимейль, обращаясь к графине Фьеско. — Сначала он подошел к нам, а теперь собирается остаться с Гизами.

— Тише! — прошептала графиня, глядя на красавицу. — Не надо вмешиваться в чужие дела…

Молодая девушка посмотрела на двери. Она ожидала Сардини, знатного итальянца, за которого королева-мать, бывшая с ней в родстве, выдала ее потом замуж. Произошло это после одной несчастной случайности в уборной Екатерины, в результате которой красавице выпала честь иметь в качестве повивальной бабки саму королеву.

— Клянусь святым Алипантеном, мадемуазель Давила хорошеет день ото дня! — сказал г-н де Роберте, государственный секретарь, приветствуя

свиту королевы-матери.

Появление государственного секретаря, несмотря на то, что в те времена он пользовался такими же полномочиями, как в наши дни министр, не произвело на присутствующих ни малейшего впечатления.

— Если это действительно так, сударь, дайте мне, пожалуйста, прочесть памфлет против Гизов, я знаю, что он у вас есть, — попросила Роберте м-ль Давила.

— Я его уже отдал, — ответил секретарь, направляясь к герцогине Гиз.

— Он у меня, — сказал граф Граммон, — но я его вам отдам только при условии…

— Он еще ставит условия… Фи! — воскликнула г-жа Фьеско.

— Вы же не знаете, чего я прошу, — ответил Граммон.

— О, это нетрудно угадать! — сказала ла Лимейль.

Итальянский обычай называть светских дам так, как крестьяне называют своих жен, *la* такая-то, был в те времена в моде при французском дворе.

— Вы ошибаетесь, — решительно возразил граф, — речь идет о том, чтобы передать маде-

муазель де Мата, одной из фрейлин того стана, письмо моего двоюродного брата де Жарнака.

— Пожалуйста, не компрометируйте моих фрейлин, — сказала графиня Фьеско, — я передам это письмо сама. А вы знаете, что сейчас происходит во Фландрии?[108] — спросила она у кардинала Турнонского. — Похоже на то, что граф Эгмонт что-то затевает.

— Вместе с принцем Оранским, — ответил Сипьер, многозначительно пожав плечами.

— Герцог Альба и кардинал Гранвелла едут туда, не так ли, монсеньор? — спросил Амио кардинала Турнонского, который после разговора с канцлером встревожился и нахмурился.

— По счастью, нам нечего беспокоиться: с ересью мы будем бороться только на сцене, — сказал юный герцог Орлеанский, намекая тем самым на роль, которую он исполнял накануне: он изображал рыцаря, укрощающего гидру, на лбу которой было написано «Реформация».

Екатерина Медичи и ее невестка разрешили занять под сцену огромный зал, где впоследствии

---

[108] Примечания: 108

…что сейчас происходит во Фландрии. — Фландрия входила в состав владений испанского короля Филиппа II. В начале 60-х годов XVI века во Фландрии развернулось мощное народное движение, направленное против абсолютизма и католицизма, широкое распространение получили идеи кальвинизма.

заседали Генеральные штаты, созванные в Блуа; зал этот, как мы уже говорили, находился на стыке замка Франциска I и замка Людовика XII.

Кардинал ничего не ответил и продолжал расхаживать посреди зала, разговаривая вполголоса то с г-ном Роберте, то с канцлером. Мало кто знает, с какими трудностями было сопряжено учреждение государственных секретариатов, впоследствии преобразованных в министерства, и каких усилий это стоило французским королям. В эту эпоху государственный секретарь, вроде г-на Роберте, был всего-навсего писцом: принцы и вельможи, решавшие государственные дела, не очень-то с ним считались.

В те времена было только три министерских должности: главный интендант, канцлер и хранитель печати. Короли особыми указами предоставляли места в Совете тем из своих подданных, с чьим мнением в государственных делах они особенно считались. Право заседать в Совете мог получить президент парламента, епископ, наконец, просто человек без всякого звания, если он был любимцем короля. Сделавшись членом Совета, этот человек укреплял свое положение в нем, занимая какую-нибудь из освободившихся должностей, на которую

назначал король, — например, губернатора, коннетабля, главного инспектора артиллерии, маршала; становился начальником какого-либо рода войск, адмиралом, капитаном галер или нередко получал какую-нибудь должность при дворе, например, гофмаршала, как герцог Гиз.

— Как, по-вашему, герцог Немурский женится на Франсуазе? — спросила герцогина Гиз у наставника герцога Орлеанского.

— Сударыня, — ответил тот, — я ничего не знаю, кроме латыни.

Этот ответ вызвал улыбку на лицах тех, кто его слышал. Тогда у всех только и разговору было о том, что герцог Немурский соблазнил Франсуазу де Роан. Но так как герцог Немурский приходился кузеном Франциску II и был связан двойным родством по материнской линии с домом Валуа, Гизы смотрели на него скорее не как на соблазнителя, а как на соблазненного. Но тем не менее дом Роанов был настолько силен, что после смерти Франциска II герцог Немурский вынужден был покинуть пределы Франции: Роаны затеяли против него процесс. Гизам пришлось пустить в ход все свое влияние, чтобы замять дело. Женитьба герцога Немурского на герцогине Гиз после того, как Польтро убил Франсуа де Гиза, делает понят-

ным вопрос, который герцогиня задала Амио: она и м-ль Роан были соперницами.

— Поглядите-ка на эту кучку недовольных, — сказал граф Граммон, указывая на Колиньи, кардинала Шатильонского, Данвиля, Торе, Море и еще нескольких вельмож, которых подозревали в сочувствии реформатам и которые в эту минуту все собрались между окнами возле противоположного камина.

— Гугеноты зашевелились, — сказал Сипьер. — Известно, что Теодор де Без отправился в Нерак добиваться, чтобы королева Наваррская открыто стала на сторону реформатов, — добавил он, поглядывая на Бальи города Орлеана, который одновременно был канцлером королевы Наваррской; тот стоял и посматривал на придворных.

— Так оно и будет! — сухо сказал Орлеанский Бальи.

Этот человек, орлеанский Жак Кер, был одним из самых богатых купцов того времени. Он носил фамилию Гроло и ведал делами Жанны д'Альбре при французском дворе.

— Вы так думаете? — спросил канцлер Франции канцлера Наваррского, по достоинству оценив утверждение Гроло.

— Разве вы не знаете, — продолжал богатый

орлеанец, — что королева — женщина только с виду? В действительности она занята мужскими делами. У нее хватает мужества на большие решения, и никаким врагам не сломить силы ее духа.

— Господин кардинал, — обратился канцлер Оливье к кардиналу Турнонскому, слышавшему все, что сказал Гроло, — какого вы мнения об этой дерзости?

— Королева Наваррская хорошо сделала, избрав себе в канцлеры человека, у которого Лотарингскому дому приходится брать взаймы деньги и который предлагает королю свое гостеприимство, когда тот едет в Орлеан, — ответил кардинал.

Канцлер и кардинал посмотрели друг на друга, не решаясь выразить вслух своих мнений. Роберте сделал это за них: он считал необходимым показать, что он более предан Гизам, чем все эти вельможи, хотя он и менее значительное лицо, чем они.

— Какое горе, что Наваррский дом готов отречься от религии своих отцов и вместе с тем не хочет отказаться от духа мщения и мятежа, который вселил в него коннетабль Бурбонский! Мы будем свидетелями нового столкновения арманьяков и бургиньонов.

— Нет, — ответил Гроло, — потому что в кар-

динале Лотарингском есть нечто от Людовика Одиннадцатого.

— И в королеве Екатерине тоже, — добавил Роберте.

В эту минуту Дайель, любимая камеристка Марии Стюарт, прошла по залу, направляясь в комнату королевы. Увидев это, все оживились.

— Мы скоро сможем войти, — сказала г-жа Фьеско.

— Не думаю, — возразила герцогиня де Гиз. — Их величество должны сейчас выйти: будет важное совещание.

Дайель проскользнула в королевские покои, но сначала тихонько поскреблась в дверь: это был придуманный Екатериной Медичи вежливый способ стучаться, который потом был принят при французском дворе.

VII. Влюбленные

— Какая сегодня погода, милая Дайель? — спросила королева Мария, высунув из кровати свое молоденькое личико и отдернув занавески.

— Ах, ваше величество…

— Что с тобою, моя Дайель? Можно подумать, что за тобой гонятся стражники!

— Ваше величество, король еще спит?

— Да.

— Мы сейчас должны уехать отсюда, и господин кардинал велел сказать, чтобы вы предупредили короля.

— Послушай, милая Дайель, а что же такое случилось?

— Реформаты хотят вас похитить.

— Ах, эта новая религия не дает мне покоя! Сегодня я видела во сне, что меня посадили в тюрьму, а ведь именно мне должна принадлежать корона трех величайших держав.

— Но это же сон, ваше величество!

— Меня похитить?.. Забавно! Только быть похищенной еретиками — это ужасно.

Королева соскочила с постели и уселась в большое, обитое красным бархатом кресло, накинув

черный бархатный халат, слегка перехваченный в талии шелковым шнурком. Дайель затопила камин: на берегах Луары даже и в мае по утрам бывало прохладно.

— Так что же, мои дяди узнали обо всем этом сегодня ночью? — спросила королева у Дайель, с которой она особенно не стеснялась.

— Сегодня с самого утра господа Гизы расхаживали взад и вперед по террасе, чтобы никто не слышал, о чем они говорят; они приняли там посланцев, которые прискакали с разных концов страны, из мест, где начались волнения реформатов. Королева-мать была там со своими итальянцами; она ждала, что господа Гизы будут с ней советоваться, но те ее даже не пригласили.

— И разозлилась же она, наверное!

— Да, тем более, что гневается она еще со вчерашнего дня. Говорят, что, когда она увидела ваше величество в золотом платье и в этой прелестной вуали из темно-коричневого крепа, она не очень-то обрадовалась…

— Оставь нас одних, милая Дайель, король просыпается. Пусть никто, даже самые близкие, нас сейчас не тревожат. Есть важные государственные дела, и мои дяди не станут нас беспокоить.

— Мария, милая, ты встала? Разве уже так позд-

но? — спросил молодой король, протирая глаза.

— Милый, пока мы с тобой спим, наши враги бодрствуют, они хотят заставить нас уехать из этих чудесных мест.

— Зачем ты мне говоришь о врагах, моя милая! Разве вчера мы не веселились бы на славу, если бы досужие буквоеды не примешали к нашей французской речи латинские слова?

— Что же, это совсем неплохой язык, и Рабле уже пустил его в ход.

— Какая ты ученая, и как мне жаль, что я не могу воспеть тебя в стихах; не будь я королем, я стал бы снова заниматься с нашим наставником Амио, который сейчас так успешно обучает моего брата…

— Не завидуй брату. Что из того, что он пишет стихи, как я, и что мы читаем их друг другу? Ты же самый лучший из всех четырех братьев, и ты сумеешь столь же хорошо править государством, как и любить. Может быть, поэтому твоя мать так холодна к тебе! Но не огорчайся. Милый, я буду любить тебя за всех!

— Нечего хвалить меня за любовь к такой обольстительной королеве, как ты, — сказал юный король. — Не знаю, как это я удержался вчера, чтобы не расцеловать тебя перед всем двором,

когда ты танцевала при свете факелов. Ведь в сравнении с тобой, моя прелестная Мария, все остальные дамы казались простыми служанками.

— Хотя ты и говоришь только прозой, мой милый, слова твои так хороши: ведь в них любовь! А ты знаешь, мой ангел, что, будь ты самым простым пажом, я любила бы тебя так же, как люблю сейчас. И все-таки разве это не радость думать: мой любимый — король!

— Дай мне твою нежную ручку! Как жаль, что приходится одеваться. Как я люблю гладить эти мягкие волосы, играть их светлыми прядями! Вот что, милая, ты не должна больше позволять фрейлинам целовать эту белую шею и эту прелестную спину. Довольно и того, что их коснулись шотландские туманы.

— Поедем ко мне на родину. Шотландцы тебя полюбят, и у нас там не станут поднимать восстания, как здесь.

— А кто это поднимает восстание у нас в стране? — спросил Франциск Валуа, запахнув полы халата и посадив Марию Стюарт себе на колени.

— Да, все это очень хорошо, — сказала она, отставляя щеку, — только знайте, мой государь, что

вам надо управлять Францией.

— Что значит управлять? Я вот хочу сегодня…

— Пристало ли человеку, который все может, говорить я хочу? Ни короли, ни влюбленные так не делают. Но довольно говорить об этом! Есть вещи поважнее.

— Вот как! — сказал король. — Давно уже у нас не было никаких дел. Что-нибудь занятное?

— Нет, — ответила Мария, — нам надо переезжать.

— Бьюсь об заклад, милая, что ты виделась с одним из твоих дядей; они все так умеют устраивать, что, хотя мне уже исполнилось семнадцать лет, мне не приходится ни во что вмешиваться. По правде говоря, я даже не знаю, почему после первого заседания Совета я еще по-прежнему присутствую при остальных. Они отлично могли бы все решать сами, положив на мое кресло корону. Я смотрю на все их глазами и поступаю по их указке.

— О государь, — вскричала королева, вскочив с колен Франциска и начиная сердиться, — мне же было обещано, что вы не будете меня ничем затруднять и что мои дяди употребят королевскую власть на благо вашего народа! Нечего сказать, хорош народ! Если бы ты захотел править один,

без них, этот народ съел бы тебя, как землянику. Ему нужны люди военные, безжалостный полководец, чтобы держать его железной рукой, а ты ведь неженка, и я тебя такого люблю, да, только такого, вы слышите меня, государь? — сказала она, поцеловав в лоб этого мальчика, который сначала готов был возмутиться ее речами, но потом растаял от ласки.

— О, если бы только они не были твоими дядями! — воскликнул Франциск Второй. — Этот кардинал мне ужасно не нравится! Особенно, когда он смиренно и вкрадчиво наклоняется ко мне и говорит: «Государь, здесь речь идет о чести короны и о вере ваших отцов; ваше величество не потерпит…» И все в этом же духе. Я уверен, что он старается только на пользу своего проклятого Лотарингского дома.

— Как хорошо ты его изобразил! — сказала королева. — Только почему ты не используешь Лотарингцев, чтобы узнавать у них обо всем, что делается в стране? Достигнув совершеннолетия, ты сможешь управлять без их помощи. Я твоя жена: все, что затрагивает твою честь, затрагивает и мою. Да, мы будем царствовать с тобой, мой милый! Но знай, путь наш будет усыпан розами только тогда, когда мы возьмемся за дело сами!

Самое трудное для короля — это управлять. Разве я сейчас королева? Разве твоя мать не платит мне злом за все добро, за все великолепие, которым мои дяди окружили твой трон? Но до чего велико различие между ними! Мои дяди — это принцы крови, потомки Карла Великого, полные внимания к тебе и готовые умереть за тебя, тогда как эта дочь лекаря или купца, совершенно случайно ставшая королевой Франции, сварлива, как какая-нибудь мещанка, которой на дают власти у себя дома. Недовольная тем, что она здесь не всех перессорила между собой, эта итальянка с бледным озабоченным лицом во все вмешивается; она цедит сквозь зубы: «Дочь моя, вы королева, ваше место первое, а мое — теперь уже второе. (Ее это бесит, ты понимаешь, милый?) Но если бы я была на вашем месте, я не щеголяла бы в розовом бархате, когда весь двор носит траур, я бы не появлялась при дворе с гладко причесанными волосами, без драгоценностей, ибо то, что не пристало светской даме, еще менее пристало королеве. И я не стала бы танцевать сама. С меня довольно было бы глядеть, как танцуют другие!» Вот что она мне говорит.

— Боже мой, — ответил король, — я как будто слышу ее собственный голос! Боже, если бы толь-

ко она все это услыхала!

— Ах, ты еще дрожишь перед ней! Ты говоришь, она тебе докучает? Давай вышлем ее. Прошу тебя! Добро бы еще она тебя обманывала, на то она и флорентинка, но чтобы она тебе докучала…

— Ради всего святого, замолчи, Мария! — остановил ее Франциск, встревоженный, но вместе с тем и довольный. — Я не хочу, чтобы ты теряла ее дружбу.

— Не бойся, она не захочет ссориться со мной: три величайших короны мира будут моими. Несмотря на то, что у нее тысячи причин меня ненавидеть, она старается быть ласковой со мной, чтобы дяди мои меньше на меня влияли.

— Ненавидеть тебя!..

— Да, мой ангел, если бы я не замечала того множества мелочей, в которых это чувство обнаруживается у женщин, — а одни только женщины по-настоящему понимают, сколько оно несет зла, — я знала бы только, что она противится нашей любви. Неужели это моя вина, что отец твой терпеть не мог синьору Медичи? Да притом она так меня не любит, что, если бы ты тогда не вышел из себя, нас с тобой поселили бы врозь — и здесь и в Сен-Жермене. Она уверена, что так принято у королей и королев Франции… При-

нято! Так было только у твоего отца, и понятно, почему. А что касается твоего деда Франциска, то хитрый король установил этот обычай, чтобы ему удобнее было устраивать свои любовные дела. Поэтому будь настороже! Смотри, чтобы гофмаршал нас не разделил, если мы уедем отсюда.

— Если мы уедем отсюда, Мария? Но ведь я не хочу покидать этот прелестный замок, откуда видны Луара и все окрестности, где у нас под ногами город, над головою самое чудесное небо на свете, а вокруг восхитительные сады! Уж если надо уезжать из этих мест, так давай поедем в Италию, чтобы посмотреть на собор святого Петра и полотна Рафаэля.

— И на апельсиновые рощи? О мой милый король, если бы ты знал, как твоей Марии хочется погулять в апельсиновых рощах, когда все цветет или когда зреют плоды! Увы! Может быть, я их никогда не увижу. Ах, слушать итальянские песни под этими благоухающими деревьями, на берегу синего моря, под синим небом и быть там с тобою, как здесь сейчас!

— Так поедем, — сказал король.

— Что ж, вы и поедете! — воскликнул гофмаршал, входя в опочивальню. — Да, государь, вам надо уезжать из Блуа. Простите меня за дерзость,

но обстоятельства таковы, что заставляют меня пренебречь этикетом, и я пришел просить вас созвать Совет.

Мария и Франциск, видя, что их застали врасплох, вскочили; по лицам их заметно было, что королевское достоинство обоих оскорблено этим непрошеным вторжением.

— Не слишком ли вы много на себя берете, герцог Гиз? — сказал юный король, еле сдерживая свой гнев.

— Черт бы побрал всех влюбленных! — прошептал кардинал на ухо Екатерине.

— Сын мой, — сказала королева, которая вошла вслед за кардиналом, — речь идет о безопасности, и твоей и твоего государства.

— Пока вы спали, государь, еретики не теряли времени.

— Ступайте в зал, — сказал юный король, — и мы начнем совещание.

— Ваше величество, — сказал гофмаршал королеве, — сын вашего меховщика привез для вас меха, которые вам пригодятся в пути; возможно, что нам придется ехать по Луаре. — Потом, повернувшись к королеве-матери, он добавил: — Но он хочет говорить и с вами, ваше величество. Пока король одевается, спровадьте его поскорее, чтобы

он больше не морочил нам голову.

— Разумеется, — сказала Екатерина и в то же время подумала: «Он плохо меня знает, если хочет отделаться от меня такой уловкой».

Кардинал и герцог удалились, оставив короля и королеву с королевой-матерью, и вошли в кордегардию. Гофмаршал должен был непременно еще раз пройти через этот зал, чтобы попасть в зал Совета. Проходя, он приказал дворцовому лакею привести к нему меховщика королевы. Едва только Кристоф увидел, как к нему через весь зал направился человек, которого по одежде он принял за вельможу, сердце его забилось от страха, но чувство это, столь естественное в такую критическую минуту, превратилось в настоящий ужас, когда взоры всех придворных устремились туда, где он стоял, растерянный, со всеми своими картонками, и он услыхал:

— Господин кардинал Лотарингский и гофмаршал хотят с вами говорить и просят пройти в зал Совета.

«Неужели меня предали?» — подумал вдруг посланец реформатов.

Кристоф последовал за дворцовым лакеем, опустив глаза, и поднял их только тогда, когда очутился в огромном зале Совета, который едва

ли уступал своими размерами кордегардии. Оба лотарингца были там: они стояли возле великолепного камина, смежного с тем, возле которого в кордегардии находились фрейлины обеих королев.

— Ты прибыл из Парижа? Какой дорогой ты ехал? — спросил у Кристофа кардинал.

— Я ехал по реке, монсеньор, — ответил реформат.

— А каким образом ты мог попасть в замок Блуа? — спросил герцог.

— Через порт, монсеньор.

— И никто тебя не остановил? — снова спросил герцог, не сводя глаз с молодого человека.

— Никто, монсеньор. Первому же солдату, который собирался задержать меня, я сказал, что имею поручение к обеим королевам и что отец мой — придворный меховщик.

— Ну, а что делается в Париже? — спросил кардинал.

— Там все еще разыскивают убийцу президента Минара.

— Так, значит, ты сын ближайшего друга моего хирурга? — сказал герцог Гиз, обманутый простодушием Кристофа, которое вернулось к юноше, едва только его смятение улеглось.

— Да, монсеньор.

Гофмаршал вышел, быстрым движением откинул портьеру, прикрывавшую двойную дверь зала Совета, и появился перед всеми собравшимися, среди которых глаза его искали королевского хирурга.

Амбруаз, стоявший в углу, поймал этот взгляд герцога и подошел к нему. Амбруаз душою уже склонялся к кальвинизму и в конце концов его принял, но расположение к нему Гизов и французских королей спасало его от всех преследований, которым подвергались реформаты.

Герцог, считавший, что он обязан Амбруазу Паре жизнью, всего несколько дней тому назад назначил его первым хирургом короля.

— Что вам угодно, монсеньор? — спросил Амбруаз. — Что, король заболел? Этого следовало ожидать.

— Почему?

— Королева слишком хороша собою, — ответил хирург.

— Ах, вот оно что! — воскликнул удивленный герцог. — Но дело сейчас не в этом, — добавил он после минутного молчания. — Амбруаз, я хочу, чтобы ты взглянул на одного из твоих друзей. — И, подведя хирурга к порогу зала Совета, он указал

ему на Кристофа.

— Ну, да оно и на самом деле так, монсеньор! — воскликнул хирург, протягивая руку Кристофу. — Скажи мне, дорогой, как поживает отец?

— Спасибо, господин Амбруаз, хорошо, — ответил Кристоф.

— А что у тебя за дела при дворе? — спросил хирург. — Разве это по твоей части — развозить заказы? Отец ведь прочит тебя в адвокаты.

— Разумеется, — ответил Кристоф, — но я хлопочу об этом ради отца, и если вы можете помочь мне, не откажите это сделать, — сказал он с умоляющим видом. — Мне надо получить от господина гофмаршала распоряжение, чтобы отцу заплатили все, что ему причитается, а то ему никак не свести концы с концами.

Кардинал и герцог с довольным видом посмотрели друг на друга.

— Теперь идемте, — сказал гофмаршал Амбруазу и сделал ему знак удалиться. — А ты, друг мой, кончай скорее свои дела и возвращайся в Париж. Мой секретарь выдаст тебе пропуск. Черт возьми, по дорогам сейчас ведь не так легко проехать!

Ни у того, ни у другого брата не возникло ни малейшего подозрения относительно важной миссии, которую должен был выполнить Кри-

стоф, после того как они убедились, что он сын доброго католика Лекамю, поставщика двора, и что он прибыл за деньгами, причитавшимися его отцу.

— Отведите его в покои королевы, она, конечно, попросит его к себе, — сказал кардинал хирургу.

VIII. Мария Стюарт и Екатерина

В то время как сына меховщика допрашивали в зале Совета, король оставил королеву в обществе свекрови, а сам удалился в свою уборную, куда вела дверь из соседней комнаты.

Стоя у огромной оконной амбразуры, королева Екатерина, погруженная в мрачные мысли, глядела на расстилавшиеся перед ней сады. Она думала о том, что власть уходит из рук ее сына и что одного из виднейших военачальников ее времени только что назначили верховным главнокомандующим королевства. Перед лицом этой опасности она была одинока, бессильна и беззащитна. Бледная, неподвижная, вся в трауре, с которым она не расставалась со времени смерти Генриха II, она походила на привидение. В ее черных глазах была какая-то нерешительность, в которой столько раз упрекали великих политиков. Нерешительность эта проистекала от широты взгляда, которым политический деятель обычно окидывает все препятствия на своем пути, стремясь уравновесить одно другим и стараясь предвидеть все вероятные повороты событий, прежде чем сделать свой выбор. В

ушах у нее стоял звон, кровь в ней кипела, но, несмотря ни на что, она продолжала сохранять полное спокойствие, как будто, глядя на бездонный ров, окружавший замок, она стремилась измерить всю глубину той политической бездны, которая разверзлась теперь перед нею. После ареста видама Шартрского это был второй из тех страшных дней ее жизни, каких потом ей пришлось пережить еще так много. Но вместе с тем это было ее последней ошибкой в науке власти. Несмотря на то, что королевский скипетр все время ускользал из ее рук, она хотела во что бы то ни стало схватить его, и ей это удалось благодаря неимоверной силе воли. Этой воли не сломило ни презрение Франциска I и его двора, при котором она значила так мало, хоть и была дофиной, ни пренебрежение Генриха II, ни отчаянное противодействие Дианы де Пуатье, ее соперницы. Ни один мужчина, вероятно, не мог бы ничего понять, глядя на эту королеву, попавшую в сети, но белокурая Мария, у которой было столько хитрости, столько ума, столько женского обаяния и уже столько жизненного опыта, стараясь казаться беспечной и напевая какую-то итальянскую песенку, неспроста внимательно разглядывала ее уголком глаз. Не догадываясь

о том, какие вихри честолюбия скрывались за капельками холодного пота, выступавшими на лбу флорентинки, своенравная шотландка знала, что назначение на новый пост ее дяди, герцога Гиза, наполняло яростью душу Екатерины. И невестка находила особенное удовольствие в том, чтобы шпионить за свекровью, в которой она видела выскочку, интриганку, униженную, но всегда готовую отомстить. Лицо одной было сосредоточенным и печальным, даже, пожалуй, страшным из-за той мертвенной бледности итальянок, лица которых при дневном освещении бывают цвета слоновой кости и наполняются жизнью, когда зажигаются свечи. Лицо другой дышало молодостью и весельем. Шестнадцатилетняя Мария прославилась цветом своих волос — они были того редкостного светлого оттенка, который иногда встречается у блондинок. В ее свежем, задорном и будто точеном лице сверкало детское лукавство, с большою откровенностью выраженное тонко очерченными бровями, живостью взгляда, упрямым изгибом ее хорошеньких губок. В ней была какая-то кошачья грация, которой ничто — ни тюрьма, ни ужасы эшафота — не могло потом стереть. Эти две королевы — одна на самой заре своей жизни, другая в расцвете дня

— составляли решительный контраст друг другу. Екатерина была грозной государыней, непроницаемой вдовой, которая жила одною только жаждой власти и не знала других страстей. Мария была шалуньей, беззаботной молодой женой; она играла своими коронами, как игрушками. Одна предвидела страшные катастрофы, знала, что Гизы будут убиты, угадывая, что только так удастся убрать людей, поднимающих головы выше трона и выше парламента; наконец, она видела впереди потоки крови, льющейся долгие годы. Другая, разумеется, даже не подозревала, что она будет казнена по приговору суда. Итальянке пришла в голову удивительная мысль и немного ее успокоила.

«Если верить словам колдуньи и Руджери, царствованию этому скоро настанет конец; мое положение тогда облегчится, — подумала она.

И вот, как это ни странно, астрология, тайная наука, забытая в наши дни, стала тогда нравственной поддержкой Екатерины до самого конца ее жизни, ибо она все больше и больше в нее верила, видя, с какой поразительной точностью сбываются предсказания звездочетов.

— Вы что-то очень мрачны, государыня? — спросила Мария Стюарт, принимая из рук Дайель

и надевая на голову маленький, сшитый в обтяжку чепчик, два крылышка которого, сделанные из роскошных кружев, обрамляли у висков пряди ее белокурых волос.

Кисть художника так великолепно запечатлела эту прическу, что она стала неотъемлемой принадлежностью королевы Шотландии, хотя придумала ее именно Екатерина, когда она стала носить траур по Генриху II. Только королеве-матери прическа эта не была так к лицу, как Марии, которой она удивительно шла. И огорчение по этому поводу послужило тоже одной из причин неприязни, которую королева-мать питала к своей невестке, молодой королеве.

— Это что, упрек со стороны королевы? — спросила Екатерина, оборачиваясь к невестке.

— Я почитаю вас и не смею ни в чем упрекать, — лукаво ответила шотландка, взглянув на Дайель.

В присутствии обеих королев лицо любимой камеристки королевы Марии оставалось неподвижным, как изваяние, — одна улыбка могла ей стоить жизни.

— Могу ли я веселиться, как вы, после того как умер король, мой муж, а королевству моего сына грозит пожар?

— Женщинам не приходится много заниматься

политикой, — ответила Мария Стюарт. — Это — дело моих дядей.

Момент был настолько напряженным, что эти два слова превратились в отравленные стрелы.

— Давайте взглянем лучше на наши меха, дочь моя, — иронически заметила итальянка, — мы тем самым займемся нашими настоящими делами, в то время как ваши дяди будут решать дела государства.

— Да, только надо будет участвовать в Совете; мы там окажемся полезнее, чем вы думаете.

— Мы? — спросила Екатерина. — Но ведь я не знаю латыни.

— Вы тоже считаете меня такой ученой! — воскликнула Мария Стюарт. — Так вот, клянусь вам, мадам, что я в эту минуту изучаю науки, чтобы потягаться с Медичи и рано или поздно узнать, как надо *врачевать* раны государства.

Стрела эта поразила Екатерину в самое сердце, напомнив ей о происхождении Медичи, родоначальником которых, по мнению одних, был врач, а по мнению других — богатый аптекарь. Королева-мать ничего не ответила. Дайель покраснела, когда ее госпожа взглянула на нее, ища одобрения, которое всякому власть имущему, в том числе и королеве, свойственно искать в

своих подчиненных, когда рядом нет посторонних глаз.

— Ваши очаровательные слова, дочь моя, к сожалению, не могут излечить ни раны государства, ни раны церкви, — ответила Екатерина спокойно, холодно и с достоинством. — Знания моих предков позволяли им приобретать короны, а если в такое опасное время вы по-прежнему будете только развлекаться, вы можете потерять ваши.

В эту минуту Дайель открыла двери Кристофу, о приходе которого им сообщил сам придворный хирург тихим поскребыванием в дверь.

Реформат хотел разглядеть лицо Екатерины, притворившись смущенным, что было вполне естественным в его положении; но его поразила резвость королевы Марии, которая кинулась к картонкам, чтобы поскорее взглянуть на свой казакин.

— Ваше величество… — начал Кристоф, обращаясь к флорентинке.

В эту минуту он повернулся спиной к молодой королеве и к Дайель и, воспользовавшись тем, что обе женщины были увлечены разглядыванием мехов, решился на самый смелый шаг.

— Что вам от меня надо? — спросила Екатери-

на, пронзая вошедшего взглядом.

На груди у Кристофа между рубашкой и камзолом были спрятаны письмо принца Конде с изложением плана реформатов и подробные сведения об их силах. Все эти бумаги были обернуты в счет, который меховщик посылал Екатерине.

— Ваше величество, — сказал юноша, — отцу моему крайне нужны деньги. Сделайте милость, взгляните на этот счет, — добавил он, развернув бумагу и кладя поверх нее письмо Конде, — вы увидите, что вы должны ему шесть тысяч экю. Так пожалейте же нас, ваше величество!

С этими словами он протянул королеве письмо.

— Вот прочтите. Счет этот ведется с самого восшествия на престол покойного короля.

С первых же строк письмо поразило Екатерину. Она, однако, не потеряла присутствия духа и быстро свернула все бумаги в трубку, восхищаясь смелостью и хладнокровием молодого посланца. Этот героический шаг внушил ей доверие к Кристофу; она хлопнула его свитком по голове.

— Не очень-то вежливо, дружок, подавать счет раньше, чем я увидела меха. Тебе еще надо поучиться, как вести себя с женщинами. Прежде всего следует нас ублаготворить, а потом уже

говорить о деньгах.

— Это что, так принято? — спросила молодая королева свою свекровь; та ничего ей на это не ответила.

— Ах, ваше величество, извините моего отца! — сказал Кристоф. — Если бы ему не нужны были деньги, я не повез бы сюда ваши меха. Вся страна на военном положении, и на дорогах так опасно, что, если бы не наши стесненные обстоятельства, я бы ни за что сюда не поехал. Кроме меня, никто не захотел рисковать.

— Он совершенно еще не искушен в жизни, — сказала Мария Стюарт, улыбнувшись.

Чтобы читатель понял всю значительность этой минута, надо сказать, что казакин того времени был плотно облегающей тело верхней одеждой, которую женщины надевали поверх корсажа и которая, спускаясь до бедер, плотно их обтягивала. Таким образом, он защищал от холода спину, грудь и шею; изнутри казакин бывал обычно подбит мехом, который обрамлял края одежды довольно широкой каймой. Примеряя свой казакин, Мария Стюарт смотрелась в большое венецианское зеркало, чтобы видеть, как он сидит сзади; благодаря этому королева-мать имела возможность развернуть пачку бумаг, которая

была такой толстой, что неминуемо привлекла бы внимание ее невестки, не будь она до такой степени занята другим.

— Можно ли говорить об опасностях, когда они уже позади и когда перед тобою женщина! — сказала Мария, обращаясь к Кристофу.

— Ваше величество, я привез счет и для вас, — сказал юноша, глядя на нее и отлично играя роль простака.

Молодая королева окинула его взглядом и заметила, не обратив, однако, на это особенного внимания, что счет королеве Екатерине он вынул из-за пазухи, в то время как ее счет — из бокового кармана. К тому же в глазах юноши она не прочла того восторга, который красота ее обычно вызывала у всех на свете. Но она была так поглощена своим казакином, что даже не задумалась о том, чем могло быть вызвано такое странное равнодушие.

— Забери все это, Дайель, — сказала она своей камеристке, — а счет отдай господину де Версаль (Ломени) и скажи ему, что я велела заплатить.

— Ах, ваше величество, если не последует особого распоряжения от короля или господина гофмаршала, который сейчас там, никто не послушает ваших ласковых слов!

— Ты что-то уж очень дерзок, мой друг, — сказала Мария Стюарт. — Значит, ты не веришь словам королевы?

В эту минуту в дверях показался король. Он был в шелковых чулках и коротких штанах, которые тогда были в моде, и в роскошном бархатном камзоле, отороченном беличьим мехом.

— Кто этот шалопай, который сомневается в ваших словах? — спросил Франциск II. Хотя в эту минуту он находился где-то довольно далеко, последние слова жены долетели до его слуха.

Дверь в кабинет была скрыта за королевской постелью. Кабинет этот получил впоследствии название старого кабинета в отличие от другого, роскошного, увешанного картинами кабинета, который Генрих III устроил на противоположном конце этих покоев, со стороны зала Генеральных штатов. Спрятав убийц в старом кабинете, Генрих III послал за герцогом Гизом. Сам же он в то время, как совершалось убийство, затворился в своем новом кабинете и вышел оттуда только для того, чтобы присутствовать при последнем дыхании этого дерзновенного вельможи, против которого оказались бессильны и тюрьмы, и трибунал, и судьи, и законы страны. Историк наших дней, не знающий этих страшных обстоятельств, не

сразу поймет назначение этих кабинетов и зал, которые сейчас заполнены солдатами. Сейчас какой-нибудь фурьер[109] пишет письмо своей возлюбленной на том самом месте, где некогда сидела Екатерина, обдумывая план борьбы с врагами.

— Пройди сюда, дружок, — сказала королева-мать, — я сейчас распоряжусь, чтобы тебе заплатили. Надо, чтобы торговля процветала, а для нас деньги — это все.

— Ступай же, милый, — смеясь, добавила молодая королева, — моя августейшая мать в делах коммерции понимает больше, чем я.

Екатерина собралась уже уйти, оставив без ответа эту новую колкость. Однако потом она подумала, что и равнодушие ее может также возбудить подозрение; она остановилась и громко ответила своей невестке:

— Так же, как вы больше понимаете в делах любви.

После этого она спустилась вниз.

---

[109] Примечания: 109

Фурьер — офицер низшего звания, исполняющий обязанности ротного или эскадронного квартирьера.

IX. Драма, разыгравшаяся вокруг казакина

— Запри все это здесь, Дайель. Мы пойдем на Совет, — сказала молодая королева своему супругу, обрадованная тем, что вопрос такой важности, как назначение главнокомандующего, будет решаться в отсутствие королевы-матери.

Мария Стюарт оперлась на руку короля. Дайель вышла первой, что-то сказала пажам, и один из них, молодой Телиньи, который потом был убит в Варфоломеевскую ночь, закричал:

— Король!

Услыхав этот возглас, оба стрелка и оба пажа вышли вперед; они направились в зал Совета, следуя туда между выстроившимися придворными и фрейлинами обеих королев. Затем все члены Совета собрались у двери этого зала, который расположен неподалеку от лестницы. Гофмаршал, кардинал и канцлер вышли навстречу юной королевской чете. Король и королева улыбались фрейлинам и заговаривали с теми из придворных, кто пользовался их расположением. Но молодая королева с явным нетерпением увле-

кала Франциска в огромный зал Совета. Когда тяжелый стук аркебуз возвестил, что королевская чета уже вошла в зал, пажи снова надели свои шапочки, а присутствующие там вельможи возобновили разговор о тех важных делах, которые должны были обсуждаться в этот день.

— Киверни послал за коннетаблем и до сих пор еще не вернулся.

— Нет ни одного принца крови, — заметил другой.

— Канцлер и кардинал Турнонский обеспокоены.

— Герцог велел передать хранителю печати, чтобы он непременно присутствовал на Совете. Там, по всей вероятности, будут приняты какие-то постановления.

— Как это королева-мать может оставаться в такое время у себя!

— За каждым нашим шагом будут следить, — сказал Гроло, обращаясь к кардиналу Шатильонскому.

Словом, всюду почувствовалось оживление. Одни расхаживали взад и вперед по огромному залу, другие вертелись около фрейлин той и другой королевы, как будто можно было что-то расслышать сквозь стену трех футов толщины и сквозь

двери, завешенные толстыми портьерами.

Усевшись за стол, находившийся посреди этого зала и покрытый голубым бархатом, король, возле которого заняла место молодая королева, ожидал свою мать. Роберте чинил перья. Оба кардинала, канцлер, хранитель печати, гофмаршал — словом, все члены Совета устремили взоры на короля, недоумевая, почему он не приглашает их садиться.

— Прикажете начать наше совещание, не дожидаясь королевы-матери? — спросил канцлер, обращаясь к молодому королю.

Оба Лотарингца решили, что Екатерина не присутствует на Совете по вине их племянницы и что это какая-то хитрость молодой королевы. Поймав многозначительный взгляд короля, кардинал решительно спросил его:

— Не считает ли ваше величество, что Совет может начаться и без ее величества королевы-матери?

Франциск II, не смея ничего решить сам, ответил:

— Садитесь, господа.

Кардинал в немногих словах рассказал об опасностях, грозивших стране. Этот великий политик с удивительной ловкостью поставил

вопрос о необходимости назначения гофмаршала верховным главнокомандующим при гробовом молчании всех собравшихся. Франциск, несомненно, почувствовал, что это какое-то посягательство на его власть, и сообразил, что его мать знает и все права короля, и все опасности, которые грозят трону. Поэтому на прямой вопрос кардинала он ответил:

— Подождем королеву-мать.

Загадочное опоздание королевы Екатерины мгновенно заставило Марию Стюарт вспомнить три мелких обстоятельства и все их сопоставить, и прежде всего необычно пухлую пачку счетов, представленных ее свекрови. Как ни была юная королева поглощена в ту минуту разглядыванием мехов, ее это поразило: женщины ведь настолько хитры, что равнодушие их часто бывает напускным. Она обратила внимание и на то, что Кристоф держал эти бумаги отдельно от счетов, поданных ей.

«Для чего бы это?» — подумалось Марии.

Наконец, она вспомнила, как холодно взглянул на нее этот юноша; холодность эту она приписала его ненависти к ней как к племяннице Гизов и решила, что это была ненависть реформата. «Не подослан ли он гугенотами?» — подсказывал ей

внутренний голос. Повинуясь первому порыву, как это свойственно всем непосредственным натурам, она воскликнула:

— Я сама схожу за королевой-матерью!

Она быстро выбежала из зала, кинулась на лестницу, к великому удивлению собравшихся придворных и фрейлин, спустилась в покои своей свекрови, пробежала переднюю, потом с осторожностью вора открыла дверь спальни Екатерины и неслышно, как тень, проскользнула по ковру; королевы-матери не оказалось нигде. Тогда Мария решила, что свекровь, скорее всего, в своем великолепном кабинете, находившемся между этой комнатой и молельней. И теперь еще ясно видно, где была расположена эта молельня, которая в домашней жизни той эпохи играла такую же роль, какую в наши дни играет будуар.

Если только вспомнить, в какое страшное разрушение пришел этот замок, то кажется просто необъяснимой случайностью, что замечательные резные панели кабинета Екатерины сохранились до сих пор и что среди всей этой тончайшей резьбы по дереву и сейчас еще можно разглядеть следы итальянской роскоши и обнаружить те потайные убежища, которые были устроены позади них королевой-матерью. Больше того,

точное описание их расположения необходимо, чтобы понять все, что произошло в этих стенах. Там насчитывалось тогда около ста восьмидесяти маленьких продолговатых панелей, из которых около сотни сохранилось и посейчас. Все украшающие их разнообразные арабески созданы, по-видимому, под влиянием прелестнейших творений итальянского искусства. Панели эти сделаны из вечнозеленого дуба. Красная краска, обнаруженная под слоем извести, которой все было забелено по случаю угрозы холеры и которая ни в какой степени от нее не спасала, указывает на то, что фон этих панелей был в свое время покрыт позолотой. Кое-где остались места, не покрытые известью, и это позволяет думать, что отдельные арабески выделялись среди позолоты своей синей, красной и зеленой окраской. Панелей этих очень много; им намеренно придано сходство между собою, чтобы посторонний глаз не мог их отличить друг от друга. Сомневаться в преднамеренности этого не приходится: сторож замка, выставляя память Екатерины на поношение людям нашего времени, показывает посетителям под этими панелями на уровне пола довольно увесистую плиту, которая поднималась с помощью искусно подведенных под нее пружин.

Нажав на незаметную для глаз кнопку, королева могла открывать известные ей одной панели, под которыми в стене были устроены тайники, по длине равные этим панелям и, во всяком случае, достаточно глубокие. Даже в наши дни самый искушенный глаз только с трудом находит среди всего множества панелей ту, которую нужно. Но совершенно ясно, что для человека, внимание которого поглощено искусным сочетанием ярких красок с позолотой, маскирующих каждую щель, обнаружить одну или две панели среди двухсот других — вещь совершенно невозможная.

В ту минуту, когда Мария Стюарт коснулась рукой довольно замысловатого замка кабинета Екатерины, итальянка, успевшая уже познакомиться с грандиозными планами принца Конде, нажала скрытую в каменной плите кнопку, и одна из панелей откинулась. Королева-мать собиралась в эту минуту спрятать лежавшие на столе бумаги и проследить за тем, чтобы тайный посланец мог безопасно вернуться. Услыхав, что дверь отворилась, она сразу же догадалась, что явиться так, без предупреждения, могла только королева Мария.

— Ты погиб, — сказала она Кристофу, видя, что теперь она уже не успеет спрятать бумаги и

быстро закрыть тайник и что все раскрыто.

Кристоф взглянул на нее полным благородства и решимости взглядом.

— Povero mio![110] — прошептала Екатерина, прежде чем повернуться к своей невестке. — Нас предали, и вот кто предатель! — закричала она. — Позовите сюда кардинала и герцога! Пусть сию же минуту его задержат, — сказала она, указывая на Кристофа.

Эта сообразительная женщина сразу решила, что ей следует выдать несчастного юношу: спрятать его она не могла, спасти его тем более было немыслимо. Это еще можно было бы сделать, если бы он явился неделю тому назад, но как раз в то самое утро Гизы уже узнали о заговоре: они, по-видимому, перехватили те списки, которые она сейчас держала в руках, и теперь готовили ловушку для реформатов. Поэтому королева-мать, обрадованная тем, что ее противники оказались людьми достаточно проницательными и оправдали ее ожидания, тем не менее вменила себе в заслугу раскрытие их замысла — политические соображения этого требовали.

Весь этот жестокий расчет был делом несколь-

---

[110] Примечания: 110
Бедняжка мой! *(ит.)*

ких мгновений, пока молодая королева открывала дверь. В первую минуту Мария Стюарт не произнесла ни слова. Взгляд ее утратил прежнюю веселость и приобрел особую проницательность, которая обычно появляется во взглядах людей, охваченных подозрениями, и которая была особенно заметна, потому что лицо молодой королевы переменило выражение за один миг. Она переводила взгляд с королевы-матери на Кристофа и с Кристофа на королеву-мать. Потом она позвонила. Явилась одна из фрейлин Екатерины.

— Мадемуазель де Руэ, позовите сюда дежурного капитана, — сказала Мария Стюарт. Она нарушала этикет, но на этот раз необходимость требовала им пренебречь.

В то время как молодая королева отдавала этот приказ, Екатерина впилась глазами в Кристофа. Взгляд ее говорил: «Мужайся!» Реформат его понял и ответил ей взглядом, означавшим: «Жертвуйте мною так же, как пожертвовали *они*».

«Надейся на меня», — знаком сказала ему Екатерина. После этого она принялась разглядывать бумаги. Невестка ее обернулась.

— Ты что, реформат? — спросила она Кристофа.

— Да, ваше величество, — ответил он.

— Значит, я не ошиблась, — пробормотала она, встретив во взгляде реформата все то же смирение, за которым скрывалась холодная ненависть.

Явился Пардальян; его послали сюда оба Лотарингца и сам король; вслед за этим верным слугою Гизов шел вызванный Марией Стюарт капитан.

— Передайте от моего имени королю, гофмаршалу и кардиналу, чтобы они шли сюда, и скажите им, что я не позволила бы себе вызывать их, если бы обстоятельства этого не требовали. Ступайте, Пардальян. А ты, Льюистон, карауль этого предателя-реформата, — сказала она шотландцу на своем родном языке, указывая на Кристофа.

Молодая королева и королева-мать хранили молчание до прихода Лотарингцев и короля. Это были ужасные минуты.

Мария Стюарт невольно открыла свекрови во всей полноте ту роль, которую оба дяди заставили ее играть; ее постоянная и вошедшая в привычку неуверенность в себе была вдруг обнаружена, и, как она ни была молода, она отлично понимала, что во всем этом было что-то недостойное насто-

ящей государыни. Что же касается Екатерины, то она выдала себя из страха: она боялась, что ее скомпрометируют, и трепетала за свое будущее. Обе королевы: одна — пристыженная и гневная, другая — исполненная ненависти и спокойная — подошли к амбразуре окна и облокотились на подоконник, одна справа, другая слева; взгляды их так ясно выражали обуревавшие их чувства, что они обе опустили глаза, а потом, притворяясь друг перед другом, стали смотреть на небо. Обе эти замечательные женщины в ту минуту опустились до уровня самых заурядных мещанок. Может быть, впрочем, так бывает каждый раз, когда обстоятельства подавляют человека. Перед большой катастрофой бывают минуты, когда даже гений ощущает свое ничтожество. Что же касается Кристофа, то он чувствовал, что летит куда-то в бездну. Льюистон, шотландский капитан, хранил молчание. Он взирал на сына меховщика и на обеих королев с чисто солдатским любопытством. Появление молодого короля и его двух дядей положило конец этой тягостной сцене. Кардинал направился прямо к королеве.

— Все нити заговора еретиков в моих руках: они послали ко мне этого мальчишку и поручили ему передать мне свое послание, и вот эти доку-

менты, — сказала Екатерина вполголоса.

В то время как Екатерина объяснялась с кардиналом, Мария сказала несколько слов на ухо гофмаршалу.

— Что случилось? — спросил молодой король, который остался одиноким среди этих неистовых страстей, столкнувшихся друг с другом.

— Доказательства того, о чем я докладывал вашему величеству, не заставили себя ждать, — сказал кардинал, схватив бумаги.

Герцог Гиз отвел брата в сторону и, не прерывая его речи, сказал ему на ухо:

— Ну, отныне я верховный главнокомандующий, противиться никто не станет.

Вместо ответа кардинал многозначительно посмотрел на брата: взгляд этот говорил о том, что он уже знал, как использовать в своих целях ложное положение Екатерины.

— Кто тебя послал сюда? — спросил герцог Кристофа.

— Шодье, проповедник.

— Юноша, ты лжешь, — живо возразил ему герцог, — тебя послал принц Конде!

— Принц Конде, монсеньор? — с изумленным видом повторил Кристоф. — Я его и в глаза не видел. Я занимаюсь юриспруденцией у господи-

на де Ту, я служу у него секретарем, и он даже не знает, что я принадлежу к Реформации. Склонил меня на это только проповедник.

— Довольно, — сказал кардинал. — Позовите господина Роберте, — приказал он Льюистону, — этот желторотый плут оказался хитрее старых политиков: он обманул и брата и меня; я готов был поверить, что он безгрешен.

— Черт возьми, это же не ребенок! — вскричал герцог. — Ну, теперь мы поговорим с тобой, как со взрослым.

— Эти люди хотели привлечь на свою сторону вашу августейшую мать, — сказал кардинал, обращаясь к королю и стараясь отвести его в сторону, чтобы заставить его действовать по своей указке.

— Увы, — сказала королева сыну, принимая вид оскорбленного достоинства и останавливая короля в ту минуту, когда кардинал уводил его в молельню, чтобы излить на него весь яд своего красноречия, — вот к чему привело положение, в которое меня поставили; они считают меня недовольной тем, что вы отстранили меня от всех дел, меня, мать четырех принцев из дома Валуа.

Молодой король насторожился. Мария Стюарт, видя, что ее супруг нахмурился, взяла его под

руку и увела в амбразуру окна. Там она заговорила с ним вполголоса, называя его, должно быть, ласковыми именами, как час тому назад, когда он вставал с постели. Лотарингцы просматривали бумаги, полученные из рук Екатерины. Обнаружив в них сведения, которые были неизвестны их шпионам и г-ну де Брагелону, следователю тюрьмы Шатле, они готовы были поверить в искренность Екатерины Медичи. Явившийся вслед за тем Роберте получил секретные распоряжения относительно Кристофа. Тогда за юным реформатом, ставшим послушным исполнителем воли своих вождей, пришли четверо шотландских гвардейцев; они отвели его вниз и отдали в распоряжение верховного прево, господина де Монтрезор. Этот страшный человек сам в сопровождении пятерых сержантов повел Кристофа в дворцовую тюрьму, расположенную под сводами башни, в настоящее время уже разрушенной. Сторож замка Блуа показывает вам эти развалины, и вы видите места, где в прежнее время находились тюремные камеры.

После подобного происшествия заседание государственного Совета уже не могло идти своим чередом: оно стало только видимостью. Король, молодая королева, гофмаршал, кардинал Лота-

рингский вернулись в зал. С ними вместе туда вошла и побежденная Екатерина; все, что она говорила, свелось к простому одобрению тех постановлений, принятия которых требовали Лотарингцы. Несмотря на некоторое сопротивление канцлера Оливье, единственного лица, в словах которого слышалась необходимая в его положении самостоятельность, герцог Гиз был назначен верховным главнокомандующим королевства. Роберте принес указ о его назначении с такою поспешностью, которая свидетельствовала не только о его преданности, но и о его соучастии в этом деле.

Взяв под руку королеву-матъ, король снова прошел через кордегардию и известил двор, что на следующий день он уезжает в замок Амбуаз. Эта резиденция пустовала с тех пор, как Карл VIII нашел в ней смерть: забыв нагнуться, он нечаянно ударился о карниз двери, который по его распоряжению украшали резьбой. Для того чтобы замыслы Гизов оставались скрытыми, Екатерина объявила, что собирается закончить отделку замка Амбуаз для короля одновременно с отделкою замка в Шенонсо. Но выдумке этой никто не поверил. Двор ожидал больших событий.

X. Пытка

Проведя около двух часов в темной камере, Кристоф в конце концов разглядел, что стены ее были обшиты неотесанными досками, которые, однако, были достаточно толстыми, чтобы в помещение не проникала сырость. Дверь была не больше, чем в свинарнике, и, чтобы войти в камеру, юноше пришлось низко нагнуться. Рядом с этой дверью было большое окно с решеткой, выходившее в коридор, откуда в камеру поступало немного воздуха и света. Расположение камер в этой тюрьме было настолько похоже на расположение венецианских подземелий, что не оставляло сомнения в том, что строитель замка Блуа принадлежал к той венецианской школе, которая в средние века поставляла архитекторов для всей Европы. Кристоф стал ощупывать стены и под деревянными панелями обнаружил кирпичную кладку; постучав по стене, чтобы узнать ее толщину, он с удивлением услышал чей-то ответный стук.

— Кто вы такой? — спросил его сосед, голос которого доносился через коридор.

— Я Кристоф Лекамю.

— А я, — отвечал голос, — капитан Шодье, брат проповедника. Меня арестовали сегодня ночью в Божанси. Но, к счастью, против меня нет никаких улик.

— Все раскрыто, — сказал Кристоф. — Теперь вы избавлены от участия в схватке.

— У нас сейчас собрано три тысячи человек в вандомских лесах, чтобы захватить короля и королеву-мать во время пути. К счастью, Ла Реноди оказался хитрее меня, он спасся. Нас захватили сразу же после того, как мы с вами расстались.

— Но я не знаю никакого Ла Реноди…

— Как бы не так! Брат мне все рассказал, — ответил капитан.

После этих слов Кристоф сел на скамью и не стал отвечать ни на один из вопросов, которые ему задавал человек, называвший себя капитаном Шодье: он достаточно хорошо знал судейских, чтобы понимать, как осторожно следует вести себя в тюрьме. Глубокой ночью он вдруг услыхал грохот тяжелых замков — это открывали железную дверь подземелья. Вслед за этим он увидел, что корицор озарился бледным светом фонаря. Сам верховный прево явился за Кристофом. Это неожиданное внимание к человеку, которого бросили в тюрьму и даже не сочли нужным

накормить, поразило Кристофа. Но хлопоты по случаю переезда двора помешали о нем вспомнить. Один из сержантов верховного прево связал ему веревкой руки и держал его за эту веревку до тех пор, пока они не пришли в одно из низких помещений замка Людовика XII, по-видимому служившее передней чьих-то апартаментов. Сержант и верховный судья посадили его на скамью, после чего сержант связал ему ноги точно таким же образом, как были связаны руки. По знаку г-на де Монтрезора сержант вышел из комнаты.

— Выслушай меня внимательно, друг мой, — сказал Кристофу верховный судья, играя цепью Святого духа; он был в парадном одеянии, несмотря на столь поздний час

Обстоятельства этого ночного вызова заставили сына меховщика призадуматься. Кристоф ясно увидел, что не все еще окончено. Ясно было, что пока еще его не собирались ни вешать, ни судить.

— Друг мой, ты можешь спасти себя от ужасных мучений, сказав сейчас все, что знаешь о связях принца Конде с королевой Екатериной. Ты не только будешь избавлен от страданий, но ты сможешь поступить на службу к верховному главнокомандующему, которому очень понра-

вилось твое лицо. Королеву-мать отправят во Флоренцию, а принца Конде будут судить. Итак, верь мне: люди маленькие должны быть преданными своим великим правителям. Расскажи мне все, и положение твое улучшится.

— Увы, сударь, — отвечал Кристоф, — мне нечего рассказывать; все, что я знал, я уже рассказал господам Гизам в покоях королевы. Шодье уговорил меня передать бумаги королеве-матери, уверив меня, что дело идет о том, чтобы предотвратить войну.

— Так ты никогда не видел принца Конде?

— Никогда, — ответил Кристоф.

После этих слов г-н Монтрезор покинул Кристофа и отправился в соседнюю комнату. Но Кристоф недолго пребывал в одиночестве. Дверь, через которую его ввели, вскоре открылась, и в комнату вошло несколько человек; они оставили дверь неприкрытой, и со двора через нее доносился шум, не предвещавший ничего хорошего. Начали втаскивать какие-то доски и механизмы, по-видимому, это были орудия пыток, которым готовились подвергнуть, посланца реформатов. Все эти приготовления, делавшиеся на глазах Кристофа, привлекли его внимание и заставили глубоко задуматься. Двое плохо одетых грубых

слуг выполняли распоряжение толстого, крепкого, коренастого человека. Войдя в комнату, человек этот посмотрел на Кристофа так, как людоед разглядывает свою жертву. Он смерил его глазами с головы до ног и с видом знатока прикинул его силы, чтобы определить, крепок ли он и долго ли сможет выдержать пытку. Это был палач тюрьмы Блуа. Его люди, часто переезжавшие с ним с места на место, привезли с собою матрац, деревянные молотки, угольники, доски и предметы, назначение которых было совершенно непонятно нашему несчастному юноше. Однако все они, по-видимому, предназначались для него, и у Кристофа кровь застывала в жилах от страшной, хотя пока еще и смутной догадки. Г-н де Монтрезор вернулся, и вслед за ним вошли еще двое людей.

— Значит, ничего еще не готово, — сказал верховный прево, с которым пришедшие почтительно поздоровались. — А ведь знаете, — добавил он, обращаясь к палачу и его двум помощникам, — господин кардинал уверен, что вы уже начали. Доктор, — сказал он одному из только что явившихся людей, — вот ваш человек.

И он указал на Кристофа.

Врач направился прямо к заключенному, раз-

вязал ему руки и хлопнул его по груди и по спине. Медицина должна была сказать свое властное слово, подтверждающее глазомер палача.

Тем временем слуга, одетый в ливрею дома Гизов, принес несколько кресел, стол и письменные принадлежности.

— Начинайте допрос, — сказал г-н де Монтрезор, указывая на стол одному из пришедших, одетому во все черное. Это был секретарь суда.

После этого он снова подошел к Кристофу и очень мягко сказал ему:

— Друг мой, канцлер, узнав, что ты отказываешься должным образом ответить на вопросы, приказал, чтобы ты был подвергнут пытке обычной и чрезвычайной.

— Здоров он? Выдержит? — спросил секретарь у врача.

— Да, — ответил медик. Это был один из врачей Лотарингского дома.

— Хорошо, тогда ступайте в соседнюю комнату. Мы будем вас вызывать каждый раз, когда вы понадобитесь.

Врач вышел.

Когда первый испуг прошел, Кристоф собрал все свои силы: час пытки настал. С этой минуты он с холодным любопытством стал глядеть

на все приготовления, которые делали палач и его помощники. После того как они внесли и установили кровать, они стали поспешно устанавливать так называемые *испанские сапоги*. Это был механизм, состоящий из нескольких досок. Ноги истязуемого помещали между этими досками, причем каждая нога заворачивалась в маленький матрасик. После этого обе ноги укладывали рядом. Тот, кто видел пресс, в который переплетчики укладывают книги, зажимая их между двумя досками и связывая веревкой, может себе представить, в каком положении находилась в этой машине та и другая нога. Всякий поймет, что получалось, когда между обоими укрепленными неподвижно с помощью канатов *сапогами*, в которые вставлены ноги, ударом молота вгонялся клин. Клинья эти вбивались на уровне коленных чашечек и возле лодыжек: делалось все так, как будто это было полено, которое предстояло расколоть. Оба эти места лишены мышечного покрова; клин, углубляясь, давит прямо на кости, и боль становится невыносимой. При обычной пытке забивали четыре клина: два — в лодыжки и два — в колени. Но при пытке чрезвычайной число их достигало восьми, если только врачи это допускали. В ту эпоху испанские

сапоги надевались также и на руки. Однако на этот раз, ввиду того что приходилось торопиться, кардинал, верховный главнокомандующий и канцлер обошлись без этого. Допрос начался. Верховный прево продиктовал несколько фраз; расхаживая взад и вперед с задумчивым видом, он осведомился о точном имени Кристофа, о его возрасте и профессии. Потом он спросил, от кого Кристоф получил те бумага, которые он передал королеве.

— От проповедника Шодье, — ответил юноша.

— А где он тебе их передал?

— У меня дома, в Париже.

— А когда он передавал эти бумаги, он говорил, что королева-мать примет тебя благосклонно?

— Нет, ничего этого он мне не говорил, — ответил Кристоф. — Он только просил меня вручить их королеве Екатерине с глазу на глаз.

— Выходит, что ты часто встречался с Шодье, если ему было так хорошо известно о твоей поездке?

— От меня он мог только знать, что я везу королевам меха и что от имени моего отца я должен востребовать те деньги, которые ему должна королева-мать. Мне некогда было расспрашивать его, от кого он это узнал.

— Но ведь в бумагах, которые тебе доверили незапечатанными, содержался план сговора между мятежниками и королевой Екатериной. Ты не мог не знать, что за них тебя будут пытать, как пытают участников восстания.

— Да, я это знал.

— Люди, которые склонили тебя совершить эту измену, должно быть, обещали тебе награду и поддержку королевы-матери.

— Я все это сделал из чувства преданности к Шодье, единственному человеку, которого я видел.

— Ты, что же, продолжаешь упорствовать, утверждая, что не знаешь принца Конде?

— Да.

— А разве принц Конде не говорил тебе, что королева-мать готова действовать заодно с ним против господ Гизов?

— Я никогда не видел принца Конде.

— Берегись! Один из участников заговора, Ла Реноди, уже арестован. Как он ни был силен, он не устоял против пытки, которая ждет и тебя, и он в конце концов показал, что у него и у принца Конде было свидание с тобой. Если ты хочешь избежать всех мучений, которые тебе готовит пытка, я призываю тебя сказать правду. Может быть, тогда тебя даже помилуют.

Кристоф ответил, что не может утверждать того, чего никогда не знал, и приписывать себе сообщников, которых у него никогда не было. Услышав эти слова, верховный прево сделал знак палачу и вышел в соседнюю комнату. Кристоф понял этот знак: он наморщил лоб, нахмурил брови и приготовился терпеть муки. Он со страшной силой сжал кулаки и даже не почувствовал, что ногти впиваются в тело. Три человека подхватили его, перенесли на походную кровать и положили на нее так, что обе ноги остались висеть в воздухе. В то время как палач привязывал его крепкими веревками, помощники его укладывали ноги Кристофа в испанские сапоги. Вскоре с помощью особого приспособления веревки были затянуты, и так, что юноша не испытал при этом большой боли. Когда и та и другая нога были зажаты как бы в тиски, палач схватил молот и клинья и посмотрел сначала на истязуемого, а потом на секретаря.

— Ты по-прежнему все отрицаешь? — спросил секретарь.

— Я сказал правду, — ответил Кристоф.

— Что же, надо начинать, — сказал секретарь и зажмурил глаза.

Веревки стянули со страшной силой. Эти мину-

ты были, пожалуй, самыми мучительными изо всей пытки: мягкие части ног за одно мгновение были стиснуты, вся кровь прилила к верхней части тела. Бедняга не мог удержаться, чтобы не закричать, казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Позвали врача. Он пощупал пульс Кристофа и сказал, что надо подождать около четверти часа, прежде чем начать забивать клинья, чтобы кровь отлила от головы и к истязуемому вернулась прежняя чувствительность. Секретарь милостиво разъяснил Кристофу, что, если у него с самого начала не хватает силы выдерживать муки, избежать которых все равно нельзя, лучше пусть он признается во всем сразу. Но единственными словами, произнесенными Кристофом, были:

– *Королевский портной! Королевский портной!*

— Что ты этим хочешь сказать? — спросил его секретарь.

— Видя, какие пытки мне предстоит вынести, — тихо сказал Кристоф, чтобы выиграть время и немного передохнуть, — я собираю все мои силы и стараюсь умножить их, вспоминая те мучения, которые перенес за святое дело Реформации портной покойного короля, которого пытали в присутствии герцогини де Валантинуа и короля;

я постараюсь быть достойным его.

В то время как врач уговаривал несчастного не вынуждать палача прибегать к крайним средствам, пришли герцог и кардинал, снедаемые нетерпением узнать результаты допроса. Они потребовали, чтобы Кристоф немедленно сказал всю правду. Сын меховщика повторил то немногое, что он решил сказать, и по-прежнему никого не назвал, кроме Шодье. Братья дали знак. По этому знаку палач и его первый помощник схватили молотки, каждый взял по клину и вбил его между зажатыми в тиски ногами Кристофа, один справа, другой слева. Палач стоял на уровне его колен, помощник — возле лодыжек. Глаза всех свидетелей этого ужасного истязания устремились на Кристофа, а юноша, в котором закипела кровь при виде Гизов, бросал на них сверкающие, огненные взгляды. Когда забили еще два клина, он испустил страшный стон. Когда же он увидел, что палачи берутся за клинья, предназначенные для пытки *чрезвычайной,* он замолк. Но взгляд его стал таким пронзительным, таким беспощадным, он источал на обоих братьев такую силу, что герцог и кардинал невольно опустили глаза. То же самое произошло с Филиппом Красивым, когда он велел в своем присутствии подвергнуть

тамплиеров пытке чеканного пресса[111]. Пытка эта состояла в том, что истязуемого ударяли в грудь коленами пресса, которым чеканили монеты; на каждое из колен были надеты кожаные наконечники. Один из рыцарей посмотрел тогда на короля таким пронзительным взглядом, что король, как завороженный, не мог оторвать от него глаз. После третьего удара железного стержня король вышел — ему послышалось, что его вызывают на суд божий. Когда стали забивать пятый клин, с которого начиналась *чрезвычайная пытка,* Кристоф сказал кардиналу:

— Ваше преосвященство, велите прекратить пытку, она ни к чему не приведет.

Кардинал и герцог вернулись в зал, и в эту минуту Кристоф услыхал слова королевы Екатерины:

— Продолжайте, что бы там ни было, — перед вами еретик!

Она сочла нужным показать, что относится к своему сообщнику еще строже, чем его палачи.

Забили шестой и седьмой клин; Кристоф ни

---

[111] Примечания: 111

Подвергнуть тамплиеров пытке чеканного пресса. — Орден тамплиеров в XIII веке обладал огромными богатствами, среди его должников был французский король Филипп IV. Желая избавиться от долга, Филипп IV приказал начать против ордена судебный процесс. Многие из тамплиеров были подвергнуты пыткам и сожжены.

разу не застонал; глаза его сияли лучезарным блеском, восторг фанатика придавал ему неимоверную силу. Чем же еще можно объяснить подобную стойкость, сломить которую не могут никакие страдания, если не чувством? Когда палач взялся за восьмой клин, на лице Кристофа появилась улыбка. Эта страшная пытка продолжалась уже целый час.

Секретарь пошел за врачом, чтобы узнать, можно ли вбивать восьмой клин, не подвергая опасности жизнь истязуемого. В это время в комнату снова вошел герцог.

— Черт возьми! Ты, видно, парень крепкий, — сказал он, наклонившись к уху Кристофа. — Люблю храбрых людей. Поступай ко мне на службу, ты будешь счастлив и богат, я сумею залечить раны на твоем истерзанном теле. Не думай, что я собираюсь уговаривать тебя совершить предательство — возвращаться к реформатам, а потом выдавать нам их планы; предатели всегда найдутся; доказательством этому тюрьмы замка Блуа. Скажи мне только, в каких отношениях королева с принцем Конде.

— Ваша светлость, я ничего об этом не знаю! — покричал Лекамю.

Пришел врач. Он осмотрел несчастного и ска-

зал, что он может выдержать восьмой клин.

— Забейте его, — приказал кардинал. — В конце концов, как верно заметила королева, это всего-навсего еретик, — добавил он, глядя на Кристофа, и на лице его заиграла отвратительная улыбка.

Медленным шагом Екатерина вышла из соседнего зала, остановилась возле Кристофа и холодно на него поглядела. Оба брата сразу же воззрились на нее, то и дело переводя взгляд с королевы-матери на заговорщика. Все будущее этой честолюбивой женщины зависело от того, как она поведет себя в эту решительную минуту: мужество Кристофа наполняло ее сердце восторгом, но глядела она на него сурово. Гизов она ненавидела, но приветливо им улыбалась.

— Что же, — сказала она юноше, — признавайся, ты виделся с принцем Конде, и тебя щедро вознаградят.

— Государыня, подумайте о том, какой совет вы даете! — воскликнул Кристоф, готовый ее пожалеть.

Королева задрожала.

— Он меня оскорбляет! Его надо повесить! — сказала она братьям Гизам, которые стояли, задумавшись.

— Что за женщина! — воскликнул герцог, стоя

в амбразуре окна и бросая на брата многозначительный взгляд.

«Я останусь во Франции и еще сумею им отомстить», — подумала королева.

— Продолжайте, и пусть он признается или умрет! — воскликнула она, обращаясь к г-ну де Монтрезору.

Верховный прево повернулся к Кристофу; палачи занялись своим делом; Екатерина улучила минуту и бросила на юношу взгляд, который, кроме него, никто не мог видеть. Взгляд этот был для Кристофа живительной росой. Ему показалось, что в глазах этой великой женщины он видит слезы. И действительно, в них появились две слезинки, которым она не дала скатиться. Начали забивать клин; в это время одна из досок сломалась. Кристоф издал ужасающий крик, после которого снова утих, и лицо его засияло: он думал, что это смерть.

— Пусть он умрет! — воскликнул кардинал, повторяя как будто с иронией последние слова королевы. — Нет! Не будем обрывать эту нить, — сказал он верховному судье.

Герцог и кардинал стали вполголоса совещаться между собой.

— Что с ним теперь делать? — спросил палач.

— Отправьте его в Орлеанскую тюрьму, — сказал герцог, — но только, — добавил он, — не вешайте его без моего приказа.

Чтобы выдержать пытку, Кристофу приходилось напрягать все свои силы, поэтому все чувства его обострились до крайнего предела, и он сумел расслышать следующие слова, которые герцог Гиз сказал на ухо кардиналу:

— Я еще не отказался от мысли выведать у этого молодца всю правду.

Когда Гизы ушли, палачи без всяких предосторожностей высвободили ноги своей жертвы.

— Видали вы когда-нибудь человека с такой силой воли? — сказал палач своим помощникам. — Этот упрямец выдержал восьмой клин, он мог умереть, и мне бы ничего за него не заплатили.

— Развяжите меня и перестаньте мучить, друзья мои, — сказал совершенно обессиленный Кристоф. — Когда-нибудь я сумею вас вознаградить.

— Да, пожалейте его! — воскликнул врач. — Герцог обеспокоен его участью и поручил его моим заботам.

— Я еду сейчас с моими помощниками в Амбуаз, — пробурчал палач, — занимайтесь им сами.

А вот и тюремщик.

Палач ушел, оставив Кристофа на попечение врача, который всячески выражал ему свое притворное сочувствие и с помощью будущего тюремщика Кристофа положил юношу на кровать, заставил его выпить бульон, а потом уселся возле него, пощупал его пульс и стал успокаивать.

— Вы не умрете, — сказал он ему. — Вам должно быть радостно на душе оттого, что вы исполнили свой долг. Королева поручила мне заботиться о вас, — еле слышно добавил он.

— Королева действительно очень добра, — сказал Кристоф. После этих сверхчеловеческих страданий он ощущал какую-то удивительную внутреннюю просветленность, понимая, что самые страшные муки уже позади, и стараясь только теперь ничем себя не выдать. — Но королева могла бы спасти меня от страшных истязаний, не допустив, чтобы меня передали в руки моих врагов: она могла бы сообщить им те тайны, которых я не знаю.

Когда врач услышал эти слова, он тут же оделся и ушел, решив, что от человека такой закалки все равно ничего не добиться.

Смотритель тюрьмы Блуа распорядился, чтобы

несчастного положили на носилки. Четверо солдат отнесли его в городскую тюрьму, где он впал в глубокое забытье, подобное тому сну, который, как известно, всегда почти приходит к женщине после пережитых ею родовых мук.

XI. Мятеж в Амбуазе

Переселив двор в замок Амбуаз, Лотарингцы никак не ожидали, что увидят там главу реформатов принца Конде, которому был послан вызов от имени короля, чтобы заманить его в западню. Будучи вассалом короля и принцем крови, Конде должен был подчиниться королевскому приказанию. Его отказ явиться в Амбуаз сочли бы изменой, но, явившись туда, он всецело отдавал себя во власть короля. А ведь в это время и король, и Совет, и двор — все было в руках герцога Гиза и кардинала Лотарингского. В этой трудной ситуации принц Конде проявил столько решимости и столько хитрости, что оказался достойным исполнителем воли Жанны д'Альбре и настоящим вождем реформатов. Он поехал в Вандом, все время держась позади заговорщиков, чтобы в случае успеха сразу же поддержать их. После того как, взявшись за оружие, реформаты при первой же схватке потерпели поражение и весь цвет французской знати, захваченный в сети Кальвина, погиб, принц Конде в сопровождении пятидесяти дворян прибыл в замок Амбуаз. Он явился туда на следующий день после упомянутого события,

которое Лотарингцы, будучи хитрыми политиками, назвали мятежом в Амбуазе. Узнав о приезде принца, герцог и кардинал выслали ему навстречу маршала Сент-Андре в сопровождении сотни солдат. Когда Беарнец и его эскорт появились у ворот Амбуаза, маршал не разрешил свите принца переступить порог замка.

— Вам следует войти в замок одному, монсеньор, — сказали принцу канцлер Оливье, кардинал Турнонский и Бирага, которые находились по ту сторону рва.

— Почему?

— Вас подозревают в измене.

В эту минуту гвардия герцога Немурского окружила свиту принца. Тогда он спокойно ответил:

— Если так, я войду к кузену один и докажу ему, что ни в чем не повинен.

Он спешился и завязал самый непринужденный разговор с Бирагой, кардиналом Турнонским, канцлером Оливье и герцогом Немурским, прося их рассказать ему все подробности недавнего мятежа.

— Ваше высочество, — сказал герцог Немурский, — у мятежников были в Амбуазе свои люди. Капитан Лану имел здесь отряд вооруженных солдат: они-то и открыли им эти ворота. Рефор-

маты вошли в город и овладели им…

— Вы хотите сказать, что им была устроена западня? — сказал принц, глядя на Бирагу.

— Если бы только состоялось нападение на ворота Бонзом, которое собирался осуществить капитан Шодье, брат парижского проповедника, мятежники непременно одержали бы верх, — ответил герцог Немурский. — Но по приказу герцога Гиза я занял столь выгодную позицию, что капитану Шодье пришлось отступить, чтобы избежать боя. Вместо того чтобы прибыть сюда глубокой ночью со всеми остальными, капитан явился только на заре, когда королевское войско уже одолевало вторгшихся в город мятежников.

— А разве у вас были еще войска в засаде, чтобы овладеть воротами, которые открыли врагу?

— Да, был еще маршал Сент-Андре и с ним полтораста человек его конницы.

Принц заявил, что такая распорядительность достойна самых высоких похвал.

— Но, чтобы привести в исполнение весь этот план, — добавил он, — герцог должен был хорошо знать все тайные замыслы реформатов. Совершенно ясно, что их кто-то предал.

Принца Конде встретил суровый прием. Как только он вступил в пределы замка, его разлучи-

ли со свитой, а когда он направился к лестнице, ведущей в покои короля, кардинал и канцлер преградили ему путь.

— Ваше высочество, король приказал проводить вас в отведенные для вас апартаменты.

— Разве я арестован?

— Если бы король собирался это сделать, вас не сопровождали бы ни его преосвященство, ни я, — ответил канцлер.

Оба они проводили принца в апартаменты, где к нему были приставлены гвардейцы якобы в качестве почетного караула. Он просидел так несколько часов, никого не видя. Он смотрел в окно на Луару и на чудесные луга, расположенные вокруг, и обдумывал свое положение, спрашивая себя, что предпримут по отношению к нему Лотарингцы, как вдруг услыхал, что дверь отворилась и в комнату вошел королевский шут Шико, ранее принадлежавший ему.

— Я слышал, что ты в немилости, — сказал принц.

— Вы не представляете себе, как поумнел весь двор после кончины Генриха II.

— Да, но королю-то хочется иногда посмеяться.

— Какому королю? Франциску II или Франциску Лотарингскому?

— Видно, ты не боишься герцога, если произносишь такие слова.

— Он не станет меня за них наказывать, ваше высочество, — улыбаясь, ответил Шико.

— А чего ради ты оказал мне честь своим посещением?

— А разве вы ее не заслужили тем, что сюда приехали? Я принес вам мою погремушку и мой колпак.

— Значит, мне нельзя уйти отсюда?

— Попытайтесь.

— А если мне это удастся?

— Тогда я скажу, что вы выиграли, нарушив правила игры.

— Ты меня пугаешь, Шико… тебя, должно быть, послал кто-нибудь, кто интересуется мною?

В ответ Шико кивнул головой. Он подошел совсем близко к принцу и дал ему понять, что их подслушивают и за ним следят.

— Что же ты мне скажешь? — спросил принц Конде.

— Что одна только смелость может вас теперь спасти, — я передаю вам это от королевы-матери, — ответил шут на ухо принцу.

— Передай тем, кто тебя послал, — ответил принц, — что, если бы мне было в чем себя упрек-

нуть и если бы я чего-нибудь боялся, я не был бы сейчас в замке.

— Я сейчас побегу и передам ваш смелый ответ! — воскликнул шут.

Прошло около двух часов. В час дня, незадолго до королевского обеда, канцлер и кардинал Турнонский пришли за принцем, чтобы проводить его к Франциску II, находившемуся в большой галерее, где перед этим заседал Совет. Принца Конде поразила холодность, с которой его встретил король на глазах у всего двора, и он спросил, чему ее приписать.

— Любезный брат, — сурово возразила ему королева-мать, — вас обвиняют в том, что вы замешаны в заговоре реформатов, и, если вы не хотите навлечь на ваш дом гнев короля, вам следует доказать, что вы его верный слуга и добрый католик.

Услыхав эти слова, произнесенные среди всеобщего молчания Екатериной, опиравшейся на руку сына, в то время как слева от нее стоял герцог Орлеанский, принц с гордым видом отступил на три шага назад, взялся за рукоятку шпаги и поглядел на всех собравшихся в зале.

— Тот, кто это говорит, ваше величество, — в гневе воскликнул он, — нагло лжет!

Он бросил к ногам короля перчатку, говоря:

— Пусть тот, кто собирается подтвердить эту клевету, выходит вперед!

Всех присутствующих охватил трепет, когда они увидели, что герцог Гиз сошел со своего места. Но вместо того чтобы, как все этого ждали, поднять перчатку, он направился к бесстрашному горбуну.

— Если вам нужен секундант, принц, то окажите мне эту честь, — сказал он. — Я отвечаю за вас, и вы покажете реформатам, как они заблуждаются, собираясь провозгласить вас своим вождем…

Принц был вынужден протянуть герцогу руку. Шико поднял перчатку и передал ее принцу Конде.

— Кузен, — сказал юный король, — беритесь за шпагу только тогда, когда надо защищать короля; пойдемте обедать.

Удивленный поведением брата, кардинал Лотарингский увел его в свои покои. Принц Конде, избежав самой большой из грозивших ему опасностей, предложил руку Марии Стюарт и повел ее к столу. Всячески льстя молодой королеве, он думал о том, какую новую ловушку готовит ему сейчас хитрый Балафре. Но напрасно он ломал голову: он узнал о планах Лотарингца только то-

гда, когда королева Мария ему о них рассказала.

— Разве не было бы жаль, — сказала она, смеясь, — отрубить такую умную голову? Признайтесь же, что мой дядя — человек великодушный!

— Разумеется, государыня. Тем более что голова моя сидит как следует только на моих плечах, хотя одно из них и выше другого. Но только великодушие ли это? Не слишком ли оно дешево? Неужели вы думаете, что принца крови так легко предать суду?

— Не все еще кончилось, — ответила Мария, — мы увидим, как вы будете себя вести, когда начнут казнить ваших именитых друзей, к которым Совет постановил применить самые суровые меры.

— Я буду вести себя так, как будет вести себя король.

— Король, королева-мать и я — мы все будем присутствовать при казни вместе со всем двором и послами…

— Будет устроено празднество? — иронически спросил принц.

— Нет, больше, чем Празднество. Это будет актом веры, актом высокой политики. Надо, чтобы французская знать подчинилась трону, чтобы у этих людей пропал вкус к интригам и ко всякой крамоле.

— Государыня, тем, что вы покажете им все эти ужасы, вы никак не укротите мятежный дух. Помните, что, затевая такую игру, вы рискуете королевской короной! — ответил принц.

По окончании обеда, который прошел в довольно торжественной обстановке, королева Мария, к несчастью, навела разговор на процесс тех вельмож, которые были захвачены с оружием в руках, и начала настаивать на том, чтобы над ними была учинена самая жестокая расправа.

— Государыня, — сказал Франциск II, — разве не достаточно уже королю Франции знать о том, что будет пролита кровь стольких знатных вельмож? Надо ли делать из этого празднество?

— Но, государь, это должно послужить примером всем остальным, — заметила Екатерина.

— У вашего отца и дяди был обычай присутствовать при сожжении еретиков, — сказала Мария Стюарт.

— Короли, которые царствовали до меня, поступали каждый по-своему, а я хочу поступить так, как нахожу нужным, — ответил король.

— Филипп II, — возразила Екатерина, — который, без сомнения, является великим монархом, недавно, будучи в Нидерландах, велел отложить акт веры до своего возвращения в Вальядолид.

— А вы что на это скажете, кузен? — спросил король принца Конде.

— Государь, вам этого все равно не избежать. Надо, чтобы при этом присутствовали и папский нунций и все послы. А если там собираются быть и дамы, то я охотно присоединюсь к ним…

Встретив взгляд Екатерины Медичи, принц Конде стал смелее: решение его было принято.

В то время как принц Конде въезжал в замок Амбуаз, придворный меховщик обеих королев прибыл из Парижа: волнения последних дней повергли в тревогу всю его семью и семью Лаллье. Когда старик появился у ворот замка, в ответ на все его просьбы капитан дворцовой гвардии сказал ему:

— Слушай, старик, если ты не хочешь, чтобы тебя повесили, лучше не показывайся сейчас при дворе.

Услыхав эти слова, убитый горем отец отошел на несколько шагов от ворот, сел на перила и стал ждать, не пройдет ли кто-нибудь из слуг или служанок той или другой королевы, надеясь узнать от них что-нибудь о судьбе сына. Но за весь день он не увидел ни одного знакомого лица и вынужден был ни с чем возвратиться в город. Ему стоило немалого труда снять комнату

в гостинице, расположенной на площади, где совершались казни. Чтобы получить комнату с окнами на площадь, ему пришлось платить по ливру за сутки. На следующий день он набрался храбрости и стал смотреть из окна на казнь тех участников мятежа, которых, как людей не особенно значительных, приговорили к колесованию и повешению.

Синдик цеха меховщиков обрадовался уже тому, что среди осужденных на смерть сына его не оказалось. Когда казнь совершилась, он пошел навстречу секретарю суда. Назвав себя, он вручил ему туго набитый кошелек и просил его справиться, не было ли в числе казненных за эти три дня человека по имени Кристоф Лекамю. Секретарь, тронутый видом и голосом несчастного отца, привел его к себе. Тщательно просмотрев все списки, он заверил старика, что ни среди казненных, ни среди тех, которых должны были казнить в ближайшие дни, имени Кристофа не значилось.

— Дорогой мой, — сказал секретарь синдику, — верховный суд занят сейчас делами вельмож, замешанных в заговоре, и вождей мятежников. Поэтому весьма возможно, что ваш сын содержится сейчас в замковой тюрьме и будет казнен

в день грандиозной казни, которую готовят наши вельможи — герцог Гиз и кардинал Лотарингский. В этот день должны будут отрубить головы двадцати семи баронам, одиннадцати графам и семи маркизам; все эти пятьдесят человек — знатные дворяне и вожди реформатов. Суд графства Турень неподведомствен парижскому парламенту, и поэтому, если вам непременно хочется узнать все новости о вашем сыне, вам следует повидать канцлера Оливье, которому герцог Гиз дал большие полномочия для ведения процесса.

Несчастный старик три раза делал попытку пробраться к канцлеру и ожидал его во дворе, в обществе многочисленных родственников осужденных, которые хлопотали за своих близких. В силу того, что титулованные особы пропускались к канцлеру в первую очередь, старику пришлось отказаться от мысли добиться аудиенции, хотя он и видел канцлера несколько раз, когда тот выходил из своего дома и отправлялся или в замок, или в созданную парламентом комиссию, пробираясь через густые ряды просителей, которых, стремясь очистить проход, оттесняла стража. Это была картина страшного человеческого горя: среди просителей были жены, дочери и матери, целые семьи, проливавшие слезы. Старик

Лекамю пораздавал много золота дворцовым слугам, прося их вручить письмо или Дайель, камеристке королевы Марии, или камеристке королевы-матери. Но слуги принимали от него деньги, а потом по приказу кардинала передавали все письма придворному прево. Неслыханная жестокость, с которой оба Лотарингца расправлялись со своими врагами, заставляла их бояться отмщения, и никогда еще они не принимали таких мер предосторожности, как теперь, во время пребывания двора в Амбуазе. Таким образом, ни подкуп, самое действенное из средств, ни все старания синдика что-либо узнать о судьбе сына ни к чему не привели. С горестным видом проходил Лекамю по улицам городка, глядя, как по приказу кардинала делались большие приготовления к страшным казням, при которых должен был присутствовать принц Конде. От Парижа и до Нанта народ зазывали туда всеми средствами, которые были в ходу в ту эпоху. Все церковные проповедники и все кюре, возвещая с церковных кафедр о победе короля над еретиками, объявляли о готовившейся расправе. На площадке замка Амбуаз, которая возвышалась прямо над местом, где должны были совершаться казни, были поставлены три богато украшенных помоста, из

которых один в середине особенно выделялся своей роскошной отделкой. По обеим сторонам этой площадки сооружались деревянные трибуны для размещения огромной толпы народа. Его старались привлечь сюда торжественностью, с которой был обставлен этот *акт веры.* Накануне этого страшного дня около десяти тысяч человек собрались в окрестностях города и разбили там лагерь. Все крыши домов были забиты людьми, и окна нанимались по цене до десяти ливров, что для того времени составляло огромную сумму. Несчастный отец, как и следовало ожидать, занял одно из лучших мест, чтобы хорошо видеть ту арену, на которой должно было погибнуть столько знати. Посреди площади был воздвигнут огромный эшафот, покрытый черным сукном. Утром этого рокового дня туда была принесена плаха, на которую осужденный должен был класть голову, встав для этого на колени, и обитое черной материей кресло для секретаря суда, которому полагалось по очереди вызывать осужденных и оглашать приговор. Ограда площади с самого утра охранялась королевскими жандармами и ротой шотландской гвардии, чтобы не дать толпе заполнить площадь раньше, чем начнется казнь.

После того как в замке и в городских церквах были отслужены торжественные мессы, на площадь вывели знатных вельмож, последних из заговорщиков, которые еще оставались в живых. Всех этих людей, многим из которых пришлось перенести пытки, собрали у подножия эшафота. Монахи стали напутствовать осужденных; они пытались заставить их отречься от учения Кальвина. Однако ни один из заговорщиков не стал слушать этих посланцев кардинала Лотарингского, опасаясь, что среди них окажутся шпионы. Чтобы избавиться от преследования своих противников, они громко запели псалом, который поэт Клеман Маро переложил на французские стихи. Как известно, Кальвин постановил, чтобы в каждой стране богослужение совершалось на родном языке, руководствуясь при этом как здравым смыслом, так и стремлением подорвать традиции католицизма. Родственники приговоренных, стоявшие среди толпы и проливавшие слезы по своим близким, были поражены и растроганы, услыхав, как при появления придворных мученики запели:

Отец наш, душам греховным
Прощенья мир подари

И светом своим любовным
Наш смертный час озари.

Все взгляды реформатов устремились на их вождя, принца Конде, которого нарочно посадили между королевой Марией и герцогом Орлеанским. Королева Екатерина Медичи сидела рядом с сыном, а слева от нее находился кардинал. Папский нунций стоял за спиною обеих королев. Верховный главнокомандующий разъезжал на коне возле помоста вместе с двумя маршалами Франции и своими генералами. Едва только появился принц Конде, как все осужденные на казнь дворяне, хорошо его знавшие, приветствовали его поклоном, и горбун бесстрашно ответил на их приветствия.

— Трудно заставить себя не быть учтивым к людям, которые идут на смерть, — сказал он, обращаясь к герцогу Орлеанскому.

Два других помоста были заполнены приезжими гостями, придворными и служащими двора. Все это были обитатели замка Блуа, которые переходили от празднеств к казням так же, как потом от радостей жизни к ужасам войны, с той удивительной легкостью, которая всегда будет благоприятствовать иностранцам в их полити-

ческих сношениях с французами. Несчастный синдик парижского цеха меховщиков несказанно обрадовался, убедившись, что среди пятидесяти семи осужденных на казнь сына его не оказалось. По знаку герцога Гиза секретарь суда, поднявшись на эшафот, громким голосом объявил:

— Жан-Луи Альберик, барон де Роне, виновный в ереси, государственной измене, в выступлении с оружием в руках против его величества короля.

Высокий статный мужчина поднялся на эшафот, поклонился народу и двору и сказал:

— Это ложь. Я взялся за оружие, чтобы защитить короля от его врагов — Лотарингцев.

С этими словами он опустил голову на плаху — и голова его покатилась вниз.

Реформаты пели:

Господь, пред жизнью блаженной
Ты нам этот искус дал
И, как металл драгоценный,
Огнем сердца испытал.

— Робер-Жан-Рене Брикмо, граф де Вилльмонжи, виновный в государственной измене и в покушении на жизнь его величества короля, — объявил секретарь.

Граф смочил руки в крови барона де Роне и сказал:

— Да падет эта кровь на истинных виновников!

Реформаты пели:

Пускай нас враг обесславил,
Силками опутав нас, —
Те сети господь расставил,
Он души от плена спас.

— Признайтесь, господин нунций, — сказал принц Конде, — что если французские дворяне умеют устраивать заговоры, то они умеют и умирать.

— Какую ненависть, брат мой, вы навлекли на голову детей наших, — сказала герцогиня де Гиз кардиналу.

— Мне что-то нехорошо, — пробормотал молодой король, весь побледнев при виде разлившейся крови.

— Полно, ведь это мятежники!.. — воскликнула Екатерина Медичи.

Пение продолжало звучать, а топор палача точно так же продолжал свое дело. В конце концов отвага и благородство людей, которые с песнями шли на смерть, и то впечатление, которое произ-

водили на толпу постепенно затихавшие песни, оказались сильнее страха перед Лотарингцами.

— Пощады! — закричал весь народ, когда слышен был только слабый голос сиятельного вельможи, который должен был умереть последним.

Он стоял один у лестницы, которая вела на эшафот, и пел:

Отец наш, душам греховным
Прошенья мир подари
И светом своим любовным
Наш смертный час озари.

— Послушайте, герцог, — сказал принц Конде герцогу Немурскому, устав от роли, которую ему пришлось играть, — вашими стараниями была одержана победа, и вы помогли захватить всех этих людей. Не находите ли вы, что теперь вам следовало бы просить о помиловании этого вельможи? Это Кастельно, и я слышал, что, когда он сдавался в плен, вы дали ему обещание обойтись с ним милостиво.

— Неужели вы думаете, что я до сих пор не пытался его спасти? — ответил герцог Немурский, задетый за живое жестоким упреком принца.

Секретарь очень медленно и, конечно, не без умысла растягивая слова объявил:

— Мишель-Жан-Луи, барон Кастельно-Шалос, обвиненный и уличенный в государственной измене и в покушении на жизнь его величества.

— Нет, — с гордостью возразил Кастельно. — Какое же это преступление — пойти против тирании Гизов и захвата власти, который они готовят?

Палач, который к тому времени уже устал, увидя какое-то замешательство среди присутствующих, отвел удар топора.

— Господин барон, — сказал он, — я не хочу вас попусту мучить, а ведь одно мгновение может оставить вас в живых.

Толпа снова закричала:

— Пощады!

— Быть по сему, — сказал король, — пощадим беднягу Кастельно, который спас герцога Орлеанского.

Кардинал сделал вид, что не понял значения слов короля: «Быть по сему». Он дал знак палачу, и голова барона скатилась с плахи в ту самую минуту, когда король его помиловал.

— Человек этот на вашей совести, кардинал, — сказала Екатерина Медичи.

На следующий день после этой кровавой расправы принц Конде уехал в Наварру.

Через месяц после отъезда принца на одной из дверей замка с внутренней его стороны были наклеены следующие стихи:

На Иезавель, жену Ахава,
Походит Генриха жена.
У той – Израиля страна,
У этой – Франции держава.
Забыв об истинах священных,
Та чтила идолов презренных;
А эта все из-за угла
Тиаре папской предала.
По-своему служили обе
Всю жизнь бесчестию и злобе.
У первой поднялась рука
На праведника-бедняка.
Но тысячи есть жертв невинных
На совести Екатерины.
Иезавель была жадна —
Корысть влекла ее одна;
А нашу, хоть корысть и гложет,
Одна лишь кровь насытить может.
Ты приговор прочти им сам:

Иезавель досталась псам;
Но дальше – не одно и то же,
Их участи не будут схожи:
Екатерины телеса —
Те смрадом отпугнут и пса.

Из этого можно видеть, что Гизы сумели возложить ответственность за все ужасы Амбуаза на Екатерину. Они так пристально следили за Наваррским принцем, что за все время своего пребывания там ему ни разу не довелось говорить с королевой-матерью наедине. Однако эта крайняя подозрительность окончательно убедила реформатов, что в случае нужды можно рассчитывать на поддержку Екатерины Медичи.

Впечатление, произведенное этими казнями на Францию и на иностранные дворы, было огромно. Пролитые тогда потоки дворянской крови так тяжело подействовали на канцлера Оливье, что этот достойный государственный муж, увидев наконец, какие цели ставят себе Гизы, якобы защищая святую веру и трон, почувствовал, что он не в силах дать им должный отпор. Невзирая на то что он был их ставленником, он не захотел жертвовать ради них своим долгом и королем и удалился на покой, сделав своим преемником

Лопиталя. Узнав об отставке Оливье, Екатерина предложила назначить канцлером Бирагу и очень яро настаивала на этой кандидатуре. Кардинал, которому не было известно содержание письма Лопиталя Екатерине и который считал его по-прежнему верным Лотарингскому дому, отдал ему предпочтение, и Екатерина сделала вид, что на этот раз уступила Гизам. Едва только Лопиталь стал канцлером, он принял свои меры против инквизиции, которую кардинал Лотарингский хотел учредить во Франции; он оказал решительное сопротивление всем антигалликанским политическим шагам Гизов и показал себя таким патриотом Франции, что, для того чтобы избавиться от него, Лотарингцам через три месяца после его назначения пришлось сослать Лопиталя в его поместье в Винье, близ Этампа.

Бедный Лекамю с нетерпением ожидал, когда двор покинет Амбуаз. Ему так и не удалось поговорить ни с королевой Марией, ни с королевой Екатериной, и он собирался улучить минуту, когда она, возвращаясь в Блуа, будет проезжать вдоль плотины. Боясь, чтобы его не приняли за шпиона, синдик переоделся бедным крестьянином и смешался с толпою нищих, которые выстроились на дороге. После отъезда принца

Конде герцог и кардинал считали, что реформаты уже притихли, и не стали так внимательно следить за каждым шагом королевы-матери. Лекамю знал, что вместо того, чтобы пользоваться носилками, Екатерина предпочитала ездить верхом на лошади. Ездила она с так называемой подножкой, особым видом стремени, изобретенным кем-то специально для нее, впрочем, может быть, даже и ею самой: у Екатерины болела нога, и поэтому она садилась боком, просовывая одну ногу в особую прорезь в седле и упирая ступни в бархатную подушку. А так как у королевы-матери были очень красивые ноги, считалось, что мода эта придумана ею нарочно, чтобы иметь возможность выставить их напоказ. Именно в силу того, что она ехала, повернувшись вбок, меховщику удалось попасться ей на глаза. Но как только она его узнала, она сделала вид, что рассержена его появлением.

— Уходи сейчас же отсюда, старик, чтобы никто не видел, как я говорю с тобой, — сказала она ему в тревоге. — Пусть парижские цехи изберут тебя депутатом в Генеральные штаты, и, когда ты поедешь в Орлеан, будь там на моей стороне. К тому времени ты кое-что узнаешь о своем сыне…

— А он жив? — спросил старик.

— Увы, — ответила королева, — я могу только надеяться, что да.

Лекамю вынужден был вернуться в Париж, привезя с собою мрачные слова Екатерины и держа в тайне известие о созыве Генеральных штатов, которое ему сообщила королева.

Спустя несколько дней кардинал Лотарингский получил доказательства того, что Наваррский двор был причастен к заговору реформатов. В Лионе, в Мувансе, в Дофине реформаты под водительством самого предприимчивого из принцев Бурбонского дома сделали попытку поднять восстание. Эта дерзкая выходка, совершенная уже после кровопролитных казней в Амбуазе, напугала Лотарингцев, и они предложили созвать Генеральные штаты в Орлеане с тем, чтобы покончить с еретиками при помощи средств, которые они держали в тайне. Екатерина Медичи, понимая, что национальное представительство может служить поддержкой ее политике, с радостью на это согласилась. Кардинал, который собирался захватить ускользнувшую от него добычу и уничтожить дом Бурбонов, созывал Генеральные штаты исключительно для того, чтобы вызвать в Орлеан принца Конде и короля Наваррского Антуана Бурбона, отца Генриха

IV, и хотел воспользоваться Кристофом, чтобы уличить принца Конде в измене трону, если только удастся заставить его подчиниться власти короля.

После того как Кристоф провел два месяца в тюрьме Блуа, однажды утром его положили на носилки и перенесли в плоскодонную парусную лодку; подгоняемая западным ветром, лодка эта пошла по направлению к Орлеану. Кристоф прибыл туда вечером; его тут же отвезли в знаменитую башню Сент-Эньян. Юноша не мог понять, для чего его переводят в другое место, но у него было достаточно времени, чтобы подумать о том, как себя вести и что его ожидает в будущем. Он провел там еще два месяца, лежа на своей койке и не будучи в состоянии пошевелить ногами. Кости его были переломаны. Когда он попросил вызвать городского хирурга, тюремщик ответил, что в отношении его ему даны такие строгие распоряжения, что даже пищу приносить ему он должен только сам и не имеет права никому этого поручать. Строгость, к которой прибегли для того, чтобы скрыть ото всех местонахождение узника, поразила Кристофа: ему казалось, что его должны или повесить, или освободить.

Он ровно ничего не знал о событиях в Амбуазе.

Несмотря на то что Екатерина Медичи тайно сообщила обоим принцам, что им лучше не покидать пределы своего королевства, оба они решили отправиться на заседание Генеральных штатов, настолько собственноручные письменные заверения короля их успокоили. И вот двор, расположившийся в Орлеане, не без удивления узнал от Гроло, канцлера Наваррского, о прибытии принцев крови.

Резиденцией Франциска II был дом Наваррского канцлера, являвшегося также и орлеанским бальи. Имя Гроло, который в силу каких-то причуд, свойственных этому времени, когда реформаты владели целыми аббатствами, совмещал две столь различные должности, — Гроло — орлеанского Жака Кера, одного из богатейших людей своей эпохи, было позабыто теми, в чьи руки перешел затем этот дом. Дом этот стал называться зданием суда, потому что он, по-видимому, был куплен у наследников Гроло или королем, или местными властями и в нем впоследствии помещался суд. Это прелестное здание, типичное жилище горожанина XVI века, отлично дополняет собой историю эпохи, когда король, знать и буржуазия состязались между собою в роскоши, изяществе и красоте жилищ, о

чем свидетельствует Варанжевиль, роскошная усадьба Анго и так называемый дом Геркулеса в Париже, существующий еще и в наши дни, но в таком виде, который приводит в отчаяние археологов и любителей средневековой старины. Трудно быть в Орлеане и не заметать ратуши на площади Этап. Так вот, это и есть прежнее здание суда, дом Гроло, самое знаменитое здание в Орлеане и вместе с тем самое заброшенное.

Взглянув на то, что осталось от этого дома, археолог поймет, как великолепен он был в ту пору, когда дома горожан были в большинстве своем деревянными и когда одни только знатные дворяне имели право на поместья слово, которое тогда говорило о многом. По-видимому, дом Гроло сделался тогда королевской резиденцией именно потому, что это было самое большое и самое роскошное здание во всем Орлеане. Как раз на площади Этап Гизы и король делали смотры городской страже, начальником которой на время пребывания короля в Орлеане был назначен г-н де Сипьер. Собор Святого Креста в то время еще только строился — он был завершен уже Генрихом IV, который хотел доказать этим искренность своего обращения. Территория собора была загромождена камнем и строительными

лесами; Гизы заняли дом епископа, который в наши дни уже разрушен.

В город были введены войска: Лотарингцы приняли такие меры, которые не оставляли сомнения в том, как мало свободы действий герцог и кардинал собирались предоставить Генеральным штатам. Депутаты Генеральных штатов, прибывшие в город, селились в самых жалких лачугах и платили за них втридорога. Поэтому придворные и городская стража, знать и горожане — все ждали какого-нибудь большого события, и ожидания их оправдались, едва только прибыли принцы крови. Когда оба принца появились в покоях короля, кардинал Лотарингский на глазах у всего двора повел себя вызывающе: заявляя во всеуслышание о своих притязаниях, кардинал не потрудился даже снять шапки, в то время как король Наваррский стоял перед ним с непокрытой головой. В эту минуту Екатерина Медичи опустила глаза, чтобы негодование ее не было замечено. Произошло крупное объяснение между юным королем и обоими представителями младшей ветви королевского рода; оно было коротким, ибо после первых же приветствий принца Конде Франциск II произнес страшные слова:

— Мои кузены, я думал, что с амбуазским делом

покончено; оказывается, нет, и нам приходится сожалеть о нашей снисходительности.

— Это не ваши слова, а слова Гизов, — ответил принц Конде.

— Прощайте, принц, — оборвал его молодой король, покрасневший от гнева.

В большом зале два капитана королевской гвардии преградили принцу дорогу. Как только к нему приблизился капитан французской гвардии, Конде вынул из кармана письмо и сказал так, чтобы его слышал весь двор:

— Может быть, вы прочтете вслух то, что здесь написано, господин де Майе-Брезе?

— Охотно, — ответил капитан. — «Кузен мой, приезжайте совершенно спокойно, я даю вам мое слово короля, что вас здесь никто не тронет. Если вам нужен пропуск, подтверждающий это, вот он».

— А подпись есть? — спросил язвительный и бесстрашный горбун.

— Подписано: «Франциск», — сказал Майе.

— Нет, не так, — возразил принц. — Подписано: «Любящий вас кузен и друг Франциск»! Господа, — крикнул он шотландской гвардии, — я последую за вами в тюрьму, куда приказал меня заключить король. В этом зале достаточно людей

знатных, чтобы все это понять!

Воцарившееся в зале глубокое молчание должно было образумить Гизов, но правители меньше всего прислушиваются к молчанию.

— Ваше высочество, — сказал кардинал Турнонский, который после казней в Амбуазе всюду сопровождал принца. — В Лионе, в Мувансе, в Дофине вы поднимали восстание против короля. Король ничего об этом не знал, когда писал вам это письмо.

— Какие плуты! — вскричал горбун и расхохотался.

— Вы во всеуслышание заявили, что вы против мессы и за еретиков…

— Мы можем делать у себя в Наварре все, что хотим, — сказал принц.

— Вы хотите сказать — в Беарне? Но вы должны уважать его королевское величество, — ответил ему президент парламента де Ту.

— Ах, так вы здесь, господин президент! — воскликнул принц, и лицо его приняло ироническое выражение. — Вы что, здесь вместе со всем парламентом?

Сказав это, принц бросил на кардинала исполненный презрения взгляд и покинул зал; он понял, что жизнь его в опасности. Когда на

следующий день г-да де Ту, де Виоль, д'Эспесс, генеральный прокурор Бурден и секретарь суда дю Тилле вошли к нему в камеру, он разговаривал с ними стоя и выразил сожаление по поводу того, что они взялись за дело, которое их не касается. Потом он сказал секретарю:

— Пишите!

И продиктовал ему:

«Я, Луи Бурбон, принц Конде, пэр королевства, маркиз Конти, граф Суассонский, французский принц крови, решительно заявляю, что не признаю никакой комиссии, назначенной, чтобы меня судить, ибо существуют привилегии, распространяющиеся на всякого члена королевской семьи, в силу которых допрашивать и судить меня может только парламент при участии всех пэров, всех палат и самого короля в качестве председателя».

— Вы должны это знать лучше других, господа. Вот все, что я имею вам сообщить. В остальном я полагаюсь на свои права и на господа бога.

Однако, невзирая на упорное молчание принца, судьи приступили к делу. Король Наваррский находился на свободе, но за ним следили. Его положение отличалось от положения его брата только тем, что тюрьма его оказалась простор-

нее. И он, и принц Конде должны были сложить головы в один день.

Приказ кардинала и верховного главнокомандующего требовал содержать Кристофа в тюрьме в строгой тайне, чтобы судьи получили доказательства виновности принца. Письма, обнаруженные у Ла Саня, секретаря принца, понятные для государственных деятелей, были не очень ясны для судей. Кардинал задумал неожиданно свести принца с Кристофом. С этой-то целью он и поместил последнего в нижнюю камеру башни Сент-Эньян, окно которой выходило на тюремный двор. Кристоф неизменно и последовательно все отрицал, и в силу этого дело его затянулось до самого открытия Генеральных штатов.

XII. Амбруаз Паре

Лекамю, которого горожане Парижа действительно избрали депутатом от третьего сословия, прибыл в Орлеан через несколько дней после ареста принца. Новость эта, которую ему сообщили в Этампе, удвоила его беспокойство, ибо он был единственным человеком, знавшим о свидании своего сына с принцем на Мосту Менял, и догадывался, что участь Кристофа неразрывно связана с участью бесстрашного вождя реформатов. Поэтому он решил приглядеться поближе к тем скрытым силам, которые, враждуя друг с другом, действовали при дворе с момента открытия Штатов, дабы найти какой-нибудь способ спасти сына. О королеве Екатерине нечего было и думать: она ведь не захотела даже видеть своего меховщика. Ни один из придворных, которых он встречал, не мог ему сообщить ничего определенного о Кристофе, и старик дошел до такого отчаяния, что подумывал уже о том, чтобы обратиться к самому кардиналу, когда он вдруг узнал, что г-н де Ту запятнал свое имя, дав согласие быть одним из судей принца Конде. Синдик отправился к бывшему покровителю своего сына и узнал

от него, что Кристоф еще жив, но находится в тюрьме.

Перчаточник Турильон, к которому Ла Реноди направил Кристофа, предложил сьёру Лекамю комнату у себя в доме на все время, пока будут заседать Штаты. Турильон считал, что меховщик, так же как и он сам, втайне придерживается религии реформатов. Но очень скоро он убедился, что отец, который боится потерять сына, уже не умеет различать оттенков религии: забыв обо всем на свете, он бросается в объятия бога и не задумывается над тем, в какие одеяния люди его облекают. Старик, все старания которого ни к чему не привели, как потерянный, бродил по улицам. Вопреки его ожиданиям, деньги ему нисколько не помогли. Г-н де Ту предупредил его, что при малейшей попытке подкупить кого-либо из ставленников Гизов он сразу же попадется, ибо герцог и кардинал зорко следят за всем, что касается Кристофа. Этот судья, чья слава несколько омрачается ролью, которую он тогда играл, попытался вселить в старика какую-то надежду. Но сам он был в такой тревоге за своего крестного сына, что все его утешения только еще больше напугали меховщика. Старик бесцельно бродил вокруг дома. За три месяца он совсем осунул-

ся. Последней его надеждой были узы дружбы, издавна соединявшие его с Гиппократом XVI века. Однажды, выходя от короля, Амбруаз действительно попытался поговорить с королевой Марией. Но стоило ему только упомянуть имя Кристофа, как дочь Стюартов, которая предавалась мрачным мыслям о том, что случится с ней, если король погибнет, считая, что внезапная болезнь его вызвана попыткой реформатов его отравить, ответила:

— Если бы мои дяди слушались меня, этого фанатика давно бы повесили!

Вечером того дня, когда Паре сообщил этот ответ своему другу Лекамю на площади Этап, старик вернулся к себе, еле держась на ногах от горя; от ужина он отказался.

Турильон встревожился, поднялся наверх в комнату старика и застал своего постояльца в слезах. А так как набухшие края век на его старческом лице были изборождены морщинами и покраснели от слез, его хозяину показалось, что он плачет кровью.

— Успокойтесь, отец мой, — сказал реформат, — жители Орлеана возмущены тем, что солдаты господина де Сипьера охраняют наш город и ведут себя в нем как завоеватели. Знайте, что, если

только жизнь принца Конде будет в опасности, мы сейчас же разрушим башню Сент-Эньян; все население стоит за реформатов, и в городе вспыхнет восстание. Будьте в этом уверены!

— Пусть даже Лотарингцев повесят. Вернет ли мне их смерть моего сына? — спросил обезумевший от горя отец.

В эту минуту внизу кто-то тихонько постучал в дверь. Турильон спустился, чтобы открыть. Была уже ночь. В это тревожное время каждый владелец дома старался быть очень осторожным. Турильон посмотрел в маленькое решетчатое окошечко входной двери и увидел неизвестного ему человека, одетого во все черное. По акценту можно было определить, что это итальянец. Незнакомец сказал, что ему нужно переговорить с Лекамю по торговым делам. Турильон открыл дверь. Увидев вошедшего, Лекамю весь задрожал. Но незнакомец успел приложить палец к губам. Лекамю понял этот жест и сказал:

— Вы, конечно, хотите предложить мне меха?

— Si[112], — скромно ответил незнакомец по-итальянски.

Это был знаменитый Руджери, астролог коро-

---

[112] Примечания: 112
Да *(ит.).*

левы-матери. Турильон ушел к себе, понимая, что он здесь лишний.

— Где мы можем поговорить, не боясь, что нас услышат? — спросил осторожный флорентинец.

— Лучше всего было бы выйти за город, — ответил Лекамю, — но никто нас сейчас не выпустит. Вы знаете, как строго охраняются все ворота. Никому нельзя выйти из города без особого разрешения господина де Сипьера, даже мне, депутату Генеральных штатов. Надо будет на завтрашнем заседании сказать о том, как здесь стесняют нашу свободу.

— Ройте землю, как крот, — только так, чтобы лап ваших никто не видел, — сказал ему хитрый флорентинец. — Завтрашний день действительно должен быть решающим. Мои наблюдения подсказывают мне, что завтра или послезавтра вы, может быть, вернете вашего сына.

— Да услышит вас господь, хоть и говорят, что дела у вас только с дьяволом!

— Тогда пойдемте ко мне, — улыбаясь, сказал астролог. — Чтобы я мог созерцать звезды, мне отвели башню сьёра Туше де Бове, помощника бальи, дочь которого очень нравится маленькому герцогу Орлеанскому. Я составил гороскоп этой девочки. Действительно, ее ждут великие

почести и любовь короля. Помощник бальи — человек неглупый, он любит науки. Поэтому королева и поселила меня у этого молодца; он достаточно умен и, выдавая себя за ярого сторонника Гизов, ожидает, когда на престол взойдет Карл Девятый.

Меховщик и астролог, никого не встретив и никем не замеченные, дошли до дома сьёра Бове.

Флорентинец решил, что, если только кто-нибудь узнает о том, что Лекамю у него был, он все объяснит просьбой старика предсказать по звездам участь Кристофа. Когда они поднялись на башню, где был устроен кабинет астролога, Лекамю спросил:

— Могу ли я быть уверен, что сын мой жив?

— Да, он еще жив, — ответил Руджери, — но его надо спасти. Вы торгуете звериными шкурами. Так вот, знайте, что вашей несдобровать, если вы когда-нибудь в жизни хоть одним словом обмолвитесь о том, что я вам сейчас скажу.

— Предупреждать меня об этом не к чему. Я ведь был поставщиком двора еще при покойном Людовике Двенадцатом. Это уже четвертое царствование на моем веку.

— Вы скоро скажете — пятое, — промолвил Руджери.

— Что вам известно о моем сыне?

— Его подвергли пыткам.

— Мой бедный мальчик! — простонал старик и простер руки к небу.

— Ему немного подробили колени и лодыжки, но он завоевал королевскую милость, и она не оставит его всю жизнь, — быстро сказал флорентинец, видя ужас на лице старика. — Ваш маленький Кристоф оказал услугу нашей великой королеве Екатерине. Если мы сумеем вырвать вашего сына из когтей Лотарингца, вы увидите, что он рано или поздно станет членом парламента. Стоит ведь переломать себе все кости, чтобы заслужить милость этой великой государыни, этой всесильной женщины, для которой не будет никаких препятствий. Я составил гороскоп герцога Гиза: через год он будет убит. Так вот, Кристоф видел принца Конде…

— Если вам открыто будущее, то разве прошедшее для вас тайна? — спросил меховщик.

— А я вас ни о чем не спрашиваю, я только учу вас, как поступить. Знайте, ваш сын завтра случайно встретится с принцем Конде и, если он узнает его или принц узнает вашего сына, принцу отрубят голову. И только господь ведает, что станется тогда с его сообщниками! Успокойтесь. Ни

вашего сына, ни принца не казнят. Я составил их гороскоп: они будут жить. Я только не знаю, что их обоих спасет. Независимо от того, правильны или нет мои вычисления, мы примем необходимые меры. Завтра принц получит из верных рук молитвенник, в котором будет важная записка. Сына вашего предупредить мы не в силах. Да поможет ему господь быть осторожным! Один только взгляд будет стоить жизни принцу. Поэтому, хотя у королевы-матери и есть все основания полагаться на верность Кристофа…

— Его тяжело пытали! — воскликнул Лекамю.

— Не говорите так! Неужели вы думаете, что королева этим не озабочена? Именно поэтому она в своих действиях будет сообразоваться с тем, что Гизы решили казнить принца. И она правильно поступает, наша мудрая, рассудительная королева! Так вот, она рассчитывает на вашу помощь. Вы пользуетесь некоторым влиянием среди третьего сословия: вы избраны парижскими цехами. Если сторонники Гизов будут обещать вам освободить вашего сына, постарайтесь обмануть их и поднимайте все свое сословие против Гизов. Требуйте, чтобы королеву-мать сделали регентшей; завтра, во время заседания Генеральных штатов, король Наваррский даст на это свое согласие.

— А как же король?

— Король умрет, — ответил Руджери. — Я составил его гороскоп. Исполнить просьбу королевы в том, что касается Генеральных штатов, — дело совсем нехитрое. Но она ждет от вас еще и другой, более значительной услуги. Вы в свое время помогали Амбруазу Паре, вы его друг.

— Амбруаз любит сейчас герцога Гиза больше, чем меня. И он прав: своим назначением он обязан ему. Но он хранит верность королю. Поэтому, несмотря на то, что он сочувствует Реформации, он никогда не поступится своим долгом.

— Черт бы побрал всех этих честных людей! — воскликнул флорентинец. — Амбруаз сегодня вечером хвастался, что вылечит молодого короля. А если король поправится, Гизы восторжествуют, принцев казнят, дом Бурбонов перестанет существовать, мы возвратимся во Флоренцию, вашего сына повесят, и Лотарингцы погубят немало других сынов Франции…

— Боже милосердный! — воскликнул Лекамю.

— Не надо ничему ужасаться, так может вести себя только мещанин, ничего не понимающий в придворной жизни. Ступайте сию же минуту к Амбруазу и узнайте, что он собирается предпринять, чтобы спасти короля. Если у вас будут

какие-нибудь точные сведения, вы придете ко мне и расскажете, какую операцию он хочет сделать и почему он так в ней уверен.

— Но… — сказал Лекамю.

— Повинуйтесь слепо, дорогой мой, иначе вы растеряетесь.

«Он прав», — подумал меховщик.

И он отправился к первому хирургу короля, который жил в особняке на площади Мартруа.

Политическое положение Екатерины Медичи в ту пору было столь же трудным, как и тогда, когда Кристоф видел ее в Блуа. Она окрепла в борьбе, она извлекла прекрасный урок из своего первого провала, но в то же время, хотя обстоятельства и не изменились, они стали более серьезными и более опасными, чем были до мятежа в Амбуазе. Вместе с ростом ее могущества росли и события. Несмотря на то что в глазах людей Екатерина действовала заодно с Лотарингцами, она держала в своих руках все нити искусно сплетенного заговора против своих страшных союзников и ждала благоприятной минуты, чтобы сбросить маску. Кардинал только что получил точные сведения о том, что Екатерина его обманула. Эта хитрая итальянка понимала, что младшая ветвь королевского дома мешает Гизам осуществить свои

притязания. Поэтому, несмотря на то, что оба Гонди советовали ей не препятствовать кардиналу и герцогу учинить расправу с Бурбонами, она поступила иначе. Когда Лотарингцы, сговорившись с Испанией, задумали овладеть Беарном, она вовремя предупредила королеву Наваррскую об их планах, не дав им осуществиться. А так как об этой государственной тайне знали только Гизы и королева-мать, то герцог и кардинал, убедившись в двуличности их союзницы, хотели выслать ее во Флоренцию. Чтобы удостовериться в том, что Екатерина изменила государству (Лотарингский дом государством считал себя), Гизы сообщили ей свое намерение разделаться с Наваррским королем. Предосторожности, которые сразу же после этого были приняты Антуаном Бурбоном, окончательно убедили обоих братьев, что и эта тайна, которую знали только трое, была разглашена королевой-матерью. Кардинал Лотарингский не преминул сразу же упрекнуть Екатерину Медичи в том, что она нарушила верность Франциску II, и объявил ей, что, если она и впредь будет вести себя столь же вероломно и ставить под угрозу свою страну, они издадут эдикт об ее изгнании из пределов Франции. Екатерине, положение которой стало крайне опасным, приходилось дей-

ствовать с решимостью великого государя. И она оказалась способной на такую решимость. Надо только отдать должное ее приближенным — они оказали ей неоценимую помощь. Лопиталь прислал королеве записку следующего содержания:

«Не допускайте, чтобы принца крови казнили по решению комиссии: иначе скоро схватят и вас!»

Екатерина отправила Бирагу в Винье, чтобы вызвать на заседание Штатов канцлера, хотя он и был в то время в опале. Бирага прибыл в ту же ночь и остановился в трех лье от Орлеана вместе с Лопиталем, от которого королева-мать получила столь грозное предостережение. Киверни, в верности которого Гизы имели уже все основания усомниться, бежал из Орлеана и после бешеной скачки, которая едва не стоила ему жизни, за десять часов добрался до Экуана. Он сообщил коннетаблю Монморанси об опасности, грозящей его племяннику принцу Конде, и о дерзости Лотарингцев. Анн де Монморанси пришел в ярость, узнав, что, если бы не внезапная болезнь Франциска II, ставшая для него смертельной, принца уже не было бы в живых; он собрал полторы тысячи вооруженных всадников и сотню дворян и двинулся на Орлеан. Чтобы застать Гизов врасплох, он отправился в обход Парижа, из Экуана в

Корбейль, а из Корбейля в Питивье через долину Эссонны.

«Полководцы воюют, страна горюет», — сказал он по поводу этого стремительного марша войск.

Анн де Монморанси, спасший Францию, когда Карл V вторгся в Прованс, и герцог Гиз, приостановивший наступление императора на Мец, действительно были самыми крупными военачальниками этой эпохи. Екатерина выбрала наиболее подходящий момент, чтобы разжечь ненависть коннетабля, оттесненного Лотарингцами. Тем не менее маркиз де Симёз, командовавший гарнизоном в Жьене, узнав о прибытии значительных военных сил, возглавляемых коннетаблем, вскочил на коня и поскакал в Орлеан, чтобы предупредить Гизов.

Уверенная, что коннетабль явится на помощь своему племяннику, и не сомневаясь в беззаветной преданности канцлера трону, королева-мать возродила надежды реформатов и подняла их упавший дух. Оба Колиньи и все друзья дома Бурбонов объединились со сторонниками королевы-матери. Внутри Штатов незаметно образовалась коалиция между двумя противоположными лагерями, которым грозил один общий враг. И тогда уже во всеуслышание ста-

ли говорить о том, чтобы назначить Екатерину регентшей королевства в случае, если Франциск II умрет. Екатерина, которая верила в астрологические предсказания больше, чем в таинства церкви, пошла на все, видя, что сын ее умирает и что событие это приходится как раз на сроки, указанные ей знаменитой гадалкой, которую Нострадамус привозил в замок Шомон.

За несколько дней до трагического окончания своего царствования Франциск II решил совершить прогулку по Луаре, чтобы не оставаться в городе, когда будут казнить принца Конде. После того как король передал принца в руки кардинала Лотарингского, он все время боялся, что вспыхнет восстание и что принцесса Конде явится к нему с мольбами. Когда Франциск II уже собирался садиться в лодку, ему надуло в ухо холодным ветром, какие обычно свирепствуют в долине Луары, когда приближается зима, и сильнейшая боль заставила его тут же вернуться. Его уложили в постель, и он уже больше не встал. Вопреки тому, что говорили врачи, которые, за исключением Шаплена, были его ярыми противниками, Паре уверял, что у короля в голове образовался гнойник и что чем раньше гнойник этот будет вскрыт, тем больше надежды на спа-

сение жизни. Несмотря на то что час уже был поздний и приказ тушить по ночам все огни строго применялся в Орлеане, городе, который находился на осадном положении, в окне Амбруаза Паре горел свет: врач не смыкал глаз. Лекамю окликнул его с улицы, и когда хирург услыхал, что его хочет видеть старый друг, он приказал открыть меховщику дверь.

— Я вижу, тебе и ночью нет покоя, Амбруаз, ты возвращаешь людям жизни, а свою, должно быть, хочешь укоротить, — сказал Лекамю, входя в комнату.

Глазам его предстали раскрытые книги и разбросанные везде инструменты. Хирург держал в руках продырявленную мертвую голову, которая, по-видимому, была отрезана от недавно похороненного трупа.

— Надо спасти короля.

— А ты твердо уверен, что это надо делать, Амбруаз? — воскликнул старик, весь дрожа.

— Как в том, что я сейчас жив. У короля, который всегда был моим покровителем, в голове образовался тяжелый гнойник, который давит на мозг, и смерть неизбежна. Но я хочу продолбить ему череп, рассчитывая тем самым выпустить гной и устранить это давление. Я уже трижды

проделывал подобную операцию; изобрел ее один пьемонтец, и мне выпало счастье ее усовершенствовать. Первый раз я сделал ее во время осады Меца господину де Пьену, которого я этим спас и который с тех пор даже поумнел: гнойник у него образовался после того, как выстрелом его ранили в голову. Второй раз я спас жизнь одному бедняку — я решил проверить благотворное действие рискованной операции, которой был подвергнут господин де Пьен. И, наконец, в третий раз в Париже я повторил ее на одном дворянине, который после нее отлично чувствует себя и сейчас. Называется она трепанацией, но название это мало кому известно. Больные отказываются от нее из-за грубости инструментов, но мне в конце концов удалось усовершенствовать мои инструменты. И вот я делаю сейчас свою операцию на этой голове, чтобы завтра она удалась на голове короля.

— Ты, должно быть, очень твердо во всем уверен, так как твоей собственной голове не поздоровится, если…

— Ручаюсь жизнью, что он поправится, — ответил Амбруаз с той уверенностью, которая свойственна людям гениальным. — Ах, старина, нужны ли вообще такие предосторожности, что-

бы пробуравить череп? Солдаты ведь обходятся без этого, когда они пробивают на войне черепа.

— Дорогой мой, — сказал храбрый меховщик, — а знаешь ли ты, что спасти короля — это значит погубить Францию? Знаешь ли ты, что, взявшись за это долото, ты водружаешь корону дома Валуа на голову Лотарингца, называющего себя наследником Карла Великого? Знаешь ли ты, что хирургия и политика сейчас на ножах? Да, великая победа твоего искусства принесет гибель всей нашей вере. Если Гизы останутся регентами, они снова зальют страну кровью реформатов! Будь же сейчас не великим хирургом, а великим гражданином и спи спокойно. Пусть здоровьем его величества занимаются другие врачи, ведь если они не вылечат короля, они вылечат Францию!

— Как! — воскликнул Паре. — Чтобы я дал умереть человеку, которого я в силах спасти? Нет! Нет! Даже если мне будет грозить виселица, как сторонникy Кальвина, все равно завтра я ранним утром пойду во дворец. Ты разве не понимаешь, что единственная милость, которой я буду просить у короля, когда я его спасу, — это жизнь твоего Кристофа? Я уверен, что настанет минута, когда королева Мария мне ни в чем не откажет.

— Увы, друг мой, — ответил Лекамю, — разве

молодой король не отказал принцессе Конде, умолявшей помиловать мужа? Не изменяй своей вере, оставляя в живых того, кто должен умереть.

— Ты что же, хочешь вмешаться в дела господа, который один знает грядущее? — воскликнул Паре. — У честных людей есть только одно правило жизни: «Исполняй свой долг, а там будь, что будет!» Этому правилу я следовал в Кале, когда приставил колено к лицу герцога. Его друзья, его слуги могли изрубить меня в куски, а вместо этого я стал придворным хирургом. Больше того, по убеждению я реформат, а Гизы мои друзья. Я спасу короля! — воскликнул хирург, полный светлой веры в свое дело, которая всегда свойственна гению.

В дверь постучали, и спустя несколько мгновений один из слуг Амбруаза передал Лекамю записку. Старик прочел вслух ее страшные слова:

— *«Близ монастыря францисканцев воздвигают эшафот, чтобы завтра казнить принца Конде».*

Амбруаз и Лекамю переглянулись. Оба были охвачены ужасом.

— Сейчас я все выясню, — сказал меховщик.

Руджери, дожидавшийся Лекамю на площади,

взял его под руку и стал выспрашивать, каким способом Амбруаз намеревался спасти короля. Но старик заподозрил, что его обманывают, и захотел сам увидеть эшафот. Тогда астролог и меховщик пошли вдвоем к монастырю францисканцев. Действительно, там при свете факелов работали плотники.

— Что это ты делаешь, друг мой? — спросил Лекамю плотника.

— Мы готовим виселицу для еретиков.

— Кровь, пролитая в Амбуазе, ничему их не научила, — ответил молодой монах-францисканец, наблюдавший за работой.

— Господин кардинал совершенно прав, — сказал осторожный Руджери. — В Италии с ними поступают иначе.

— А как?

— Брат мой, у нас их сжигают.

Лекамю вынужден был опереться на астролога. Он еле держался на ногах. Мысль о том, что завтра тело его сына будет болтаться на одной из этих виселиц, не выходила у него из головы. Несчастный старик стоял на распутье и не знал, что выбрать: обе науки — астрология и хирургия — обещали спасти Кристофа, а между тем эшафот уже воздвигался. Мысли его пришли в смятение,

и теперь флорентинец мог вить из него веревки.

— Ну, так что же, досточтимый торговец беличьими шкурками, как вам нравятся эти Лотарингские затеи? — спросил Руджери.

— О горе мне! Вы же знаете, что я дал бы содрать с себя шкуру, чтобы спасти сына!

— Такие слова действительно подходят для торговца горностаем, — ответил итальянец. — Расскажите мне как следует, что за операцию Амбруаз собирается делать королю, и я обещаю, что сын ваш будет жив…

— Неужели? — воскликнул старый меховщик.

— На чем же вам поклясться?.. — спросил Руджери.

И несчастный старик рассказал тогда флорентинцу о своем разговоре с Амбруазом. Едва только тот узнал, каким секретом владел знаменитый хирург, он мгновенно скрылся, оставив убитого горем старика одного.

— Для чего ему, нечестивцу, все это понадобилось? — воскликнул старик, видя, как Руджери быстрыми шагами направился на площадь Этап.

Меховщик ничего не знал о страшной сцене, разыгравшейся у королевской постели; вслед за ней последовал приказ воздвигнуть эшафот для принца, приговор которому был вынесен,

можно сказать, заочно и не приведен в исполнение только из-за болезни короля. В зале, на лестницах и во дворе суда находились только те, кто нес в это время службу. Толпа придворных заполнила резиденцию Наваррского короля: по существующим законам он должен был стать регентом. Французская знать, напуганная смелостью Гизов и видя, что королева-мать оказалась у них в рабском подчинении, чувствовала, что ей лучше всего держаться поближе к главе младшей ветви королевского дома. Они не могли понять, какова была политика итальянки. По тайному соглашению с Екатериной Антуан Бурбон должен был отказаться от регентства только после того, как по этому вопросу выскажутся Генеральные штаты. Когда, вернувшись с дозора, с которым он предусмотрительно обходил город, гофмаршал застал короля, окруженного одними только ближайшими друзьями, он не мог не заметить этого всеобщего отчуждения и встревожился. Комната, в которой поставили кровать Франциска II, примыкала к большому залу суда. В то время зал этот был отделан деревянной резьбой. Потолок был искусно выложен маленькими продолговатыми дощечками, затейливо разрисованными голубыми арабесками на золотом фоне. Часть

этих дощечек, которые были отодраны около пятидесяти лет тому назад, досталась одному любителю древностей. Эта комната, стены которой были покрыты гобеленами, а пол застлан ковром, была сама по себе настолько темной, что зажженные канделябры были бессильны рассеять этот мрак. Огромная кровать на четырех столбах с шелковым занавесом походила на гробницу. По одну сторону этой кровати находились королева Мария и кардинал Лотарингский. Екатерина сидела в кресле. Знаменитый Жан Шаплен, дежурный врач, которого сделали потом первым врачом Карла IX, стоял возле камина. В спальне царило гнетущее молчание. Франциск, изнуренный и бледный, так глубоко зарылся в одеяло, что его загримированное лицо было еле видно. Сидевшая рядом на табуретке герцогиня де Гиз помогала юной Марии, а г-жа Фьеско, стоя в амбразуре окна, следила за каждым словом и каждым взглядом королевы-матери, ибо она знала, как опасно положение Екатерины.

Несмотря на то что был уже поздний час, г-н де Сипьер, наставник герцога Орлеанского, назначенный теперь губернатором города, сидел в углу возле камина вместе с обоими Гонди. Кардинал Турнонский, видя, что кардинал Ло-

тарингский, бывший нисколько не выше его по сану, начинает смотреть на него сверху вниз, в эту критическую минуту перешел на сторону Екатерины. Он о чем-то разговаривал с обоими Гонди. Маршалы Вьельвиль и Сент-Андре, а также хранитель печати, который возглавлял Штаты, вполголоса обсуждали опасности, которые отныне грозили Гизам.

Гофмаршал прошел из одного конца залы в другой, быстро окинув взглядом всех присутствующих. Заметив среди них герцога Орлеанского, он поздоровался с ним.

— Монсеньор, — сказал он, — вот где вы можете научиться распознавать людей; вся наша католическая знать собралась сейчас у принца-еретика, считая, что Генеральные штаты назначат регентом потомка того самого предателя, который столько времени держал в заключении вашего знаменитого деда!

После этих слов, которые были рассчитаны на то, чтобы глубоко задеть принца, он прошел в покои, где, погруженный в тяжелую дремоту, лежал молодой король. В обычное время герцог Гиз умел придавать приятное выражение своему страшному, обезображенному шрамом лицу, но в эту минуту, видя, как орудие его власти гибнет,

он не нашел в себе сил улыбнуться. Кардинал, который был так же храбр в обществе, как его брат в бою, пошел навстречу верховному главнокомандующему.

— Роберте считает, что маленький Пинар продался королеве-матери, — шепнул он ему на ухо, уводя его в зал. — Им воспользовались, чтобы повлиять на членов Генеральных штатов.

— Ну и что же! Какое может иметь для нас значение предательство секретаря, если нас предают все вокруг! — воскликнул герцог. — Весь город за реформатов, и возмущение назревает. Да, эти *пройдохи* недовольны, — добавил он, называя жителей Орлеана их кличкой. — Если только Паре не спасет короля, поднимется страшное восстание. Очень скоро нам придется осаждать Орлеан, змеиное гнездо гугенотов.

— Я наблюдаю сейчас за этой итальянкой, она замерла и окаменела — она подстерегает смерть сына. Да простит ее господь! Я только думаю, не лучше бы нам было арестовать ее так же, как и короля Наваррского.

— Довольно и того, что мы посадили в тюрьму принца Конде, — сказал герцог.

У дверей здания суда послышался бешеный галоп лошади. Оба Лотарингца подошли к окну,

и при свете факелов, постоянно горевших у привратника и в кордегардии, герцог разглядел на шапке у всадника знаменитый лотарингский крест, носить который кардинал обязал всех своих сторонников. Он велел одному из находившихся в передней аркебузиров сказать, чтобы прибывшего впустили, и сам вместе с братом вышел встретить его на лестничную площадку.

— Что же случилось, милый Симёз? — завидев губернатора Жьена, спросил герцог с той особой приветливостью, с которой он всегда относился к людям военным.

— Коннетабль у ворот Питивье; он выехал из Экуана с полутора тысячами всадников и сотней дворян.

— А с ними есть и еще кто-нибудь? Они что, все со своими людьми? — спросил герцог.

— Да, монсеньор, — ответил Симёз, — их всего две тысячи шестьсот человек. Говорят, что Торе следует сзади со своей пехотой. Если коннетаблю придет в голову дожидаться сына, у вас будет время с ним разделаться…

— А больше ты ничего не знаешь? Что заставило их взяться за оружие?

— Анн не привык много говорить и много писать. Поезжайте ему навстречу, брат мой, а я буду

его приветствовать здесь отрубленной головой его племянника, — сказал кардинал и отдал приказ послать за Роберте.

— Вьельвиль! — воскликнул герцог, обращаясь к маршалу, который шел к нему. — Коннетабль стал настолько дерзок, что явился к нам вооруженным. Можете вы отвечать за порядок в городе, если я сейчас двинусь ему навстречу?

— Стоит вам только уехать, как горожане возьмутся за оружие. И кто знает, чем окончится схватка конницы с горожанами здесь, в этих узеньких улочках? — ответил маршал.

— Монсеньор, — сказал Роберте, быстро взбегая наверх по лестнице, — канцлер внизу у дверей и хочет войти. Впускать его или нет?

— Впустите, — ответил кардинал Лотарингский. — Оставлять коннетабля с канцлером было бы слишком опасно. Надо их разъединить. Королева-мать ловко нас одурачила, избрав на эту должность Лопиталя.

Роберте кивнул головой капитану, который дожидался ответа внизу, и быстро обернулся, чтобы выслушать распоряжение кардинала.

— Монсеньор, — сказал он, сделав над собою еще одно усилие, — я беру на себя смелость думать, что всякий приговор должен быть *утвер-*

жден королем на его Совете. Если только вы позволите себе нарушить закон в отношении принца крови, с законом перестанут считаться и тогда, когда речь зайдет о кардинале или о герцоге Гизе.

— Пинар тебя смутил, Роберте, — сурово сказал кардинал. — Разве ты не знаешь, что король подписал приговор в тот самый день, когда он был вынесен, и для того, чтобы мы привели его в исполнение.

— Что же, пускай, выполняя ваше поручение, которое, кстати сказать, надлежит выполнить городскому прево, я поплачусь головой, меня это не страшит, монсеньор. Я согласен.

Герцог с безразличным видом слушал весь этот спор. Потом он взял брата под руку и увел его в дальний угол зала.

— Разумеется, — сказал он, — наследники Карла Великого имеют право на корону, которую отнял у их дома Гюг Капет[113]. Только в силах ли они это сделать? Груша еще не поспела. Племянник наш умирает, а весь двор сейчас у Наваррского короля.

---

[113] Примечания: 113

Гюг Капет (ок. 940–996) — французский король (987–996), основатель династии Капетингов, боролся за власть с претендентом на престол — Карлом Лотарингским.

— У короля не хватило духу, не то беарнца просто бы закололи, — ответил кардинал, — и тогда нам легко было бы разделаться со всеми его детьми.

— Место мы выбрали неудачное, — сказал герцог. — Штаты будут поддерживать мятежников. Лопиталь, за которого мы так стояли, в то время как королева Екатерина его отвергала, стал нашим противником, а нам надо, чтобы закон был за нас. У королевы-матери слишком много сейчас сторонников, чтобы можно было ее сослать… Да к тому же остаются еще три принца!

— Она уже больше не мать, она прежде всего королева, — сказал кардинал. — Поэтому, мне думается, именно сейчас надо кончать с ней. Решимость и еще раз решимость! Вот мой девиз.

После этого кардинал вошел в покои короля. Его брат последовал за ним. Кардинал направился прямо к Екатерине.

— Вам передали содержание бумаг Ла Саня, секретаря принца Конде: вы знаете, что Бурбоны хотят лишить ваших сыновей престола? — спросил он.

— Я все это знаю, — ответила итальянка.

— Тогда прикажите арестовать Наваррского короля.

— Для этого есть верховный главнокомандующий королевства, — сказала Екатерина.

В эту минуту у Франциска II возобновились жестокие боли в ухе, и он начал жалобно стонать. Врач, который в это время грелся у камина, пошел осмотреть больного.

— Ну как? — спросил герцог, обращаясь к первому врачу.

— Я не могу решиться делать ему припарки, чтобы отвлечь воспаление. Господин Амбруаз обещал спасти короля операцией, я с этим не согласен.

— Отложим все до завтра, — равнодушно сказала Екатерина. — И пусть врачи будут в сборе. Вы ведь знаете, сколько клеветы поднимается, когда умирают принцы.

Она поцеловала руку сына и удалилась.

— До чего же спокойно эта дерзкая купеческая дочь говорит о смерти дофина, которого отравил Монтекуккули, флорентинец из ее свиты! — воскликнула королева Мария Стюарт.

— Мария! — закричал молодой король. — Дед мой никогда не сомневался в ее невиновности!..

— Не допускайте ее завтра к королю, — шепотом сказала Мария Стюарт своим обоим дядям.

— А что будет с нами, если король умрет? — от-

ветил кардинал. — Екатерина всех нас загонит в гроб.

Итак, в эту ночь вопрос о том, победит ли Екатерина Медичи или Лотарингцы, был поставлен со всей остротой. Прибытие канцлера и коннетабля означало мятеж, и следующее утро должно было все решить.

XIII. Как умер Франциск II

Утром королева-мать пришла первой. В спальне короля ее встретила только Мария Стюарт, бледная и усталая: она всю ночь провела у постели больного. При ней неотлучно находилась герцогиня де Гиз и придворные дамы, которые сменяли друг друга. Молодой король спал. Ни герцога, ни кардинала еще не было. Служитель церкви оказался решительнее солдата и в эту ночь употребил всю свою энергию, чтобы убедить брата сделаться королем, однако старания его ни к чему не привели. Балафре знал, что Генеральные штаты уже в сборе и что ему грозит сражение с коннетаблем Монморанси, и нашел, что обстоятельства не позволяют ему сейчас проявить власть: поэтому он отказался арестовать короля Наварры, королеву-мать, канцлера, кардинала Турнонского, обоих Гонди, Руджери и Бирагу, считая, что подобное насилие неминуемо повлечет за собой мятеж. Он решил, что осуществить планы своего брата он сможет, только если Франциск II останется жив.

В спальне короля царило глубочайшее молчание. Екатерина в сопровождении г-жи Фьеско

подошла к кровати. Она поглядела на сына, причем лицо изобразило разыгранную с большим искусством скорбь. Приложив к глазам платок, она ушла в амбразуру окна, куда г-жа Фьеско принесла ей кресло. Оттуда королева-мать стала внимательно следить за всем, что делается на дворе.

У Екатерины было условлено с кардиналом Турнонским, что, если коннетабль сумеет благополучно вступить в город, кардинал явится в сопровождении обоих Гонди, а если того постигнет неудача, он придет один. В девять часов утра оба Лотарингских принца вместе со всеми вельможами, остававшимися в зале, направились к королю. Дежурный капитан предупредил их, что Амбруаз Паре только что прибыл туда вместе с Шапленом и еще тремя врачами, приглашенными Екатериной. Все четверо ненавидели Амбруаза.

Через несколько минут богато убранный зал суда стал выглядеть совершенно так же, как кордегардия в Блуа в день, когда герцог Гиз был назначен верховным главнокомандующим королевства и когда Кристофа подвергли пытке, с тою только разницей, что тогда королевские покои наполняла радость и любовь, в то время как те-

перь в них царили печаль и смерть, а Лотарингцы чувствовали, что у них из рук ускользает власть.

Фрейлины обеих королев, разделившись на два стана, расположились у противоположных углов большого камина, где полыхал яркий огонь. Зал был полон придворных. Разнесенная кем-то весть о смелой попытке Амбруаза спасти жизнь короля привела во дворец всех вельмож, которые имели право там находиться, и они столпились на дворе и на лестнице зала суда. Придворных охватила тревога. Вид эшафота, воздвигнутого для принца Конде прямо против монастыря францисканцев, всех потряс. Люди говорили между собою тихо, и точно так же, как в Блуа, серьезное смешивалось с фривольным, пустое — с важным. Придворные начали уже привыкать к волнениям, к переменам, к вооруженным нападениям, к восстаниям, к неожиданно совершавшимся переворотам, заполнявшим собою те долгие годы, в течение которых угасала династия Валуа, как ни старалась Екатерина ее спасти. В комнатах, примыкающих к королевской спальне, охраняемой двумя вооруженными солдатами, двумя пажами и капитаном шотландской стражи, царила мертвая тишина. Антуан Бурбон, находившийся под арестом в своей резиденции, увидав, что все его покинули,

понял, какие надежды лелеял двор. Узнав о приготовлениях к казни брата, сделанных за ночь, он глубоко опечалился.

В зале суда возле камина стоял один из самых благородных и значительных людей своего времени, канцлер Лопиталь, в простой, отороченной горностаем мантии и в полагавшейся ему по званию бархатной шапочке. Этот отважный человек, увидев, что его покровители готовят мятеж, перешел на сторону Екатерины, которая в его глазах олицетворяла трон, и, рискуя жизнью, отправился в Экуан совещаться с коннетаблем. Никто не осмеливался вывести его из раздумья, в которое он был погружен. Роберте, государственный секретарь, два маршала Франции, Вьельвиль и Сент-Андре, хранитель печати, стояли возле канцлера. Ни один из придворных не позволял себе смеяться, но в разговоре их то и дело слышались язвительные замечания, исходившие главным образом из уст противников Гизов.

Кардиналу удалось наконец арестовать шотландца, убийцу президента Минара, и дело это начало разбираться в Туре. Вместе с тем в тюрьмы замка Блуа и Турского замка было брошено немало скомпрометированных дворян, дабы внушить страх всей остальной знати, которая больше

уже ничего не боялась. Обуреваемая мятежным духом и проникнутая сознанием своего былого равноправия с королем, эта знать стала искать опоры в Реформации. Но вот пленникам тюрьмы Блуа удалось бежать, и в силу какого-то рокового стечения обстоятельств их примеру последовали и узники Турской тюрьмы.

— Сударыня, — сказал кардинал Шатильонский г-же Фьеско, — если вас интересует судьба турских узников, то знайте, им грозит большая опасность.

Услыхав эти слова, канцлер обернулся к придворным дамам королевы-матери.

— Да, молодой Дево, шталмейстер принца Конде, который сидел в Турской тюрьме и который бежал оттуда, пустил очень злую шутку. Говорят, что он написал герцогу и кардиналу следующую записку:

«Мы слышали, что ваши узники бежали из тюрьмы Блуа. Нас это так возмутило, что мы пустились им вдогонку: как только мы их поймаем, мы вам их доставим».

Хотя шутка эта и была в стиле кардинала Шатильонского, канцлер окинул говорившего суровым взглядом. В эту минуту из опочивальни короля послышались громкие голоса. Оба маршала,

Роберте и канцлер направились туда, ибо речь шла не только о жизни и смерти короля, — весь двор уже знал об опасности, грозившей канцлеру, Екатерине и их сторонникам. Поэтому вокруг и воцарилась глубокая тишина. Амбруаз осмотрел короля, он находил, что есть все показания к операции и что, если ее сейчас не сделать, Франциск II может умереть с минуты на минуту. Едва только герцог и кардинал вошли, Паре объяснил им причины, вызвавшие заболевание короля, и, приведя доводы в пользу немедленной трепанации черепа как крайней меры, стал ждать распоряжения врачей.

— Что! Продырявить голову моего сына, как доску, и еще таким ужасным инструментом! — воскликнула Екатерина Медичи. — Нет, Амбруаз, я этого не допущу.

Врачи стали совещаться. Однако слова Екатерины были произнесены так громко, что их услыхали и в соседнем зале, а ей как раз это и было надо.

— Но что же делать, если другого средства нет? — сказала Мария Стюарт, заливаясь слезами.

— Амбруаз! — воскликнула Екатерина. — Помните, что вы отвечаете головой за жизнь короля.

— Мы не согласны с тем, что предлагает господин Амбруаз, — заявили все три врача. — Можно спасти короля, влив ему в ухо лекарство, которое оттянет весь гной.

Герцог, который внимательно следил за выражением лица Екатерины, подошел к ней и увел ее к окну.

— Ваше величество, — сказал он, — вы, должно быть, хотите смерти вашего сына, вы в сговоре с нашими врагами, и все это началось еще в Блуа. Сегодня утром советник Виоле сказал сыну вашего меховщика, что принцу Конде собираются отрубить голову. Этот юноша, несмотря на то что под пыткой он упорно отрицал всякую связь с принцем Конде, проходя мимо его окна, попрощался с ним кивком головы. Когда вашего злосчастного единомышленника пытали, вы глядели на него с истинно королевским равнодушием. Сейчас вы хотите воспрепятствовать спасению вашего старшего сына. Это заставляет нас думать, что смерть дофина, после которой вступил на престол покойный король, ваш муж, не была естественной смертью и что Монтекукули был вашим…

— Господин канцлер! — воскликнула Екатерина, и по ее знаку г-жа Фьеско распахнула

двустворчатую дверь.

Тогда глазам всех предстала королевская опочивальня; там лежал молодой король, мертвенно-бледный, с ввалившимися щеками, с потухшими глазами; единственным словом, которое он, не переставая, бормотал, было имя «Мария»; он не отпускал руки молодой королевы, которая плакала. Около постели стояла герцогиня Гиз, напуганная смелостью Екатерины; оба Лотарингца, точно так же встревоженные, находились подле королевы-матери: они решили арестовать ее, поручив это Майе-Брезе. Тут же находился знаменитый Амбруаз Паре, которому помогал королевский врач. В руках у Паре были инструменты, но начинать операцию он не решался, — для этого нужна была полная тишина, а равным образом и согласие всех врачей.

— Господин канцлер, — сказала Екатерина, — герцог и кардинал дают свое согласие подвергнуть короля странной операции. Амбруаз предлагает продырявить ему череп. Я, как мать и как член Регентского совета, против этого протестую, — мне кажется, что это — преступление против особы короля. Остальные врачи стоят за то, чтобы сделать впрыскивание, что, по-моему, столь же действенно, но зато менее опасно, чем

этот дикий способ Амбруаза.

Вслед за этими словами в зале послышался какой-то зловещий гул. Кардинал пропустил канцлера и закрыл за ним дверь.

— Но ведь я сейчас верховный главнокомандующий, — сказал герцог Гиз, — и вы знаете, господин канцлер, что королевский хирург Амбруаз отвечает за жизнь короля!

— Ах, вот оно что! — воскликнул знаменитый хирург. — Ну, хорошо, я знаю, что мне делать!

Он простер руку над постелью короля.

— И эта постель, и жизнь короля сейчас принадлежат мне. Я здесь единственный хирург и отвечаю за все. Я знаю, как я должен поступить, и буду делать королю операцию, не дожидаясь, когда врачи мне это прикажут…

— Спасите короля, — сказал кардинал, — и вы будете самым богатым человеком во Франции.

— Так начинайте скорее! — воскликнула Мария Стюарт, крепко сжимая руку Амбруазу.

— Я не в силах этому помешать, — сказал канцлер, — но я должен засвидетельствовать, что королева-мать протестует.

— Роберте! — закричал герцог Гиз.

Когда Роберте явился, верховный главнокомандующий указал ему на канцлера.

— Вы назначаетесь канцлером Франции на место этого предателя, — сказал он. — Господин де Майе, отведите господина Лопиталя в ту тюрьму, где сидит принц Конде. Знайте, ваше величество, что протест ваш не принят, а вам не худо было бы задуматься над тем, что действия свои следует подкреплять достаточными силами. Я поступаю как верноподданный и как преданный слуга господина моего, Франциска Второго. Начинайте, Амбруаз, — добавил он, поглядев на хирурга.

— Герцог Гиз, — сказал Лопиталь, — если вы только вздумаете применить силу к королю и к канцлеру Франции, то помните, что в этом зале находится достаточно французской знати, чтобы не дать воли изменникам…

— Послушайте, господа, — воскликнул знаменитый хирург, — если вы не прекратите сейчас ваших споров, вам скоро придется кричать: «Да здравствует король Карл Девятый!» — ибо король Франциск Второй умрет.

Екатерина продолжала бесстрастно смотреть в окно.

— Что же, нам придется применить силу, чтобы быть хозяевами в королевских покоях, — сказал кардинал, собираясь закрыть двери.

Но вдруг он ужаснулся: здание суда опустело,

и все придворные, уверенные в том, что король вот-вот умрет, поспешили перейти к Антуану Наваррскому.

— Делайте же все скорее! — вскричала Мария Стюарт Амбруазу. — И я и герцогиня, — сказала она, указывая на герцогиню Гиз, — мы вас поддержим.

— Ваше величество, — сказал Амбруаз, — я был увлечен моим планом, но за исключением моего друга Шаплена все врачи настаивают на впрыскивании, и я обязан им подчиниться. Если бы я был первым врачом и первым хирургом, жизнь короля была бы спасена! Дайте, я все сделаю сам, — сказал он, беря из рук первого врача спринцовку и наполняя ее.

— Боже мой, — воскликнула Мария Стюарт, — я же вам приказываю…

— Что делать, ваше величество, — сказал Амбруаз, — я исполняю волю господ врачей!

Молодая королева вместе с герцогиней Гиз встала посредине между хирургом, врачами и всеми остальными. Первый врач приподнял голову короля, и Амбруаз сделал ему впрыскивание в ухо. Герцог и кардинал внимательно за всем следили, Роберте и г-н де Майе пребывали в неподвижности. Г-жа Фьеско, по знаку Екатерины,

незаметно вышла из комнаты. В это мгновение Лопиталь стремительно распахнул двери королевской опочивальни.

Послышались чьи-то быстрые шаги, отдававшиеся эхом по залу. В ту же минуту в дверях королевской опочивальни раздался голос:

— Я прибыл как раз вовремя. Что же, господа, вы решили отрубить голову моему племяннику принцу Конде?.. Этим вы заставили льва выйти из своего логова, и вот он перед вами.

Это был коннетабль Монморанси.

— Амбруаз, — воскликнул он, — я не позволю вам копаться своими инструментами в голове моего короля! Короли Франции позволяют прикасаться к своей голове только оружию врага во время сражения! Первый принц крови Антуан де Бурбон, принц Конде, королева-мать и канцлер — все против этой операции.

К великому удовольствию Екатерины, следом за коннетаблем вошли король Наваррский и принц Конде.

— Что все это значит? — воскликнул герцог Гиз, хватаясь за кинжал.

— По праву коннетабля я снял стражу со всех постов. Черт возьми! Не враги же вас здесь окружают! Король, наш господин, находится среди

своих подданных, а Генеральные штаты должны пользоваться в стране полной свободой. Я пришел сюда, господа, от имени Штатов! Я представил туда протест моего племянника принца Конде, которого триста дворян сейчас освободили. Вы хотели пролить королевскую кровь, чтобы погубить нашу знать.

У меня больше нет доверия к вам, господа Лотарингцы.

Вы приказываете вскрыть череп королю. Клянусь вот этим мечом, которым его дед спас Францию от Карла V, вам никогда этого не удастся сделать…

— Тем более, — сказал Амбруаз Паре, — что мы уже опоздали: гной разливается…

— Вашей власти пришел конец, — сказала Екатерина Лотарингцам, увидев по лицу Амбруаза, что надежды уже нет никакой.

— Вы убили вашего сына, государыня! — закричала Мария Стюарт.

Она, как львица, метнулась от постели к окну, с силой схватив за руку флорентинку.

— Милая моя, — ответила Екатерина, смерив ее холодным и пристальным взглядом, пропитанным ненавистью, которую она сдерживала уже в течение полугода, — причина смерти короля не

что иное, как ваша неистовая любовь. Ну, а теперь вы поедете царствовать в свою Шотландию, и завтра же вашей ноги здесь не будет. Регентшей теперь стала я.

Врачи сделали какой-то знак королеве-матери.

— Господа, — сказала она, глядя на Гизов, — у нас условлено с господином Бурбоном, которого ныне Генеральные штаты назначили верховным главнокомандующим королевства, что всеми делами отныне ведаем мы. Господин канцлер!

— Король умер! — сказал гофмаршал, которому полагалось об этом объявить.

— Да здравствует король Карл Девятый! — вскричали дворяне, пришедшие вместе с королем Наваррским, принцем Конде и коннетаблем.

Церемониал, который обычно следует за смертью короля Франции, на этот раз совершался в тишине. Когда герольдмейстер после официального сообщения герцога Гиза трижды возвестил в зале: «Король умер!» — только несколько голосов повторили: «Да здравствует король!»

Едва только графиня Фьеско подвела к Екатерине герцога Орлеанского, которому через несколько мгновений суждено было стать королем Карлом IX, королева-мать ушла, держа сына за руку. За нею последовал весь двор. В комнате,

где Франциск II испустил дух, оставались только двое Лотарингцев, герцогиня Гиз, Мария Стюарт и Дайель, два стража у дверей, пажи герцога и кардинала и личные их секретари.

— Да здравствует Франция! — воскликнули несколько реформатов. Это были первые крики противников Гизов.

Роберте, на которого герцог и кардинал возлагали большие надежды, напуганный как их планами, так и постигшей их неудачей, втайне примкнул к королеве-матери, навстречу которой вышли послы Испании, Англии, Священной Римской империи и Польши. Их привел сюда кардинал Турнонский, который появился при дворе Екатерины Медичи в ту самую минуту, когда она стала протестовать против операции Амбруаза Паре.

— Итак, потомкам Людовика Заморского, наследникам Карла Лотарингского не хватило смелости, — сказал кардинал герцогу.

— Их все равно отправили бы в Лотарингию, — ответил тот. — Говорю тебе, Шарль, если бы мне надо было протянуть руку, чтобы взять корону, я бы этого не сделал. Пусть этим займется мой сын.

— А будет ли когда-нибудь у него в руках, как у

тебя, и армия и церковь?

— У него будет больше, чем это.

— Что же?

— С ним будет народ!

— Я одна только плачу о нем. Мой бедный мальчик! Он так меня любил! — повторяла Мария Стюарт, не выпуская похолодевшей руки своего супруга.

— Кто поможет мне договориться с королевой? — спросил кардинал.

— Подождите, пока она поссорится с гугенотами, — ответила герцогиня.

Столкнувшиеся интересы дома Бурбонов, Екатерины, Гизов, реформатов — все это привело Орлеан в такое смятение, что, когда спустя три дня гроб с телом короля, о котором все позабыли, увезли на открытом катафалке в Сен-Дени[114], его сопровождали только епископ Санлисский и двое дворян. Когда это печальное шествие прибыло в городок Этамп, один из служителей канцлера Лопиталя привязал к катафалку страшную надпись, которую история запомнила: «Танги-дю-Шатель, где ты? Вот ты был настоящим французом!» Этот

[114] Примечания: 114

Сен-Дени — аббатство в окрестностях Парижа, основано в VII веке королем франков Дагобером I; впоследствии усыпальница французских монархов.

жестокий упрек падал на голову Екатерины, Марии Стюарт и Лотарингцев. Какой француз не знал, что Танги-дю-Шатель истратил тридцать тысяч экю (на наши деньги миллион) на похороны Карла VII, благодетеля своего дома!

XIV. Женева

Едва только звон колоколов возвестил орлеанцам о кончине Франциска II и едва только коннетабль Монморанси заставил открыть ворота города, Турильон поднялся к себе на чердак и направился к потайному убежищу.

— Так он действительно умер? — воскликнул перчаточник.

При этих словах человек, находившийся там, встал с пола и ответил: «Готов служить!» Это был девиз реформатов, сторонников Кальвина.

Человек этот был Шодье. Турильон рассказал ему о событиях последней недели: все это время проповедник сидел в одиночестве, не выходя из своего тайника, где единственной его пищей были оставленные ему двенадцать фунтов хлеба.

— Беги, брат мой, к принцу Конде, попроси его дать мне охранную грамоту и найди лошадь! — воскликнул проповедник. — Мне надо сейчас же ехать.

— Напишите записку к нему, чтобы он меня принял.

— Вот она, — сказал Шодье и передал ему клочок бумаги, на котором было написано несколько

строк. — Возьми пропуск у короля Наваррского. Положение сейчас таково, что я должен спешить в Женеву.

Спустя два часа все было готово, и наш неистовый проповедник скакал уже в Швейцарию в сопровождении одного дворянина из свиты короля Наваррского; тот вез предписания реформатам Дофине; Шодье выдавал себя за его секретаря. Екатерина сумела использовать этот стремительный отъезд Шодье в своих интересах. Чтобы выиграть время, она предложила очень смелый план, который хранился в глубокой тайне. Этот удивительный план позволяет понять, почему ей сразу же удалось сговориться с главарями реформатов. Эта хитрая женщина, для того чтобы искренность ее не возбуждала сомнений, предложила согласовать все спорные вопросы, существовавшие между католиками и реформатами, путем созыва некоей конференции, которая, однако, не могла называться ни синодом, ни советом, ни собором, — необходимо было придумать для нее какое-то совершенно новое название и, что важнее всего, получить согласие Кальвина. Между прочим, как только ее тайный замысел стал известен, Гизы, как бы в противовес ему, объединились с коннетаблем Монморанси

против Екатерины и короля Наваррского. Это был очень странный союз; в истории он известен под именем триумвирата, ибо маршал Сент-Андре стал в нем третьим лицом. Союз состоял из одних католиков и явился как бы ответом на необычайный замысел королевы-матери. Гизы сумели тогда оценить по достоинству хитрую политику Екатерины: они поняли, что королеве конференция эта была нужна только для того, чтобы выиграть у своих союзников время, пока Карл IX не достигнет совершеннолетия. Этим они обманули коннетабля, убедив его, что у Екатерины есть тайное соглашение с Бурбонами, в то время как в действительности Екатерина обманывала их всех. Как это явствует из всего сказанного, власть королевы за короткое время значительно выросла. Распространенное тогда пристрастие ко всяческим дискуссиям и спорам оказалось исключительно благоприятной почвой для предложения Екатерины. Католикам и реформатам предстояло блеснуть друг перед другом в этом словесном турнире. Именно так и случилось. Разве не примечательно, что историки приняли самые тонкие маневры королевы за ее нерешительность! А на самом деле никогда еще Екатерина не шла таким прямым путем к сво-

ей цели, как именно тогда, когда все считали, что она от нее удаляется. Поэтому-то король Наваррский, не будучи в состоянии разгадать замыслы Екатерины, и направил с такой поспешностью к Кальвину проповедника Шодье, который все это время втайне следил за событиями в Орлеане, где в любую минуту его могли обнаружить и повесить без суда, как всякого человека, приговоренного к изгнанию. Средства передвижения были в то время таковы, что Шодье мог попасть в Женеву не ранее февраля, переговоры можно было завершить только в марте, а созыв конференции оказывалось возможным осуществить только в начале мая 1561 года. Екатерина решила тем временем занять внимание придворных и партий коронованием юного короля и его первым появлением в парламенте. Лопиталь и де Ту предъявили парламенту послание, в котором Карл IX поручал управление государством своей матери вместе с верховным главнокомандующим Антуаном Наваррским, самым безвольным принцем того времени!

Разве не странно видеть, как целое государство зависело от «да» или «нет» какого-то французского горожанина, долгие годы вообще никому не известного, а потом обосновавшегося в Женеве?

Не странно ли, что Трансальпийский папа оказался в зависимости от папы Женевского?[115] И что Лотарингцы, недавно еще столь могущественные, были совершенно парализованы в своих действиях этим мгновенно возникшим союзом первого принца крови с королевой-матерью и с Кальвином? Какой это полезный пример для всех королей! История учит их на этом примере распознавать людей, сразу же воздавать должное гению и искать его, как это сделал Людовик XIV, всюду, куда только господь направит его шаги.

Кальвин, настоящее имя которого было Ковен, был сыном бочара из Нуайона, в Пикардии. Сама страна, где вырос Кальвин, в какой-то мере объясняет то упорство и ту странную жизнеспособность, которая отличала этого вершителя судеб Франции XVI века. Как мало у нас знают об этом человеке, определившем собою и жизнь Женевы, и весь дух ее народа! Жан-Жак Руссо, который был не очень сведущ в истории, ровно ничего не знал о влиянии этого человека на его родину. Дело в том, что Кальвин, живший в одном из самых захудалых домов верхнего города,

[115] Примечания: 115

Папа Женевский — то есть Кальвин. Кальвин добился неограниченной власти в Женеве и жестоко преследовал своих религиозных противников.

возле храма Святого Петра, в последнем этаже дома плотника (вот первая черта, общая у него с Робеспьером), не пользовался в Женеве никаким особенным авторитетом. В течение долгого времени ненавидевшие его жители Женевы старались всячески ограничить его влияние. Одним из тех знаменитых граждан Женевы, которых никто на свете не знает, а нередко не знают и сами женевцы, в XVI веке был некий Фарель. Фарель призвал около 1537 года Кальвина в Женеву, указав ему на этот город как на самый надежный оплот для Реформации, призывающей к действию более решительно, чем учение Лютера. Фарель и Ковен считали лютеранство учением несовершенным, недостаточным и не имеющим для себя подходящей почвы во Франции. Женева, расположенная между Францией и Италией и говорящая на французском языке, была исключительно удобна для установления связей с Германией, Италией и Францией. Кальвин избрал Женеву своей резиденцией и начал в ней свою духовную деятельность. Он сделал этот город цитаделью своего учения. Совет Женевы, по настоянию Фареля, в сентябре 1538 года разрешил Кальвину читать лекции по богословию. Кальвин поручил произносить проповеди Фарелю, своему

ближайшему ученику, а сам стал терпеливо излагать основы своей доктрины. Влияние Кальвина, ставшее огромным в последние годы его жизни, утверждалось, по-видимому, с большим трудом. Трудности, которые пришлось преодолевать этому великому проповеднику, были настолько велики, что его даже на какое-то время изгнали из Женевы, и причиною изгнания была суровость его реформы. И среди людей честных там были такие, которые тяготели к прежним нравам и прежней роскоши. Но, как всегда бывает, эти порядочные люди боялись показаться смешными и не хотели, чтобы другие знали, чего они добиваются. Поэтому споры обычно уходили в сторону от основного предмета. Кальвин хотел, чтобы для причастия пользовались *дрожжевым хлебом* и чтобы, кроме воскресенья, других праздников не было. В Берне и в Лозанне эти новшества были встречены неодобрительно. Женевцам дали понять, что они обязаны соблюдать швейцарские обряды. Кальвин и Фарель упорствовали. Их *политические враги* воспользовались этими разногласиями, чтобы удалить их из Женевы, откуда они действительно были изгнаны на несколько лет. Позднее уже Кальвин торжественно вернулся, призванный туда своей паствой. Такие

преследования неизменно становятся своего рода освящением духовной мощи писателя, если только он достаточно терпелив, чтобы ждать. Тот день, когда Кальвин вернулся в Женеву, знаменует собою как бы начало новой эры в жизни этого пророка. Начались преследования врагов, и Кальвин сам перешел к религиозному террору. На этот раз, как только новый властитель умов появился, женевские горожане его признали. Но даже по прошествии этих четырнадцати лет он все еще не был членом Совета. В те дни, когда Екатерина послала к нему проповедника, этот король мысли именовался всего-навсего пастором Женевской церкви. Кальвин никогда не получал в год за все свои труды больше пятнадцати центнеров ржи, двух бочек вина и полутораста франков деньгами. У брата его, простого портного, была мастерская в нескольких шагах от площади Св. Петра, там, где сейчас находится одна из женевских типографий. Этого бескорыстия не хватает Вольтеру, Ньютону, Бэкону, но оно озаряет жизнь Рабле, Кампанеллы, Лютера, Вико, Декарта, Мальбранша, Спинозы, Лойолы, Канта, Жан-Жака Руссо. И не оно ли служит восхитительной оправой всем этим простым и гениальным натурам?

Единственный человек, чья жизнь может дать

современникам ключ к жизни Кальвина, — это Робеспьер. Утверждая свою власть на тех же основаниях, швейцарец был столь же беспощадным, столь же непримиримым, как и адвокат из Арраса. Странное дело! Оба эти ярые реформаторы вышли из Пикардии, из ее городов Арраса и Нуайона! Всякий, кто захочет изучить причины жестоких расправ Кальвина с врагами, увидит, что все, происходившее тогда в Женеве, в той или иной степени напоминало 1793 год. По приказу Кальвина отрубили голову Жаку Грюэ за то, что он «богохульствовал в письмах, сочинял вольнодумные стихи и старался подорвать авторитет церкви». Задумайтесь над этим приговором. Спросите себя, выдвигали ли когда-либо самые ужасные из тираний такие смехотворные предлоги для разгула своих диких страстей. Вакантен Жантилис, приговоренный к смерти за непреднамеренную ересь, избежал казни, только испросив себе прощения на еще более унизительных условиях, чем те, которые ставит католическое церковное покаяние. За семь лет до конференции, которую королева-мать предлагала созвать Кальвину, Мишель Серее, француз, находившийся в Женеве только проездом, был арестован, подвергнут суду, по распоряжению Кальвина,

приговорен к смертной казни и заживо сожжен за то, что он допустил *нападки на таинство святой троицы* в книге, которая была написана и напечатана далеко за пределами Женевы. Вспомните, как защищал себя Жан-Жак Руссо, чье сочинение, написанное во Франции и опубликованное в Голландии, но распространившееся в Париже, обличало католическую религию. Дело ограничилось тем, что палач всего-навсего сжег книгу, автора же как *иностранца* изгнали из пределов страны, где он пытался подорвать основы религии и государственной власти. Сравните, как вел себя парламент и как действовал женевский тиран. Наконец Больсе был точно так же предан суду «за то, что он понимал божественное предопределение иначе, чем Кальвин». Взвесьте все это и спросите себя, хуже ли поступал Фукье-Тенвиль[116]. Дикая религиозная нетерпимость Кальвина в моральном отношении была более твердой, более безжалостной, чем политическая нетерпимость Робеспьера. На арене более обширной, чем Женева, Кальвин пролил бы больше крови, чем страшный апостол политического равенства, уподобленного равенству католиче-

[116] Примечания: 116

Фукъе-Тенвиль, Антуан (1746–1795) — общественный обвинитель при революционном трибунале во время якобинской диктатуры.

скому. Еще за три столетия до того некий монах, тоже пикардиец, повернул весь западный мир против Востока. Петр Пустынник[117], Кальвин и Робеспьер, которых отделяли друг от друга промежутки по триста лет каждый, эти три пикардийца были в политическом смысле как бы рычагами Архимеда. Каждый из них воплощал определенную идею, которая встречала поддержку среди политических партий и среди отдельных людей.

Разумеется, не чем иным, как усилиями Кальвина, был сотворен этот мрачный город, именуемый Женевой, где десять лет тому назад один человек, указывая на ворота верхнего города, самые древние из женевских ворот (в былые времена существовали только одни калитки), сказал: «Вот через эти ворота роскошь вошла в Женеву!» Кальвин жестокостью своего учения и своих казней вызвал к жизни особый вид лицемерия, так метко названный *пустосвятством*. По мнению таких вот *пустосвятов,* вести правильный образ жизни — значит отказаться от искусства, от всех удовольствий жизни, питаться вкусно, но без чревоугодия, втихомолку копить деньги, но радоваться этим деньгам только так, как Кальвин

[117] Примечания: 117

Петр Пустынник (XI в.) — один из вдохновителей и организаторов Первого крестового похода европейского рыцарства на восток.

радовался своей власти, — в мыслях. Кальвин облек всех своих сограждан в те же мрачные одежды, которые он избрал для своей собственной жизни. Он создал при своей консистории настоящий трибунал кальвинистской инквизиции, точь-в-точь похожий на революционный трибунал Робеспьера. Консистория передавала Совету людей, которых ей надо было осудить, и Кальвин управлял Советом через посредство консистории, точно так же как Робеспьер управлял Конвентом через посредство якобинского клуба. Так вот одного видного женевского судью приговорили к двум месяцам тюрьмы, лишили его должности и права поступить куда-либо на новое место *за то, что он вел распутную жизнь и находился в связи с врагами Кальвина.* В этом отношении Кальвин показал себя настоящим законодателем: он вызвал к жизни суровые, трезвые нравы, нравы бюргерские, до крайности скучные, но зато безупречные. Нравы эти, до наших дней сохранившиеся в Женеве, стали прототипом английских нравов, известных повсюду под названием пуританских, которые в Англии насаждали камеронцы — последователи Камерона, одного из французских докторов-кальвинистов, нравов, столь наглядно изображенных

Вальтером Скоттом. Бедность человека, по сути дела являвшегося правителем, который говорил с королями, как равный с равными, который требовал от них сокровищ, войск и полными пригоршнями черпал из их казны деньги для нищих, доказывает, что мысль там, где она является единственным средством господства над людьми, рождает политических скряг, людей, которые живут одним разумом, которые, подобно иезуитам, хотят власти ради власти. Питт[118], Лютер, Кальвин, Робеспьер — все эта гарпагоны владычества умирали без гроша в кармане.

Когда Кальвин умер, оказалось, что все оставшиеся после него вещи — а опись их сохранилась для истории — стоимостью своей не превышали пятидесяти экю, *включая книги.* После Лютера осталось не больше; одним словом, его вдова, знаменитая Катарина фон Бора, была вынуждена хлопотать о пенсии в сто экю, которую ей и назначил один немецкий курфюрст. Потемкин, Мазарини, Ришелье, это люди мысли и действия, которые подготовляли создание империй или сами их создавали, оставили после себя каждый

[118] Примечания: 118

Питт. — Речь идет о Уильяме Питте Младшем (1759–1806) — английском премьер-министре, яром враге республиканской Франции, вдохновителе антифранцузских коалиций.

по триста миллионов. Эти люди умели жить сердцем, они любили женщин и искусство, они строили, побеждали, в то время как те, если только не считать, что у Лютера была жена, Елена этой протестантской «Илиады»[119], не могут даже упрекнуть себя в том, что сердце их когда-нибудь билось от любви к женщине.

Это совсем краткое отступление было необходимо, чтобы объяснить, в каком положении Кальвин находился в Женеве.

[119] Примечания: 119

Елена этой протестантской «Илиады». — Согласно древнегреческой мифологии, причиной Троянской войны была Елена Прекрасная, похищенная сыном троянского царя Парисом. Брак Лютера был вызовом, брошенным им католическому целибату, то есть обету безбрачия.

XV. Кальвин

В начале февраля 1561 года, в один из тех мягких вечеров, которые бывают в это время года на Женевском озере, два всадника прибыли в Пре-Левек, место, названное так оттого, что там находился загородный дом Женевского епископа, изгнанного оттуда тридцать лет тому назад. Эти два человека, которые, несомненно, знали законы Женевы, предписывающие запирать ворота города, законы, в то время необходимые, но достаточно смешные в наши дни, направились к Ривским воротам. Но внезапно они остановили своих лошадей, увидев человека лет пятидесяти, который шел, опираясь на руку служанки, и, по-видимому, возвращался в город; это был довольно полный мужчина, и шел он медленно, с трудом передвигая то одну, то другую ногу, причем, очевидно, ходьба причиняла ему боль; обут он был в тупоносые башмаки из черного бархата, отделанные кружевами.

— Это он, — сказал один из всадников своему спутнику. Спрыгнув с седла, он передал поводья Шодье и с раскрытыми объятиями устремился навстречу гулявшему.

Однако тот, а это действительно был не кто иной, как Кальвин, несколько отступил назад и очень сурово посмотрел на ученика. В свои пятьдесят лет Кальвин выглядел как семидесятилетний старик. Высокий и тучный, он казался гораздо ниже своего роста; мучительные боли, причиняемые камнями в мочевом пузыре, вынуждали его ходить согнувшись. Вдобавок он страдал еще тяжелыми приступами подагры. Лицо его, вселявшее во всех страх, было почти круглым, однако, несмотря на это, добродушия в нем было не больше, чем в страшном лице Генриха VIII, на которого к тому же Кальвин был очень похож. Никогда не отпускавшие его страдания запечатлелись в его чертах; две глубокие морщины, начинавшиеся с обеих сторон носа, шли параллельно усам и вместе с ними тонули в окладистой седой бороде. Несмотря на то что лицо его было багровым и воспаленным, как лицо пьяницы, кожа кое-где была желтоватой. Шапочка из черного бархата на его огромной квадратной голове не закрывала красивого лба, под которым светились карие глаза, в минуты гнева извергавшие пламя. Либо от тучности, либо оттого, что у него была короткая толстая шея, либо, наконец, от постоянных бдений и трудов

голова Кальвина уходила в широкие плечи, так что ему приходилось носить только небольшие плоеные брыжи, на фоне которых она выглядела как голова Иоанна Крестителя на блюде. Между усами и бородой, подобно розану, выделялся его маленький, красивый, очень ясно очерченный, выразительный рот. Линия его четырехугольного носа была несколько изогнута, и он кончался довольно заметным бугорком, подчеркивавшим поразительную энергию, которой было преисполнено все его властное лицо. В чертах его нелегко было разглядеть следы еженедельных мигреней, которые бывали у Кальвина в промежутках между приступами мучившей его лихорадки; однако именно страдание, которое неустанно одолевалось усилием воли и упорным трудом, наложило на все свою печать: оно придавало этому похожему на маску и на первый взгляд цветущему лицу какой-то ужасный вид. Особенность эта объяснялась, скорее всего, окраской подкожного жирового слоя, отложившегося благодаря сидячему образу жизни и вместе с тем свидетельствовавшего о непрестанной борьбе его хилого тела с волею неимоверной силы, ибо это был один из самых деятельных людей, каких знала история человеческого духа. При всей своей красоте рот

его говорил о жестокости. Целомудрие, которого требовали как его великие замыслы, так и его слабое здоровье, было написано на этом лице. Его могучий лоб свидетельствовал не только об уравновешенности, но и о горечи, а во взгляде его глаз, пугавших своим ледяным спокойствием, сквозила скорбь.

Кальвин носил одежду, на фоне которой лицо его выделялось особенно четко. Это была знаменитая черная суконная сутана, перехваченная черным же поясом с медной пряжкой, сутана, которая стала привычной одеждой для всех проповедников-кальвинистов, ибо она не останавливала на себе взгляда, и все внимание слушателя неминуемо сосредоточивалось на лице.

— Сейчас я настолько плохо себя чувствую, что не могу тебя обнять, Теодор, — сказал Кальвин статному всаднику.

Теодор де Без, которому было тогда сорок два года и которого по настоянию Кальвина около двух лет назад сделали гражданином Женевы, представлял резкий контраст страшному пастырю, державшему его в своем подчинении. Кальвин, как и все люди простого происхождения, которые достигают господства над умами,

и как все создатели социальных систем, был снедаем ревностью. Он ненавидел своих учеников, он не хотел, чтобы кто-нибудь сравнялся с ним, и не терпел ни малейшего противоречия. Однако различие между ним и Теодором де Безом было слишком велико. Этот стройный мужчина с приветливым лицом, изысканно вежливый, привыкший бывать при дворах, был настолько непохож на всех его фанатиков-единоверцев, что при встрече с ним Кальвин отрешался от присущей ему боязни соперничества. Он его, правда, никогда не любил, ибо этот жестокий законодатель вообще ни к кому не питал дружеских чувств. Однако у него не было страха, что Теодор захочет стать его преемником, и поэтому он всегда охотно любил играть с ним, так же как Ришелье любил играть с котом, — ему нравилось, что ученик его такой гибкий и легкий. Кальвин видел, что де Без отлично выполняет все возложенные на него поручения, и ему было приятно, что у него есть столь искусный слуга, который вдохновляется его волей. От таких привязанностей не могут, должно быть, освободиться даже самые угрюмые люди. Теодор был баловнем Кальвина, суровый реформатор никогда не бранил его, он прощал ему его распутную жизнь, его лю-

бовные увлечения, привычку красиво одеваться и выражаться изысканно. Может быть, Кальвину просто нравилось показывать на его примере, что реформаты могут состязаться в любезности с придворными. Теодор де Без хотел привить женевцам вкус к искусствам, литературе, поэзии; Кальвин выслушивал его планы и при этом даже не хмурил своих густых седых бровей. Таким образом, эти два знаменитых человека представляли разительную противоположность друг другу не только своей внешностью и характером, но и своим духовным миром.

Кальвин ответил на смиренное приветствие Шодье легким кивком головы. Шодье взял в правую руку поводья лошадей и последовал за этими двумя великими людьми, идя несколько левее их. Теодор де Без шел по правую руку Кальвина. Служанка Кальвина побежала сказать, чтобы не закрывали Ривские ворота, и сообщила капитану стражи, что у пастора начался приступ острых болей.

Теодор де Без был родом из коммуны Везле, первой, которая приняла Реформацию, — ее интересную историю написал один из Тьерри. И, несомненно, буржуазный и мятежный дух, всегда существовавший в Везле, в какой-то мере

сказался на великом движении реформатов, поскольку вождем его сделался этот человек — одна из интереснейших в истории ереси фигур.

— Вы по-прежнему чувствуете себя плохо? — спросил Теодор де Без.

— Католик ответил бы на это — как грешник в чистилище, — сказал вождь реформатов, и горечь сквозила в каждом его слове. — Да, дитя мое, мне уже пора уходить! Но что вы будете делать без меня?

— Мы будем сражаться, и ваша мысль будет светить нам, — сказал Шодье.

— Итак, вы привезли мне новости? — спросил Кальвин. — Много наших казнено? — Он улыбнулся, и его карие глаза засветились радостью.

— Нет, — ответил Шодье, — все спокойно.

— Тем хуже, тем хуже! — воскликнул Кальвин. — Всякое примирение было бы гибелью, по счастью, каждый раз это только ловушка. Гонения — это наша сила. Что бы с нами было, если бы католическая церковь помирилась с реформатами?

— Но ведь именно этого добивается королева-мать, — сказал Теодор.

— Она на это способна, — сказал Кальвин. — Я изучаю эту женщину.

— Как, отсюда?

— А разве для духа существуют расстояния? — сурово оборвал его Кальвин, который счел это замечание знаком неуважения к себе. — Екатерина добивается власти, а когда женщины ставят себе такие цели, для них уже не существует ничего святого. Чего же она хочет?

— Она предлагает нам созвать конференцию, — начал Теодор де Без.

— Где-нибудь близ Парижа? — перебил его Кальвин.

— Да.

— Что ж, тем лучше! — сказал глава реформатов. — И мы попытаемся договориться друг с другом и слить воедино обе церкви. Ах, хорошо, если бы у нее хватило мужества отделить французскую церковь от римской курии и поставить во Франции патриарха, как в Византии! — вскричал Кальвин, и глаза его загорелись от одной мысли о том, что он может получить царскую власть. — Только, сын мой, можно ли верить племяннице папы? Она просто хочет выиграть время. А разве нам не нужно его выиграть, чтобы рассчитаться за наше поражение в Амбуазе и вызвать мощное сопротивление во всех концах страны?

— Она отправила на родину шотландскую королеву, — сказал Шодье.

— Одной стало меньше! — сказал Кальвин, проходя под арку Ривских ворот. — Елизавета Английская ее там попридержит. Эти две королевы, живя по соседству, непременно затеют войну: одна хороша собою, а другая безобразна — вот вам первый повод для раздора. Да к тому же есть еще вопрос о законности рождения…

Он потер руки и так рассвирепел в своей радости, что де Без задрожал. Ему представились потоки крови — он догадался, что его учитель видит их в эту минуту перед собой.

— Гизы рассердили Бурбонов, — сказал де Без после паузы, — в Орлеане они повздорили.

— Сын мой, — сказал Кальвин, — ты мне не верил, когда перед твоей последней поездкой в Нерак я сказал тебе, что мы в конце концов заставим обе ветви королевского дома Франции воевать друг с другом не на жизнь, а на смерть! Итак, наконец на моей стороне и двор, и король, и королевское семейство! Мое учение уже воспринял народ. Горожане меня понимают, они начали называть идолопоклонниками тех, кто ходит к обедне, кто расписывает храмы и уставляет их статуями и образами. Да, народу легче разрушать

дворцы и соборы, чем спорить об искуплении верой или о вездесущности божества. Лютер только говорил, а я действую силой оружия! Он был всего только моралистом, а я создал систему! Словом, дети мои, это был самый обыкновенный забияка, в то время как я — Тарквиний[120]. Да, ученики мои разрушат церкви, уничтожат образа, они превратят статуи в жернова, чтобы народ мог молоть муку. В Штатах представлены политические учреждения, а я хочу, чтобы там были живые люди! Учреждения до крайности неподатливы, они слишком ясно видят там, где масса слепа. Надо, чтобы к нашему воинствующему учению присоединились политические цели: этим оно укрепится, а ряды моих сторонников пополнятся. Я удовлетворил людей рассудительных и бережливых и тех, кто мыслит: я ввел богослужение, в котором нет ничего лишнего, которое очищено от мишуры и переносит религию в мир идей. Я убедил народ, как важно уничтожить обряды. Твое дело, Теодор, завоевывать нам новых политических сторонников. Вот твоя задача! Учение же создано, все сделано, и все сказано. Не добав-

[120] Примечания: 120

Тарквиний. — Речь идет о Тарквинии Гордом, по преданию, последнем царе Древнего Рима (VI в. до н. э.); известен был своею жестокостью; подчинил власти Рима население Лация.

ляй к нему ни крупицы. Чего ради Камерон, этот захудалый гасконский пастор, берется сейчас за перо…

Кальвин, Теодор де Без и Шодье пошли по улицам верхнего города, среди толпы, причем народ не обратил на них ни малейшего внимания. А между тем ведь они поднимали во многих городах целые толпы народа, опустошали Францию! После этих страшных слов они шли молча и так добрались до площади Св. Петра и направились к дому пастора. На втором этаже этого дома, который не особенно известен и которого вам сейчас никто не станет показывать в Женеве, где, впрочем, нет даже и памятника Кальвину, он занимал квартиру, состоявшую из трех комнат с полом из сосновых досок и с такими же стенами; тут же находились кухня и комната служанки. Как и в большинстве женевских домов, вход был через кухню; оттуда вела дверь в маленькую комнату с двумя окнами, служившую одновременно и гостиной, и салоном, и столовой. Рядом с ней был рабочий кабинет, где мысль Кальвина в течение четырнадцати лет боролась с его недугом. К ней же примыкала спальня. Вся меблировка состояла из четырех дубовых стульев, обитых материей, и длинного четырехугольного стола. Один угол

этой комнаты был занят белой фаянсовой печью, распространявшей приятную теплоту. Стены были обиты сосновыми досками и ничем не отделаны. Словом, неприхотливая обстановка гармонировала с умеренной и простой жизнью этого реформатора.

— Итак, — сказал де Без, входя в дом и воспользовавшись минутой, когда Шодье повел обеих лошадей на соседний постоялый двор и оставил их одних, — что же мне теперь делать? Вы согласны созвать конференцию?

— Разумеется, — сказал Кальвин. — Это тебе, дитя мое, придется подвизаться на ней. Будь же смел и непримирим. Ни королева, ни Гизы, ни я сам — мы не хотим, чтобы все завершилось перемирием, нам это не подходит. Я доверяю Дюплесси-Морнэ, надо будет получше использовать его в нашем деле. Мы сейчас одни, — сказал он, подозрительно поглядев в сторону кухни. Дверь туда была приоткрыта, и видно было, как там на веревке сушатся две рубахи и несколько брыжей. — Закрой двери.

Вот что, — добавил он, когда Теодор закрыл все двери, — надо заставить короля Наваррского присоединиться к Гизам и к коннетаблю, посоветовав им порвать с королевой Екатериной Медичи. Вос-

пользуемся же всеми преимуществами, которые нам даст слабость этого жалкого государя. Если он вдруг изменит свои убеждения, итальянка, лишившись его поддержки, неминуемо заключит союз с принцем Конде и с Колиньи. Может быть, этот поворот настолько ее скомпрометирует, что ей придется перейти на нашу сторону…

Теодор де Без взял Кальвина за полу его платья и поцеловал ее.

— Учитель! — сказал он. — Вы великий человек!

— К несчастью, я уже умираю, мой милый Теодор. Если я умру и больше тебя не увижу, — сказал он шепотом на ухо своему министру иностранных дел, — подумай о том, чтобы нанести им решительный удар — пусть это сделает один из наших мучеников.

— Убить еще одного Минара?

— Нет, кое-кого повыше.

— Короля?

— Нет, еще выше: человека, который хочет стать королем.

— Герцога Гиза? — воскликнул Теодор, невольно вздрогнув.

— А что же, — вскричал Кальвин, который счел это нежеланием или сопротивлением с

его стороны и не видел, как в это мгновение в комнату вошел проповедник Шодье, — разве мы не вправе ответить на удар ударом? Да так, как они, исподтишка? Разве мы не можем ответить раной на рану, смертью на смерть? Разве католики упускают хоть один случай, помогающий им заманить нас в силки, а потом предательски убить? Как бы не так! Жгите их! Действуйте, дети мои. Если у вас есть преданные вам юноши…

— Да, есть, — ответил Шодье.

— Да послужат они вам орудием войны! Для нашей победы все средства хороши. Балафре, этот страшный солдат, так же, как и я, больше чем человек: он — это династия, а я — система. Он способен уничтожить нас! Итак, смерть Лотарингцу!

— Я предпочел бы мирную победу, одержанную временем и разумом, — сказал де Без.

— Временем? — воскликнул Кальвин, бросая на пол стул. — Ты что, с ума сошел? Разум! Одержать победу! Выходит, что ты ничего не понимаешь в людях, хоть постоянно возишься с ними. Ты просто глуп. Моему учению как раз вредит то, что оно основано на разуме. Да поразит тебя меч всемо-

гущего, свет небесный, как грешника Савла![121] Тыква ты этакая, Теодор, ты что, не видишь разве, насколько сильнее стала Реформация после поражения в Амбуазе? Мысли растут только тогда, когда их поливают кровью. Убийство герцога Гиза повлечет за собой ужасные преследования, а я всей душой их призываю! Неудачи для нас лучше всякого успеха! У Реформации есть возможность их перенести, ты слышишь, ничтожество? Меж тем католичество погибнет от первой выигранной нами битвы. Но из кого же состоит армия? Это не люди, а какие-то мокрые тряпки, двуногая требуха, крещеные обезьяны. О господи, прожить бы мне еще десяток лет! Если я умру слишком рано, истинная религия погибнет с подобными олухами! Ты так же глуп, как Антуан Наваррский! Убирайся отсюда, я хочу, чтобы у меня был представитель получше. Осел, щеголь, стихоплет! Иди сочинять свои катуллады, и тубиллады, и акростихи! Пошел отсюда!

Боли в мочевом пузыре были совершенно укрощены вспыхнувшим в эту минуту гневом.

---

[121] Примечания: 121

Грешник Савл. — Речь идет об апостоле Павле, одном из основателей христианства. По преданию, он был язычником и носил имя Савл; по дороге в Дамаск Савл услышал голос бога и, потрясенный этим, принял христианство.

Подагра присмирела перед этим ужасным негодованием. Лицо Кальвина приняло лиловатый оттенок и сделалось похожим на грозовое небо. Его широкий лоб блестел, глаза метали искры. Он весь переменился. Охваченный яростью, он весь трясся, что с ним случалось нередко. Однако, заметив, что оба его слушателя безмолвны, и услыхав, как Шодье шепнул де Безу: «Неопалимая купина Хорива», — пастор сел, притих и закрыл лицо своими толстыми руками с обезображенными суставами; руки его дрожали.

Через несколько минут, все еще сотрясаясь от гневного чувства, порожденного целомудренной жизнью, он сказал дрогнувшим голосом:

— Все мои пороки мне легче укротить, чем мое нетерпение! О жестокий зверь! Неужели я так никогда и не справлюсь с тобой? — добавил он, ударяя себя в грудь.

— Дорогой учитель, — ласковым голосом сказал де Без, беря руку Кальвина и целуя ее. — Юпитер сердится, но он умеет и улыбаться.

Кальвин умиротворенно взглянул на своего ученика и сказал:

— Друзья мои, вы должны меня понять.

— Я вижу, какое тяжелое бремя несут пастыри народов, — ответил Теодор. — На ваших плечах

лежит груз всего мира.

— У меня на примете есть три мученика, на которых мы можем рассчитывать, — сказал Шодье, повергнутый в раздумье репримандом учителя. — Стюарт, который убил президента, сейчас на свободе.

— Не это нам нужно! — мягко сказал Кальвин, улыбаясь, как все великие люди, лица которых преисполняются ясности, как будто от стыда за только что бушевавшую грозу. — Я знаю людей. Убивают *одного* президента, но не двух.

— А разве убийство совершенно необходимо? — спросил де Без.

— Вы опять за то же? — воскликнул Кальвин; ноздри его раздулись. — Послушайте, лучше уходите отсюда и не выводите меня из себя, я вам все сказал. Ты, Шодье, ступай своей дорогой и позаботься о своей пастве в Париже. Да благословит вас господь! Дина, посветите моим друзьям.

— Позвольте же мне поцеловать вас, — в умилении попросил Теодор. — Кто знает, что с нами будет завтра! Нас могут схватить, невзирая на наши охранные грамоты.

— А ты еще собираешься их щадить! — сказал Кальвин, целуя де Беза.

Взяв Шодье за руку, он сказал ему:

— Никаких гугенотов, никаких реформатов, будьте только кальвинистами! Говорите только о кальвинизме. Увы! Знайте, что это отнюдь не честолюбие, ведь я уже на краю могилы!.. Но необходимо разрушить все, что идет от Лютера, вплоть до самых слов «лютеране» и «лютеранство».

— Великий человек, — воскликнул Шодье, — вы заслужили эту честь!

— Храните единство учения, не позволяйте ничего пересматривать и переделывать. Если из наших рядов выйдут новые секты, мы погибли.

Чтобы осветить некоторые дальнейшие события этой повести и закончить разговор о Теодоре де Безе, который отправился в Париж вместе с Шодье, следует заметить, что Польтро, который восемнадцать месяцев спустя выстрелил из пистолета в герцога Гиза, признался под пыткой в том, что на это преступление его толкнул Теодор де Без. Однако, когда его стали пытать снова, он отрекся от этого признания. Поэтому Боссюэ, взвесив все исторические данные, не нашел возможным приписывать замысел этого убийства Теодору де Безу. Но уже после Боссюэ некий компилятор XVIII века, писавший с виду ничего не значащую статью по поводу одной знаменитой

песенки, пришел к выводу, что куплеты, сложенные на смерть герцога Гиза и распевавшиеся по всей Франции гугенотами, были сочинены Теодором де Безом. Этим было доказано, что знаменитая песенка о Мальбруке не что иное, как плагиат песенки Теодора де Беза.

ПРОВОДЫ ГЕРЦОГА ГИЗА

Песенку я пою (дважды)
О нашем великом Гизе;
Дин-да-да-да-да-дин,
Дон-до-до-ди-дон
О нашем великом Гизе!

(Последний стих, вне всякого сомнения, говорили и пели с комической интонацией)

Его положили в гроб

Его положили в гроб, (Дважды)
Накрыли черным покровом.
Дин-да .....
И четверо шли вослед.

И четверо шли вослед. (Дважды)
Нес первый шлем боевой,
Дин-да .....

Второй пистолеты нес.

Второй пистолеты нес, (Дважды)
А третий острую шпагу.
Дин-да .....
Что понятна гугенотам.

Что памятна гугенотам. (Дважды)
Но был и еще один,
Дин-да .....
И тот больше всех скорбел.

И тот больше всех скорбел. (Дважды)
Вослед ему шли пажи,
Дин-да .....
За ними лакеи шли.

За ними лакеи шли. (Дважды)
И были в траур одеты
Дин-да .....
В сверкающих башмаках,

В сверкающих башмаках, (Дважды)
В чулках шерстяных отменных,
Дин-да .....
И в кожаных все штанах.

И в кожаных все штанах. (Дважды)
Потом вернулись домой,
Дин-да .....
И спать улеглись в постели.

И спать улеглись в постели. (Дважды)
И кто туда лег с женой,
Дин-да .....
А кто улегся один.

XVI. Екатерина у власти

В тот день, когда Теодор де Без и Шодье прибыли в Париж, двор вернулся из Реймса, где состоялась коронация Карла IX. Эта церемония, которой Екатерина придала большую пышность и которую сопровождали роскошные празднества, дала ей возможность собрать вокруг себя вождей всех партий. Внимательно изучив цели различных партий, она встала перед альтернативой: либо сплотить их все вокруг трона, либо столкнуть друг с другом. Коннетабль де Монморанси, племянник которого принц Конде был вождем реформатов, а дети также тяготели к этой религии, сам оставался заядлым католиком и осуждал союз королевы-матери с реформатами. Гизы же старались привлечь на свою сторону короля Антуана Бурбона, человека бесхарактерного, уговорив его вступить в их партию. Жена Антуана, королева Наваррская, предупрежденная де Безом, им не противодействовала. Все эти трудности озадачили Екатерину. Для того чтобы укрепить свою растущую власть, ей нужна была какая-то передышка. Поэтому она с нетерпением ждала ответа Кальвина, к которому принц

Конде, король Наваррский, Колиньи, д'Андело, кардинал Шатильонский и отправили де Беза и Шодье. Но вместе с тем королева-мать оставалась верна своим обещаниям, данным принцу Конде. Канцлер передал дело Кристофа в парижский парламент и тем самым добился его прекращения — парламент отменил решение комиссии, объявив, что она неправомочна судить принца крови. Парламент занялся этим делом по настоянию Гизов и королевы-матери. Бумаги Ла Саня были переданы Екатерине — она их сожгла. Передача этих бумаг была первой уступкой, которую Гизы сделали королеве-матери, уступкой, от которой они ничего не выиграли. Парламент, не имея перед глазами никаких доказательств, восстановил принца во всех правах, вернув ему его владения и все отнятые у него почести. С Кристофа уже в период событий в Орлеане, едва только на престол взошел новый король, сняли все обвинения. Чтобы вознаградить его за перенесенные страдания, де Ту постарался сделать его адвокатом парламента.

Триумвират, эта будущая коалиция сил, которым Екатерина, придя к власти, сразу же стала угрожать, создавался у нее на глазах. Точно так же, как в химии соединения несовместимых

веществ распадаются на составные части при первом же встряхивании, так и в политике союзы противоречивых сил не могут длиться долго. Екатерина хорошо понимала, что рано или поздно ей понадобятся и Гизы и коннетабль, чтобы дать бой гугенотам. Конференция эта льстила самолюбию ораторов каждой партии; она должна была стать второй, не менее торжественной, чем коронация, церемонией и разукрасить кровавый ковер религиозной войны, тогда уже начинавшейся. Однако совершенная бесполезность ее была очевидна как Гизам, так и самой Екатерине. Католики на всем этом только проигрывали, ибо гугеноты под предлогом совещания получили возможность проповедовать свое учение перед всей Францией при покровительстве самого короля и его матери. Кардинал Лотарингский, которого Екатерина призывала поразить еретиков силою красноречия отцов церкви, склонил своего брата согласиться на эту встречу противников. Для королевы-матери полугодичное перемирие как-никак значило очень много.

Небольшое происшествие едва не подорвало власть Екатерины, доставшуюся ей с таким трудом. Вот что случилось в тот самый день, когда женевские посланцы прибыли на улицу Бюсси в

дом Колиньи, близ Лувра. Историки свидетельствуют, что во время коронации Карл IX, очень любивший своего наставника Амио, назначил его на должность королевского попечителя бедных. С тою же любовью относился к нему и герцог Анжуйский, будущий Генрих III, который тоже был учеником Амио. Екатерина узнала об этом от братьев Гонди по дороге из Реймса в Париж. Она рассчитывала, назначив на эту должность кого-либо по своему выбору, снискать себе этим поддержку церкви, иметь при ней своего ставленника в противовес кардиналу Лотарингскому. Она прочила на это место кардинала Турнонского и хотела, чтобы он стал наряду с Лопиталем ее вторым костылем, — она употребляла именно это слово. Прибыв в Лувр, она тут же вызвала Амио. Когда она увидела, какой вред ее политике нанес этот тщеславный выскочка, сын сапожника, гнев ее был так велик, что она встретила его следующими словами, которые донесли до нас мемуаристы того времени:

— Как! Я заставляю склоняться перед собой Гизов, Колиньи, коннетаблей, Наваррский дом, принца Конде, и я буду еще думать о каком-то негодном попе, которому, оказывается, мало быть епископом Осера!

Амио стал оправдываться. Он сказал, что он вообще ни о чем не просил, что таково было желание короля и что он, бедный учитель, считал себя недостойным этой должности.

— Так знай же, учитель, — ответила Екатерина (этим именем называли великого писателя Карл IX и Генрих III), — что, если ты сейчас же не заставишь твоего ученика изменить свое решение, тебе больше двадцати четырех часов эту должность исполнять не придется.

Поставленный в необходимость выбирать между смертью, которую ему обещали без всяких обиняков, и отказом от самой высокой должности, на которую только мог назначить король, сын сапожника, который был очень жаден до власти и, может быть, даже не прочь был дослужиться до кардинальской шапки, решил выгадать время: он спрятался в аббатстве Сен-Жермен. На своем первом же обеде Карл IX, не видя за столом Амио, спросил, что с ним. Кто-то из приспешников Гизов не замедлил сообщить королю обо всем, что произошло между Амио и королевой-матерью.

— Как! Только потому, что я назначил его королевским попечителем бедных, ему приходится теперь скрываться? — спросил Карл.

Он тут же направился к матери и повел себя как рассерженный ребенок, капризам которого начинают перечить.

— Государыня, — сказал он, — разве я не подписал обращение к парламенту, о котором вы меня просили и благодаря которому вы теперь царствуете? Когда вы мне его показывали, вы обещали, что моя воля станет вашей. И теперь единственная милость, которую мне хотелось оказать, возбуждает в вас ревность. Канцлер говорит, что объявит меня совершеннолетним уже через три года, как только мне исполнится четырнадцать лет, а вы хотите сейчас обращаться со мной как с ребенком… Клянусь богом, я стану королем, и таким королем, как были мой отец и мой дед!

По тону и по интонации, с какими были сказаны эти слова, Екатерина сразу поняла, что за характер складывается у ее сына, и она проглотила свою обиду.

«Как он позволяет себе разговаривать со мной, а ведь это я сделала его королем!» — подумала она.

— Сын мой, — ответила она, — быть королем в такое время очень трудно, и ты еще не знаешь тех людей, с которыми тебе придется иметь дело. Ни в ком ты не найдешь такого верного и искреннего

друга, как во мне, твоей матери. Ни в ком ты не найдешь таких преданных слуг, как в тех, кого я еще издавна приблизила к себе. Если бы они не помогли нам, тебя, может быть, не было бы на свете. Знай, что Гизы хотят лишить тебя трона и погубить. Если бы они могли зашить меня в мешок и бросить в реку, — сказала она, показывая на Сену, — они бы это сделали сегодня же вечером. Лотарингцы понимают, что я, как львица, охраняю своих маленьких львят и что я не даю их дерзким рукам дотянуться до короны. Для кого и для чего хлопочет твой наставник? Кто его союзники? Каким он пользуется влиянием? Какие услуги он тебе сможет оказать? Какой вес будут иметь его слова? Вместо того чтобы воздвигнуть столп, на котором бы держалась твоя власть, ты лишаешь ее опоры. Кардинал Лотарингский тебе угрожает, он заправляет всем, он не считает нужным снимать шапку перед первым принцем крови. Надо в противовес ему поставить другого кардинала, у которого было бы больше власти. Разве Амио, этот сапожник, который готов завязывать ему ленту на башмаках, разве он будет в силах сломить ему хребет? Ну что же, ты любишь Амио, ты его назначил. Пусть же твоя первая воля будет исполнена, сын мой. Но, прежде чем

захотеть, лучше дружески посоветуйся со мной. Подумай об интересах государства, и, может быть, когда ты поймешь, сколько трудностей впереди, твой детский здравый смысл согласится с моим многолетним опытом.

— Значит, вы мне возвращаете моего наставника! — сказал король, который, видя, что мать осыпает его упреками, перестал ее слушать.

— Да, возвращаю, он вернется к тебе. Но знай, что ни он, ни этот мужлан Сипьер не способны научить тебя, как надо управлять страной.

— Управлять меня научите вы, матушка, — сказал мальчик, успокоенный своей победой, и лицо его потеряло обычное для него угрожающее и несколько презрительное выражение.

Екатерина послала Гонди на поиски Амио. Как только флорентинец обнаружил его убежище и епископу сказали, что его ищет придворный, посланный королевой, его охватил такой страх, что он отказался покинуть аббатство. Это обстоятельство вынудило Екатерину самолично ему написать, и в таких выражениях, что он согласился вернуться. Тогда он получил от нее уверение в том, что она его поддержит, но только при условии, если он беззаветно будет служить ей, находясь при Карле IX.

Когда эта домашняя буря улеглась, Екатерина вернулась в Лувр после более чем годичного отсутствия и стала совещаться со своими приближенными, как ей вести себя с молодым королем, которого Сипьер похвалил за твердость характера.

— Что мне делать? — спросила она обоих Гонди, Руджери, Бирагу и Киверни, который стал теперь наставником и канцлером герцога Анжуйского.

— Прежде всего, — сказал Бирага, — убедите Сипьера. Придворного из него все равно не выйдет, он никогда не будет поступать по вашему желанию и сочтет своим долгом во всем вам перечить.

— На кого же мне тогда положиться?! — вскричала королева.

— На кого-нибудь из нас, — ответил Бирага.

— Клянусь вам, — сказал Гонди, — что король будет в моих руках таким же покладистым, как король Наваррский.

— Вы дали погибнуть покойному королю, чтобы спасти ваших остальных детей. Воспитывайте же его так, как константинопольские вельможи воспитывают своих детей: сумейте унять его гнев и его причуды, — сказал Альберто Гонди. — Он любит искусства, поэзию, охоту и маленькую де-

вочку, которую он повстречал в Орлеане, — всего этого достаточно, чтобы его занять.

— Вы соглашаетесь стать наставником короля? — спросила Екатерина более талантливого из двух Гонди.

— Если вы хотите, чтобы я пользовался нужным для наставника авторитетом, вам, может быть, придется сделать меня маршалом Франции и герцогом. Сипьер — слишком незаметная фигура, чтобы оставаться на этой должности. В будущем наставник короля Франции должен быть по меньшей мере маршалом или герцогом.

— Он прав, — сказал Бирага.

— Поэт и охотник, — мечтательно проговорила Екатерина.

— Мы будем охотиться и любить! — воскликнул Гонди.

— К тому же, — сказал Киверни, — вы можете теперь быть уверены в Амио; он все время будет бояться, что его отравят, если он вас ослушается, а попав в руки Гонди, король никогда не сделает лишнего шага.

— Вы пожертвовали одним из ваших сыновей, чтобы спасти трех остальных и престол; теперь надо иметь мужество чем-нибудь занять другого сына, чтобы спасти королевство и, может быть,

даже вас самих, — сказал Руджери.

— Сегодня он меня сильно обидел, — сказала Екатерина Медичи.

— Он еще не знает, чем он вам обязан. А если бы он это знал, вы были бы сейчас в опасности, — многозначительно сказал Бирага.

— Решено, — согласилась Екатерина, которую все сказанное очень встревожило, — Гонди, я назначаю вас наставником короля. Король должен оказать милость одному из моих приближенных за то, что я назначаю на новую должность этого бестолкового епископа. Этому дураку теперь никогда не носить кардинальской шапки. Пока я жива, я не допущу, чтобы папа удостоил его этой чести! Как мы были бы сильны, если бы на этом месте был кардинал Турнонский! Какая замечательная троица: королевский попечитель бедных, Лопиталь и де Ту! Что же касается парижских горожан, то я мечтаю, что с помощью сына сумею обласкать их и они станут нашей опорой…

И спустя несколько дней Гонди действительно был произведен в маршалы и сделан герцогом де Ретцем и наставником короля.

Когда это тайное совещание уже кончалось, кардинал Турнонский доложил королеве о при-

езде посланцев Кальвина. Дабы в Лувре к ним отнеслись с большим уважением, адмирал Колиньи взялся их сопровождать сам. Королева сразу же забрала с собой своих обольстительных фрейлин и перешла в тот парадный зал, который был построен ее мужем и которого уже больше не существует в теперешнем Лувре.

Лестница Лувра находилась тогда в Часовой башне. Покои Екатерины были расположены в старых зданиях, которые частично еще сохранились во дворе музея. Лестница нынешнего музея была построена на месте зала для балетов. Балеты были тогда особого рода драматическим представлением, в котором принимал участие весь двор. Революционеры в пылу страсти допустили нелепейшую ошибку в отношении Карла IX, и она как раз связана с Лувром. В годы революции господствовало враждебное отношение к этому королю, его изображали совсем не таким, каким он был в действительности, а чудовищно жестоким. Трагедия Шенье[122] была написана под влиянием надписи, сделанной на окне здания луврского дворца, выходящего на набережную.

[122] Примечания: 122

Трагедия Шенье — трагедия «Карл IX, или Школа королей», автором которой был французский драматург Мари Жозеф Шенье (1764–1811); в трагедии осуждалась монархическая власть и церковь.

Надпись эта гласила: «Из этого окна страшной памяти Карл IX стрелял во французских граждан». Следует заметить будущим историкам и всем рассудительным людям, что той части Лувра, которая сейчас носит название Старого Лувра, выступающей в виде топора на набережную и соединяющей салон и дворец при помощи галереи, называемой галереей Аполлона, и Лувр — с Тюильри при помощи зал музея, при Карле IX вовсе не существовало. Самая значительная часть площадки, на которой находился фасад, выходящий на набережную там, где разбит так называемый сад Инфанты, была занята дворцом Бурбонов, который принадлежал именно Наваррскому дому. Карл IX никак не мог стрелять из здания, построенного Генрихом, в барку, в которой гугеноты переезжали через реку, хотя он мог ясно видеть Сену из тех окон Лувра, которые ныне уже замурованы. Даже если бы в распоряжении ученых в библиотеках не оказалось планов Лувра эпохи Карла, где все обозначено с большой точностью, само ныне существующее здание легко опровергло бы это ошибочное представление. Ни один из королей, которые участвовали в постройке этого огромного здания, не забывал поместить где-нибудь свой вензель или анаграм-

му. Так вот в этой внушительной и в наше время совершенно потемневшей части Лувра, которая выходит в сад Инфанты и выдается на набережную, мы находим вензель Генриха III и Генриха IV, которые сильно отличаются от вензеля Генриха II, где H в соединении с двумя C Екатерины образует букву D, которая может сбить с толку людей малосведущих. Генрих IV сумел сделать принадлежавший ему дворец Бурбонов со всеми его пристройками и садами частью Лувра. Ему первому пришла мысль присоединить дворец Екатерины Медичи к Лувру с помощью этих недостроенных галерей, где расставлены драгоценные скульптуры, которые сейчас находятся в таком забросе. Но даже если бы не сохранились ни планы Парижа эпохи Карла IX, ни вензеля Генриха III и Генриха IV, различие скульптурных стилей все равно разоблачало бы эту клевету. Архитектура изъеденных червями каменных выступов здания тюрьмы Ла Форс и этой части Лувра носит черты перехода от архитектуры Возрождения к архитектуре эпохи Генриха III, Генриха IV и Людовика XIII. Это археологическое отступление, дополняющее описания, которые даны в начале этой повести, помогает разглядеть истинный облик этого уголка Парижа. Сейчас

от него ничего не осталось, кроме одной только части Лувра, и великолепные барельефы, украшающие это здание, разрушаются день ото дня.

Когда при дворе узнали, что Екатерина собирается принять у себя Теодора де Беза и Шодье, представленных ей адмиралом Колиньи, все придворные, которые имели право входа в зал аудиенций, сошлись туда, чтобы присутствовать при этой встрече. Было около шести часов вечера. Адмирал только что пообедал и, ковыряя в зубах, поднимался по лестницам Лувра вместе с обоими реформатами. Пользование зубочисткой вошло у адмирала в привычку, он мог, например, прочищать свои зубы в разгаре битвы, когда он обдумывал отступление. «Бойтесь адмирала, когда он прочищает зубы, коннетабля, когда он говорит “нет”, и Екатерины, когда она говорит “да”, — любили повторять в то время при дворе. После Варфоломеевской ночи, когда труп Колиньи трое суток висел на площади Монфокон, толпа злобно посмеялась над ним, воткнув ему в рот зубочистку. Летописцы рассказали нам об этой отвратительной забаве. Это маленькое происшествие на фоне такой огромной катастрофы характеризует прежде всего парижан, которые вполне заслуживают, чтобы, перефразировав

смеха ради стах Буало, о них сказали:

Насмешливый француз придумал гильотину.

Парижанин всегда умел шутить — и до революции, и во время революции, и после нее.

Теодор де Без был одет как придворный. Он был в чулках, в башмаках с прорезями, в полосатых штанах, в черном бархатном камзоле, на котором выделялись плоеные брыжи. Он носил усы и маленькую бородку. На перевязи у него висела шпага, в руках он держал трость. Тот, кто видел галереи Версаля или собрания Одиевра[123], помнит его круглое, пожалуй, даже веселое, лицо, с живыми глазами и высоким лбом, который так характерен для писателей и поэтов той эпохи. У де Беза была приятная внешность, и это ему очень помогало. Он был полной противоположностью Колиньи, строгое лицо которого всем хорошо известно, и суровому и желчному Шодье, который везде носил свое одеяние проповедника и кальвинистский нагрудник. Зная, что в наши дни происходит в палате депутатов и что, несомненно, происходило в Конвенте, легко можно понять, как при этом дворе в ту эпоху люди, которые спустя полгода взялись за оружие и дрались

[123] Примечания: 123

Собрание Одиевра — собрание гравюр. Одиевр опубликовал в первой половине XVIII века серию из 600 портретов — «Знать Европы».

не на жизнь, а на смерть, могли сейчас встречаться, вежливо разговаривать друг с другом и даже шутить. Бирага, который с холодным спокойствием подал мысль устроить резню гугенотов в Варфоломеевскую ночь, кардинал Лотарингский, который потом потребовал от Бема, своего слуги, чтобы тот не промахнулся, стреляя в адмирала, вышли навстречу Колиньи, и пьемонтец сказал ему, улыбаясь:

— Итак, дорогой адмирал, вы решили представить нам этих господ женевцев?

— Вы, может быть, сочтете, что с моей стороны это преступление, — насмешливо ответил ему адмирал, — а ведь если бы за это дело взялись вы, вы вменили бы его себе в заслугу.

— Говорят, господин Кальвин серьезно болен? — спросил кардинал Лотарингский у Теодора де Беза. — Я надеюсь, что нас не станут подозревать в том, что мы его отравили?

— Монсеньор, вы бы слишком много тогда потеряли! — ответил хитрый де Без.

Герцог Гиз, внимательно рассматривавший Шодье, переглянулся с братом и с Бирагой. Обоих эти слова поразили.

— Ей-богу же, — воскликнул кардинал, — еретики совсем не дураки в политике!

Чтобы не попасть в затруднительное положение, королева, о приходе которой только что доложили, решила не садиться. Она заговорила с коннетаблем, который оживленно начал доказывать ей, что она не должна была принимать посланцев Кальвина.

— Вы же видите, дорогой коннетабль, что мы с ними не церемонимся.

— Ваше величество, — сказал адмирал, подходя к королеве, — вот два проповедника нового вероучения, которые были у Кальвина и привезли с собой его указания относительно конференции, где обе церкви Франции могли бы договориться между собою.

— Вот господин Теодор де Без, которого моя жена очень ценит, — сказал король Наваррский, появляясь в эту минуту и беря за руку Теодора де Беза.

— А вот Шодье! — воскликнул принц Конде. — *Мой друг,* герцог Гиз, знает капитана, — сказал он, глядя на Балафре, — может быть, ему будет приятно познакомиться и с проповедником.

Эта выходка в гасконском духе рассмешила весь двор и даже Екатерину.

— Клянусь вам, — ответил герцог Гиз, — что я очень рад видеть перед собой молодца, который

отлично умеет подбирать людей и надлежащим образом их использовать. Один из ваших, — сказал он проповеднику, — выдержал чрезвычайную пытку и при этом остался жив и ни в чем не признался. Я считаю себя человеком храбрым, но не знаю, мог бы я выдержать ее так, как он!..

— Ну, положим, — воскликнул Амбруаз Паре, — вы даже не вскрикнули, когда в Кале я вытаскивал острие копья, что застряло у вас под глазом!

Екатерина, стоявшая в центре полукружия, который справа и слева образовывали ее придворные и фрейлины, хранила глубокое молчание. Она смотрела на обоих знаменитых реформатов; стараясь внимательно разглядеть их своими прекрасными и умными черными глазами, она изучала их.

— Один из них клинок, а другой — ножны, — шепнул ей на ухо Альберто Гонди.

— Господа, — сказала Екатерина, не в силах удержаться от улыбки, — насколько я понимаю, ваш учитель разрешил вам созвать конференцию, чтобы вы могли обратиться в истинную веру, слушая слова новых отцов католической церкви, которые составляют славу нашего государства?

— У нас нет другого учителя, кроме господа бога, — ответил Шодье.

— Но вы все-таки признаете какую-то власть за королем Франции? — спросила Екатерина с улыбкой, обрывая его на полуслове.

— И еще большую за королевой, — сказал де Без, поклонившись.

— Вот увидите, — заметила Екатерина, — еретики будут моими самыми верными подданными.

— Ах, ваше величество, — воскликнул Колиньи, — что же станется с нашей страной! Европа все время выгадывает от наших внутренних распрей. Уже целых пятьдесят лет на глазах у нее одна половина Франции ополчается против другой.

— Что же, выходит, мы собрались здесь, чтобы выслушивать дифирамбы во славу еретиков? — грубо заметил коннетабль.

— Нет, чтобы заставить их покаяться, — шепнул ему на ухо кардинал Лотарингский. — Мы хотим попробовать привлечь их на свою сторону лаской.

— Знаете, как я бы поступил, если бы сейчас царствовал отец нашего короля? — сказал Анн де Монморанси. — Я позвал бы сейчас прево и без всяких разговоров повесил бы обоих этих

подлецов на виселице около Лувра.

— Скажите, господа, кто из ваших богословов будет выступать против нас? — спросила королева, взглядом призывая коннетабля замолчать.

— Дюплесси-Морнэ и Теодор де Без, — сказал Шодье.

— Двор, скорее всего, поедет в замок Сен-Жермен, и так как не совсем удобно, чтобы эта конференция происходила в резиденции короля, мы устроим ее в маленьком городке Пуасси, — объявила Екатерина.

— Ваше величество, а мы будем там в безопасности? — спросил Шодье.

— Вы же всегда можете принять необходимые меры предосторожности, — не без наивности ответила королева. — Господин адмирал договорится об этом с моими кузенами Гизами и с Монморанси.

— Мне на это плевать! — буркнул коннетабль. — Соваться в эти дела я не стану.

— Как это вам удается воспитать в ваших адептах такую силу воли? — спросила королева, уводя Шодье на несколько шагов в сторону. — Сын моего меховщика вел себя как герой…

— С нами вера! — ответил Шодье.

В эту минуту присутствующие, разбившись

на группы, обсуждали предстоящее совещание, которое с легкой руки королевы все стали уже называть «конференцией в Пуасси». Екатерина посмотрела на Шодье и тихо сказала ему:

— Да, новая вера!

— Ах, ваше величество, если бы вы не были ослеплены вашей близостью к папской курии, вы бы видели, что мы возвращаемся к истинному учению Иисуса Христа, который учил, что все души человеческие равны, и поэтому дал нам, людям, равные права здесь, на земле.

— А вы что, тоже считаете себя равным Кальвину? — ехидно спросила Екатерина. — Полноте, мы равны лишь перед церковью. Но подумать только, разорвать нити, связующие народы и его правителей! — воскликнула Екатерина. — Вы не просто еретики: проповедуя неповиновение папе, вы тем самым восстаете против повиновения королю!

Она стремительно покинула Шодье и вернулась к Теодору де Безу.

— Я полагаюсь на вас, сударь, — сказала она, — и хочу, чтобы вы провели эту конференцию по совести. Обдумайте все как следует.

— Я считал, что к государственным делам здесь относятся серьезнее, — сказал Шодье, обращаясь

к принцу Конде, королю Наваррскому и адмиралу Колиньи.

— О, мы-то хорошо знаем все, что нам нужно! — сказал принц Конде, многозначительно переглянувшись с Теодором де Безом.

Горбун покинул своих соратников и отправился на любовное свидание. Знаменитый принц Конде, вождь реформатов, имел огромный успех у придворных дам. Две знаменитейшие красавицы того времени с таким ожесточением оспаривали его друг у дружки, что жена маршала Сент-Андре, будущего триумвира, даже отдала ему свое великолепное поместье в Сен-Валери, лишь бы только отбить его у герцогини Гиз, жены того, кто еще совсем недавно собирался отрубить ему голову на эшафоте. Эта женщина, будучи не в силах отвлечь герцога Немурского от его любовной связи с мадемуазель де Роан, сделала своим избранником вождя реформатов.

— Как все это непохоже на Женеву! — воскликнул Шодье, когда мы с Теодором де Безом проходили один из мостиков Лувра.

— Разумеется, здесь повеселее. Я только не могу понять, почему они до такой степени продажны! — сказал де Без.

— Мы рассчитаемся с ними той же монетой, —

ответил Шодье на ухо Теодору. — В Париже у меня есть мои святые, на которых я могу положиться. Я докажу, что Кальвин — настоящий пророк. Кристоф поможет нам избавиться от наших опаснейших врагов.

— Королева-мать, ради которой этот несчастный перенес пытку, сразу же сделала его и адвокатом парламента, а адвокаты чаще становятся доносчиками, чем убийцами. Вспомните Авенеля, который предал наше первое восстание.

— Кристофа я знаю, — уверенно сказал Шодье, расставаясь с посланцем Женевы.

XVII. Награда

Через несколько дней после беседы Екатерины с тайными посланцами Кальвина, в конце того же самого года, ибо год начинался тогда с пасхи, а теперешний календарь был принят только в царствование Карла IX, Кристоф лежал в кресле у огня в той большой и мрачной комнате, где протекала жизнь его семьи и откуда берет начало вся эта драма. Ноги он положил на табурет. Г-жа Лекамю и Бабетта Лалльe только что сменили ему примочки. Примочки эти делались из смеси, привезенной Амбруазом, который следил за его здоровьем по поручению Екатерины. Вернувшись в лоно семьи, юноша сделался там предметом самых нежных забот. Бабетта с разрешения отца приходила сюда утром и возвращалась домой только поздно вечером. Подмастерья смотрели на Кристофа с восхищением; он делался притчей во языцех всего квартала: о нем начали слагать легенды, окружавшие его ореолом таинственности. Ведь у него хватило сил выдержать пытки, а знаменитый Амбруаз Паре употребил все свое искусство на то, чтобы его вылечить. Чем же он все это заслужил? Ни сам Кристоф, ни его отец

не обмолвились об этом ни словом. Екатерина, которая была тогда всемогуща, была заинтересована в том, чтобы молчать, равно как и принц Конде. Частые посещения Амбруаза, хирурга короля и дома Гизов, которому королева-мать и Лотарингцы разрешили лечить юношу, обвиненного в ереси, сбивали людей с толку, и в этом деле никто ничего не мог понять. К тому же кюре церкви Сен-Пьер-о-Беф неоднократно приходил проведать сына своего церковного старосты, — от этого все казалось еще более загадочным.

У старого синдика были на этот счет свои соображения; когда собратья по ремеслу, торговцы, друзья начинали расспрашивать его о сыне, он отвечал каждый раз уклончиво:

«Какое счастье, куманек, что он остался жив! Ты ведь знаешь пословицу: не клади палец между молотом и наковальней. А он положил свою руку на костер, и костер едва не спалил весь наш дом! Люди воспользовались его неопытностью, а ведь когда мы, простые горожане, связываемся со знатными господами, дело никогда не обходится без беды и позора. Вот почему я решил сделать моего мальчика адвокатом. Там, в суде, его научат соразмерять свои слова и поступки. Молодая королева, та, что теперь в Шотландии, здесь тоже

руку приложила. Но, может быть, сын и сам был неосторожен!.. Сколько мне всего пришлось пережить... Может быть, я и вообще-то теперь закрою лавку, больше я уже ведь ни за что не явлюсь ко двору... Да и Кристоф по горло сыт этой Реформацией, из-за нее ему и руки и ноги переломали. Что бы я теперь стал делать без Амбруаза?»

Подобные слова старика и его благоразумное поведение убедили всех соседей, что Кристоф уже больше не якшается с еретиками. Они сочли вполне естественным, что старый синдик хочет сделать сына адвокатом, и посещения кюре перестали их удивлять. Тем, кто думал о несчастье синдика, даже в голову не приходило, что им движет честолюбие, — это бы всех ужаснуло. Молодой адвокат, который уже провел девяносто дней лежа в кровати, поставленной для него в старой комнате, только неделю тому назад начал вставать, и чтобы передвигаться, ему нужны были костыли. Любовь Бабетты и нежные заботы его матери трогали Кристофа до глубины души. Пока он лежал в постели, обе женщины наперебой отчитывали его за то, что он отошел от католической веры. Президент де Ту посетил своего крестника и был с ним по-отечески ласков. Разумеется, чтобы стать адвокатом парламента,

Кристофу следует исповедовать католическую веру, он ведь должен принести присягу. Однако президент, который не сомневался в том, что юноша остался правоверным католиком, многозначительно добавил:

— Дитя мое, ты прошел тяжелое испытание. Я даже не знаю, что заставило герцога и кардинала так жестоко поступить с тобой. Прошу тебя, живи теперь спокойной жизнью и не впутывайся ни в какие заговоры. Знай, что ни королева, ни король не станут наделять своими милостями тех, кто сеет бурю. Ты не такой большой человек, чтобы ставить королю какие-то условия, как это делают Гизы. Помни, для того, чтобы когда-нибудь стать советником парламента, надо быть по-настоящему преданным королю.

Однако ни разговоры с президентом де Ту, ни чары Бабетты, ни наставления матери не поколебали веры этого мученика Реформации. Страдания, перенесенные им во имя этой веры, сделали его еще более стойким ее поборником.

— Отец никогда не согласится, чтобы я вышла замуж за еретика, — шептала ему на ухо Бабетта.

На это Кристоф отвечал ей только слезами, и девушка становилась задумчивой и молчаливой.

Старик Лекамю сохранял свое достоинство отца

и синдика; он приглядывался к сыну и говорил мало. Отвоевав своего любимца Кристофа, он был все же немного недоволен собой, он сожалел о том, что дал своему единственному сыну увидеть, как тот ему дорог; меж тем в глубине души он им восхищался. Никогда в жизни синдик не пускал в ход столько механизмов, чтобы достичь своей цели, ибо он видел, что зерно, которое он посеял с таким трудом, взошло, и хотел во что бы то ни стало собрать свою жатву. За несколько дней до этого утра у него был долгий разговор с сыном: ему хотелось разгадать причину его упорства. Кристоф, которому честолюбие было не чуждо, верил в принца Конде. Благородные слова принца, который вел себя не хуже, чем любой другой принц, запечатлелись в его сердце. Но он не знал, что в ту самую минуту, когда он трогательно прощался с Конде, сипя за решеткой Орлеанской тюрьмы, тот посылал его ко всем чертям и только думал: «Гасконец бы меня понял!»

Это чувство восхищения перед принцем не мешало Кристофу испытывать глубочайшее уважение к великой королеве Екатерине, которая одним взглядом сумела убедить его в необходимости принести себя в жертву и которая потом, во время пытки, другим взглядом, в котором

проступали слезы, обещала ему все, что могла тогда обещать. Все эти девяносто дней и девяносто ночей, которые будущий адвокат провел в полнейшей тишине, он вспоминал все, что с ним было в Блуа и в Орлеане. Помимо воли он мысленно сравнивал обоих своих покровителей: он не знал, кому отдать предпочтение — королеве или принцу. Несомненно, он оказал большую услугу Екатерине, чем Реформации, но юношу влекло и сердцем и разумом к этой королеве не только поэтому, а прежде всего потому, что она была женщиной. В подобных случаях мужчина всегда ждет большего от женщины, а не от мужчины.

«Ради нее я принес себя в жертву, чем же теперь она вознаградит меня за все?»

Помимо воли он снова задавал себе этот вопрос, припоминая те интонации, с которыми она произнесла слова: «Povero mio»[124].

Просто невероятно, до какой степени человек, пригвожденный болезнью к постели, становится индивидуалистом! Все окружающее и даже заботы близких о его здоровье заставляют его сосредоточиться на мыслях о себе. Кристофу казалось, что принц Конде чувствует себя обя-

---

[124] Примечания: 124
Бедняжка мой *(ит.)*.

занным по отношению к нему и что теперь он назначит его на какую-нибудь должность при Наваррском дворе. Этот юноша, еще не искушенный в политике, забывал о том, чем обычно бывают поглощены вожди партий, с какою стремительностью они перешагивают через головы людей и через события. В немалой степени этому способствовало и то, что, затворенный в своей полутемной комнате, он был отрезан от мира, как в тюрьме. Когда партия вдет в наступление, она неминуемо становится неблагодарной; она тем более неблагодарна тогда, когда одержит победу, ибо появляется слишком много людей, которые требуют награды. Солдаты готовы помириться с этой неблагодарностью, но зато все главари становятся в оппозицию к своему новому начальнику, с которым они так долго были на равных правах. Кристоф был единственным из всех, кому довелось, оставшись в живых, вспоминать о своих страданиях; причисляя себя к мученикам Реформации, он возомнил себя одним из ее вождей. Старик Лекамю, этот хитрый купец, человек столь опытный и проницательный, в конце концов разгадал тайные чаяния своего сына. Поэтому весь свой расчет он построил на тех сомнениях, которые одолевали тогда Кристофа.

— А ведь правда, неплохо выйти замуж за советника парламента, — сказал он накануне Бабетте в присутствии всех родных, — тебя стали бы звать *сударыней!*

— Да вы совсем с ума сошли, куманек! — возразил Лалльe. — Во-первых, где это вы возьмете десять тысяч экю земельной ренты, которую надлежит иметь советнику, и у кого вы купите эту должность? Надо, чтобы этим вплотную занялась сама королева-мать, наша регентша. Тогда, может быть, его еще и приняли бы в парламент, но как же допустить туда человека, замаравшего себя связью с еретиками?

— А что бы вы дали за то, чтобы видеть вашу дочь женою советника?

— Вы хотите знать, сколько у меня всего денег, хитрец вы эдакий! — сказал Лалльe.

Советник парламента! Кристоф весь задрожал от этих слов.

Однажды утром, уже много времени спустя, когда Кристоф смотрел в окно на реку, напомнившую ему ту сцену, с которой началась наша повесть, а также принца Конде, Ла Реноди, Шодье, путешествие в Блуа — словом, все его былые надежды, синдик вошел в комнату и подсел к нему на кровать. Он старался оставаться серьезным,

но ему трудно было скрыть свою радость.

— Сын мой, — сказал он, — после того, что произошло между тобой и виновниками восстания в Амбуазе, Наваррский дом достаточно обязан тебе и ему не мешало бы подумать о твоем будущем.

— Разумеется, — ответил Кристоф.

— Ну, так вот, — сказал отец, — я без всяких обиняков попросил их купить для тебя должность судьи в Беарне. Наш добрый друг Паре взялся передать письма, которые я написал от твоего имени принцу Конде и королеве Жанне. А теперь прочти, что на них отвечает Наваррский вице-канцлер г-н де Пибрак.

«Сьёру Лекамю, синдику цеха меховщиков.

Его высочество принц Конде просит меня передать Вам, что, к сожалению, ничего не может сделать для своего товарища по башне Сент-Эньян. Он помнит о нем и предлагает ему занять сейчас должность в своей гвардии, а это даст ему возможность, как человеку храброму, продвинуться дальше.

Королева Наваррская ждет, что ей представится случай вознаградить сьёра Кристофа, и не преминет им воспользоваться.

Да хранит Вас господь бог, господин синдик.

Нерак *Пибрак,*

Наваррский канцлер».

— Нерак, Пибрак, вот так так! — воскликнула Бабетта. — От гасконцев ждать нечего, они только о себе думают.

Старый Лекамю насмешливо поглядел на сына.

— И он еще предлагает садиться в седло несчастной жертве, человеку, которому из-за него же переломали ноги! — вскричала г-жа Лекамю. — Какое возмутительное издевательство!

— Что-то я не вижу, чтобы тебя назначили советником в Наварру, — сказал синдик меховщиков.

— Я бы хотел знать, что сделает для меня королева Екатерина, если я ее попрошу, — сказал пораженный Кристоф.

— Она ничего тебе не обещала, — сказал старик, — но я уверен, что она не станет насмехаться над тобой и вспомнит о том, сколько ты выстрадал. Только подумай, может ли она сделать советником парламента простого горожанина-протестанта?..

— Но Кристоф ведь не отрекался от нашей веры! — воскликнула Бабетта. — А его настоящие религиозные убеждения — это его личное дело.

— Принц Конде вел бы себя, вероятно, немного

пообходительнее с советником парижского парламента, — сказал Лекамю.

— Советником, отец! Да возможно ли это?

— Да, если только ты не станешь препятствовать тому, что я хочу для тебя сделать. Мой кум Лалльe дает двести тысяч экю, если и я дам столько же на покупку хорошего дворянского поместья при условии, что оно будет переходить по наследству от отца к сыну. И это поместье мы тебе дадим в качестве свадебного подарка.

— А я еще кое-что добавлю, чтобы ты мог купить себе дом в Париже, — сказал Лалльe.

— Так что же, Кристоф? — спросила Бабетта.

— Вы ведь все это решили без королевы, — ответил молодой адвокат.

Через несколько дней после этого довольно горького разочарования один из учеников вручил Кристофу лаконическую записку:

«Шодье хочет видеть своего духовного сына!»

— Пусть войдет! — воскликнул Кристоф.

— О мой великомученик! — сказал проповедник, обнимая нашего адвоката. — Ну, как ты, поправился?

— Да, милостью Паре.

— Милостью господа бога, который дал тебе силы перенести пытку! Но я не верю своим ушам!

Мне сказали, что ты согласился стать адвокатом, что ты дал присягу, что ты признал эту блудницу, католическую апостольскую церковь и папу?..

— Этого захотел мой отец,

— Да, но разве мы не должны оставлять наших отцов, наших детей, наших жен, всех на свете, во имя святого дела кальвинизма, вынести все страдания… Ах, Кристоф, Кальвин, великий Кальвин, вся наша партия, весь мир, будущие поколения — все рассчитывают на твою храбрость и на величие твоей души. Нам нужна твоя жизнь.

Душа человека такова, что тот, кто наиболее предан своей идее, отдавая ей жизнь, в минуты страшнейшей опасности бывает полон самых несбыточных надежд. Когда на реке под Мостом Менял принц, солдат и проповедник попросили Кристофа отвезти Екатерине послание, юноша, хоть он отлично знал, что рискует жизнью, понадеялся на судьбу и смело ринулся туда, где две страшные партии: Екатерины и Гизов — чуть не раздавили его в своих тисках. Во время пытки он еще продолжал говорить себе: «Я все выдержу, это ведь только боль!»

Но теперь, когда от него, еще совершенно слабого и больного, едва оправившегося от пытки и особенно остро полюбившего жизнь, после

того, как он так близко видел смерть, прямо потребовали: «Умри! — он уже не верил никаким иллюзиям. Кристоф спокойно ответил:

— Что от меня требуется?

— Храбро выстрелить из пистолета, как Стюарт стрелял в Минара.

— В кого?

— В герцога Гиза.

— Значит, убийство?

— Месть! Разве ты забыл, как в Амбуазе казнили сотню дворян, всех на одном эшафоте? Юный д'Обинье, совсем еще мальчик, увидав эту бойню, сказал: «Они погубили всю Францию».

— Надо сносить все удары, но не отвечать на них, так учит нас Евангелие, — возразил Кристоф. — Для чего же нам Реформация, если мы собираемся сами поступать как каюлики?

— Ах, Кристоф, они из тебя сделали адвоката, ты теперь стал рассуждать! — сказал Шодье.

— Нет, друг мой, — ответил ему юноша. — Но принцы — люди неблагодарные, и вы сами, и все ваши сторонники будете игрушками в руках у Бурбонов.

— Знай, Кристоф, что, если бы ты услышал Кальвина, ты бы понял, что они нам послушны. Бурбоны — всего-навсего перчатки, а руки — это

мы.

— Читайте, — сказал Кристоф, протягивая проповеднику ответ Пибрака.

— Дитя мое, ты стал честолюбцем, ты уже не согласен отдать жизнь за дело веры… Как мне тебя жаль!

Сказав эти красивые слова, Шодье ушел.

Через несколько дней после этого семьи Лекамю и Лалье собрались по случаю помолвки Бабетта и Кристофа в той же мрачной комнате. Кристоф уже встал с постели, он был даже в состоянии подниматься наверх и начинал отвыкать от костылей.

Было девять часов вечера, и все ждали Амбруаза Паре. За столом, на котором лежали договоры, сидел нотариус. Лекамю продавал дом и лавку своему старшему приказчику, который сразу же платил ему сорок тысяч ливров; чтобы рассчитаться также и за товар, тот закладывал дом и таким образом мог внести двадцать тысяч ливров наличными.

Лекамю приобретал великолепный каменный дом, построенный Филибером Делормом, на улице Сен-Пьер-о-Беф и отдавал его сыну в качестве свадебного подарка. Помимо этого, синдик и Лалье давали ему из своих денег по двести пять-

десят тысяч ливров на приобретение прекрасного дворянского поместья в Пикардии, за которое с него просили пятьсот тысяч ливров. Это поместье входило в состав королевских ленных владений, и для покупки его надо было не только уплатить значительную пошлину и налог, но также иметь на руках грамоту короля. Таким образом, бракосочетание приходилось отложить до получения этой королевской милости. Несмотря на то что парижским горожанам было даровано право покупать дворянские поместья, тайный совет установил некоторые ограничения там, где дело касалось земель, входивших в состав ленных владений короля, а поместье, в течение десяти лет привлекавшее Лекамю, являлось именно одним из таких исключений. Амбруаз взялся принести королевскую грамоту в тот же вечер. Старик Лекамю ходил взад и вперед, снедаемый нетерпением, которое показывало, насколько он был тщеславен. Наконец появился Амбруаз.

— Вот что, дружище, — сказал хирург, озабоченно озирая столы, — посмотрим, как у тебя столы накрыты. Ну, ничего. Только знаешь, свечи зажги восковые. Да поторапливайся! А посуду приготовь самую лучшую.

— Что все это значит? — спросил кюре церкви

Сен-Пьер-о-Беф.

— К вам на ужин сегодня пожалует королева-мать вместе с молодым королем, — ответил первый хирург. — Королева и король ждут к себе старого советника, чья должность покупается для Кристофа, и господина де Ту, который заключал эту сделку. Только смотрите, не подавайте виду, что вас об этом предупредили. Я еле-еле выбрался из Лувра.

В одно мгновение в доме все было поднято на ноги. Мать Кристофа и Бабетта бегали туда и сюда и отчаянно суетились, как бывает с застигнутыми врасплох хозяйками. Несмотря на замешательство, которое это сообщение внесло в оба семейства, все приготовления были сделаны с молниеносной быстротой. Кристоф, оторопевший от подобной милости, ошеломленный и смущенный, не мог вымолвить ни слова и смотрел на все как-то безучастно.

— Подумать только, королева с королем у нас в доме! — говорила старуха-мать.

— Королева! — повторяла Бабетта. — Как мне себя с ней держать, о чем говорить?

За какой-нибудь час прежней комнаты было не узнать. Все было убрано, и стол блестел. В это время на улице послышался топот лошадей.

Увидав всадников с зажженными факелами, жители всего квартала повысовывались из окон. Всадники промчались мгновенно. Под навесом остались только королева-мать с сыном, королем Карлом IX, Карло Гонди, назначенный гардеробмейстером и наставником короля, г-н де Ту, старый советник, государственный секретарь Пинар и двое пажей.

— Добрые люди, — сказала королева, входя в дом. — Король, мой сын, и я, мы приехали сюда подписать брачный контракт сына нашего меховщика. Но это при условии, что он останется католиком. Надо быть католиком, чтобы стать членом парламента; надо быть католиком, чтобы купить себе поместье, которое является ленным владением; надо быть католиком, чтобы сидеть за одним столом с королем. Не правда ли, Пинар?

Государственный секретарь вошел вслед за ними и вынул указы.

— Если окажется, что здесь собрались не только католики, — сказал юный король, — то Пинар бросит все эти бумаги в огонь. Но мы ведь все здесь католики, не правда ли? — добавил он, не без гордости поглядывая на всех собравшихся.

— Да, ваше величество, — сказал Кристоф Лекамю, хоть и с трудом, но все же преклоняя колено

и целуя руку, которую ему протянул молодой король.

Королева Екатерина, которая также протянула Кристофу руку, вдруг сделала ему знак подняться и, отведя его в угол комнаты, сказала:

— Смотри только, мой мальчик, не хитри с нами, мы ведь с тобой откровенны!

— Я обещаю вам, ваше величество, — ответил он, тронутый щедрой наградой и той честью, которую теперь оказывала ему эта королева, умеющая ценить услуги.

— Итак, господин Лекамю, король, мой сын, и я, мы разрешаем вам вступить в исполнение обязанностей нашего доброго Гроле, советника парламента, который здесь присутствует, — сказала королева. — Я надеюсь, что вы будете исправно нести службу под началом первого президента.

Де Ту выступил вперед и заявил:

— Ваше величество, я за него отвечаю.

— Тогда, нотариусы, приступите к делу.

— Раз король, наш господин, оказывает нам такую милость, подписывая брачный договор моей дочери, — воскликнул Лалье, — я оплачиваю сполна всю стоимость поместья!

— Дамы могут садиться, — любезно разрешил

король. — В виде свадебного подарка невесте я, с соизволения моей матери, отказываюсь от моих прав на лен.

Старик Лекамю и Лалльe бросились на колени и поцеловали королю руку.

— Подумайте, ваше величество, сколько денег у этих горожан! — шепнул Гонди на ухо королю.

Молодой король расхохотался.

— Раз ваши величества сейчас в хорошем расположении духа, — сказал старый Лекамю, — может быть, они позволят мне представить им моего преемника и вручат ему королевский указ о назначении меховщиком королевских домов?

— Хорошо, — сказал король.

Тогда Лекамю подвел к ним своего бывшего приказчика, совершенно бледного от волнения.

— С соизволения государыни мы сядем сейчас за стол, — сказал молодой король.

Старику Лекамю захотелось оказать внимание королю, и он поднес ему серебряный кубок, стоивший не менее двух тысяч экю. Кубок этот он получил от Бенвенуто Челлини[125] в то время, когда тот жил во Франции в замке Нель.

— Посмотрите, матушка, какая замечательная

---

[125] Примечания: 125

Бенвенуто Челлини (1500–1571) — итальянский скульптор и ювелир, известны его мемуары.

работа! — воскликнул юный король, поднимая кубок за ножку.

— Это сделано во Флоренции, — сказала Екатерина.

— Простите меня, ваше величество, — сказал Лекамю, — это действительно сделано одним флорентинцем, но только у нас, во Франции. Все флорентинское в нем будет принадлежать королеве, все французское — королю.

— Я принимаю этот подарок, — воскликнул Карл IX, — отныне я буду пить из этого кубка!

— Он достаточно хорош, — сказала королева, разглядев этот шедевр искусства, — чтобы занять место среди сокровищ короны.

— Скажите мне, господин Амбруаз, — тихонько спросила королева своего хирурга, указывая ему на Кристофа, — вам удалось его вылечить? Ходить он будет?

— Он будет летать, — улыбаясь, ответил хирург. — Ах, во что вы его превратили!

— Из-за одного человека дело не останавливается, — ответила королева с тем легкомыслием, в котором ее всегда упрекали и которое в действительности было только напускным.

Ужин прошел весело; королева нашла Бабетту хорошенькой и с великодушием, которое

ей всегда было свойственно, сняла с пальца бриллиантовое кольцо и подарила ей, чтобы отблагодарить за кубок, поднесенный старым меховщиком. Король Карл IX, который впоследствии чрезмерно пристрастился к тому, чтобы так вторгаться в дома к своим подданным, поужинал с большим аппетитом. Потом, послушав своего нового наставника, которому, как говорят, было велено заставить его позабыть о всех добродетельных поучениях Сипьера, он так напился вместе с первым президентом, старым, вышедшим в отставку советником, государственным секретарем, кюре, нотариусом и хозяевами дома, что королева Екатерина при виде этого веселья, которое стало переходить все границы, решила, что пора уходить. Когда королева поднялась из-за стола, Кристоф, его отец и обе женщины взяли факелы и проводили ее до самого порога лавки. Там Кристоф набрался смелости. Он дотронулся до широкого рукава королевы и приложил палец к губам. Екатерина остановилась, сделала знак старику Лекамю и обеим женщинам удалиться и спросила Кристофа:

— Что ты хочешь сказать?

— Если вы сможете, ваше величество, извлечь из моих слов какую-то пользу, то знайте: герцога

Гиза хотят убить…

— Ты верный человек, — улыбаясь, сказала Екатерина, — и я тебя никогда не забуду.

Она протянула ему руку, славившуюся своей удивительной красотой, и сняла перчатку, что можно было счесть знаком особой милости. И Кристоф, целуя эту прелестную руку, почувствовал, что стал роялистом.

«Значит, они хотят избавить меня от этого солдафона, и даже не спрашивая моего согласия!» — подумала королева, надевая перчатку.

Она села на мула и вернулась в Лувр в сопровождении своих двух пажей.

Кристоф выпил немало, но вино не рассеяло его грусти. Суровое лицо Амбруаза было живым упреком его отступничеству. Однако последующие события показали, что старый синдик был прав. Кристофу никоим образом не удалось бы спастись от Варфоломеевской ночи, его богатства и его поместья прельстили бы убийц. История сохранила в памяти ужасную участь жены преемника Лаллье. Эту красивую женщину убили, и тело ее, раздетое донага, привязали за волосы к одному из столбов Моста Менял, где оно провисело три дня. Бабетта трепетала при мысли о том, что с ней могло произойти то же самое,

если бы Кристоф продолжал оставаться кальвинистом — этим именем вскоре стали называть всех реформатов. Честолюбие Кальвина было удовлетворено, но уже после его смерти.

Вот каково происхождение знаменитого парламентского дома Лекамю. Тальман де Рео ошибается, утверждая, что они происходят из Пикардии. Просто впоследствии представители этого рода были заинтересованы в том, чтобы связывать происхождение своих предков с самым замечательным своим поместьем, находившимся как раз в Пикардии. Сын Кристофа, который в царствование Людовика XIII сделался его преемником, был отцом того богатого президента Лекамю, который при Людовике XIV воздвиг свой великолепнейший дворец. Дворец этот наряду с домом Ламбер вызывает восторги иностранцев и парижан и по праву считается одним из красивейших зданий в Париже. Дворец Лекамю стоит и по сей день на улицеТориньи, хотя в начале Революции, из-за того, что он принадлежал парижскому архиепископу г-ну де Жюиньи, он был разграблен. Вся роспись была уничтожена, а впоследствии в нем устроили пансионат, и это довершило его внутреннее разрушение. Здание это, построенное на средства, приобре-

тение которых началось еще в старом доме на улице Лепельтри, и сейчас еще свидетельствует о том, какие прекрасные творения мог некогда создавать старинный уклад семейной жизни. Да позволят мне усомниться в том, что индивидуализм нашего времени, когда все наследства делятся на равные доли, сумеет оставить после себя столь замечательные памятники.

Часть вторая
Тайна братьев Руджери

I. Двор при Карле IX

В конце октября 1573 года, между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи, два итальянца из Флоренции, два брата, Альберто Гонди, маршал Франции, и Карло Гонди, гардеробмейстер Карла IX, сидели на крыше одного из домов по улице Сент-Оноре, на краю каменного желоба. Такие желоба в то время проходили всюду вдоль крыш; в нескольких местах они обычно пересекались каменными водостоками в виде фантастических животных с разинутой пастью. Несмотря на все усердие, с каким нынешнее поколение уничтожает старинные дома, таких желобов в Париже было еще немало до тех пор, пока уже в самое недавнее время их окончательно не убрали по приказу полиции и не заменили водосточными трубами. Однако и сейчас еще осталось несколько желобов скульптурной работы, причем главным образом в квартале Сент-Антуан — квартиры здесь были настолько дешевы, что владельцы домов не имели возможности надстраивать над ними новые этажи.

Может показаться очень странным, что двое вельмож, занимавших столь высокие посты,

вели себя в эту минуту как коты. Но достаточно порыться в исторической сокровищнице того времени, когда вокруг трона сплеталось столько интриг, что французскую политику можно было сравнить с клубком перепутанных ниток, чтобы увидеть, что у этих двух флорентинцев, сидевших на краю желоба, действительно было какое-то сходство с котами. Их преданность Екатерине Медичи — королеве, которая дала им такое высокое положение при французском дворе, не позволяла им отступать ни при каких обстоятельствах. Но чтобы понять, почему эти двое придворных очутились в таком положении, надо вернуться к той сцене, которая разыгралась в двух шагах от этого желоба в Лувре, в чудесном коричневом зале, едва ли не единственном из всего, что осталось от апартаментов Генриха II. После ужина в этом зале обычно проводили время обе королевы и король. В ту эпоху горожане ужинали в шесть часов, вельможи — в семь, но самым изысканным считалось ужинать между восемью и девятью часами. Этот ужин соответствовал нашему обеду. Многие заблуждаются, думая, что этикет был введен во Франции Людовиком XIV, — он был установлен там Екатериной Медичи и был при ней настолько строг, что коннетаблю Анну де Монморанси ока-

залось легче получить свое звание, чем добиться права въезда верхом на лошади во двор Лувра. Этой последней привилегии его удостоили лишь в знак уважения к его преклонному возрасту. В царствование первых двух королей из дома Бурбонов этикет соблюдался менее строго, но зато при нашем великом короле он принял чисто восточный характер, перейдя к нам из Византии, которая, в свою очередь, заимствовала его в Персии. В 1573 году мало того, что только немногие придворные имели право войти во двор Лувра со своими слугами и с факелами, подобно тому, как в царствование Людовика XIV одни лишь герцоги и пэры могли въезжать в каретах под перистиль, но в расчет принимались еще и звания, которые давали право на вход в королевские покои после ужина. Маршал де Ретц, тот самый, который в эту минуту сидел на краю желоба, предложил однажды тысячу тогдашних экю стражу королевских покоев за возможность добиться аудиенции у Генриха II в такое время, когда он на это не имел права. Какими же смешными покажутся после этого настоящему историку виды внутреннего двора замка Блуа, на которых художники, например, изображают придворных верхом на конях!

Итак, в этот час в Лувре находилось только

самое избранное общество. Королева Елизавета Австрийская и ее свекровь Екатерина Медичи сидели в левом углу у камина. В другом углу зала король, сидя в глубоком кресле, изображал на своем лице равнодушие, которое легко можно было приписать пищеварению, ибо поужинал он так, как полагается государю после целого дня охоты. Может быть, впрочем, ему просто не хотелось разговаривать в присутствии лиц, старавшихся подстеречь не только его слова, но и мысли. Придворные с непокрытыми головами стояли в глубине зала. Иные из них разговаривали вполголоса, другие следили за королем, ожидая от него кто взгляда, кто слова. Иногда королева-мать подзывала кого-нибудь и обменивалась с ним несколькими фразами. Кое-кто набирался смелости обратиться с вопросом к королю, который отвечал на все кивком головы или небрежно брошенным словом. Немецкий вельможа, граф фон Солерн, стоял в углу у камина подле внучки Карла V, которую он провожал во Францию. Возле молодой королевы сидела на табурете графиня Фьеско, происходившая из рода Строцци, родственница королевы-матери. Красавица г-жа де Сов, которая вела свое происхождение от Жака Кёра и которая поочередно

становилась любовницей короля Наваррского, короля Польского и герцога Алансонского, была также приглашена на ужин; но сидеть она не имела права, так как муж ее был всего лишь государственным секретарем. Стоя позади этих двух дам, оба Гонди разговаривали с ними. Среди всей этой удручающей скуки они одни были веселы. Альберто Гонди, которого сделали герцогом де Ретц и камер-юнкером двора его величества и который получил маршальский жезл, никогда не командовав армией, замещал короля и был фиктивным женихом королевы в Шпейере. Этим объясняется то, что он, так же как и его брат, был в числе немногих, которым обе королевы и король разрешали некоторые фамильярности. Около короля находились маршал де Таванн, прибывший ко двору по делам; Невилль де Вилльруа, один из самых ловких дипломатов того времени, который положил начало процветанию своего дома; г-да Бирага и Киверни, первый — ставленник королевы-матери, второй — канцлер Анжу и Польши. Этот последний, зная, кого из сыновей предпочитает Екатерина, был предан Генриху III, брату Карла IX, которого король считал своим врагом; здесь был Строцци, кузен королевы-матери, и еще несколько вельмож; среди них

выделялись старый кардинал Лотарингский и его племянник, молодой герцог Гиз. Король и королева старались не приближать их к себе. Эти два вождя священного союза, основанного за несколько лет до этого совместно с Испанией и впоследствии превратившегося в Лигу, старались казаться полезными, как слуги, которые ждут первой возможности стать господами. Екатерина и Карл IX с одинаковым вниманием следили друг за другом.

Весь двор короля был столь же мрачен, как и зал, где сейчас собрались упомянутые нами лица. У каждого из них были свои причины предаваться задумчивости или грусти. Молодую королеву мучила ревность. Как она ни старалась ее скрыть, улыбаясь мужу, которого она, будучи женщиной благочестивой и до чрезвычайности доброй, горячо любила, ей это плохо удавалось. Мари Туше, единственная любовница Карла IX, которой он был по-рыцарски верен, уже больше месяца как вернулась из замка Файе в Дофине, куда она уезжала, чтобы родить. Она привезла Карлу IX его единственного сына (других у него больше никогда не было), Карла Валуа, ставшего сначала графом Овернским, а затем герцогом Ангулемским. Несчастная королева страдала не

только оттого, что у ее соперницы родился сын, в то время как у нее самой была только дочь, — она чувствовала себя униженной тем, что король мгновенно к ней охладел. Однако во время отсутствия своей любовницы король вдруг снова воспылал такою страстью к жене, что история упоминает об этом как об одной из причин его смерти. С возвращением Мари Туше благочестивая австриячка наконец поняла, как мало было в этой страсти настоящей любви. Но это было отнюдь не единственным разочарованием, которое в связи с этим постигло молодую королеву. До того времени она была уверена, что Екатерина Медичи к ней благоволит, а сейчас она убедилась, что ее свекровь покровительствует измене короля и оказывает предпочтение любовнице перед законной женой. И вот почему.

Когда Карл IX признался своей матери в своем чувстве к Мари Туше, Екатерина встала на сторону этой девушки, ибо политически это было в ее интересах. Мари Туше, чуть ли не с детских лет окунувшаяся в придворную жизнь, переживала теперь пору расцвета всех чувств, свойственных молодости. Короля она любила ради него самого. Памятуя о той бездне, в которую честолюбие ввергло герцогиню де Валантинуа, более

известную под именем Дианы де Пуатье, Мари, разумеется, боялась королевы Екатерины и готова была отказаться от всякой пышности во имя счастья. Может быть, она решила, что и сама она, и король настолько еще молоды, что бороться с королевой-матерью им будет не по силам. К тому же Мари, единственная дочь Жана Туше, сьёра де Бове и дю Кийара, советника короля и помощника орлеанского бальи, занимая среднее положение между горожанами и низшим дворянством, не принадлежала, по сути дела, ни к настоящим дворянам, ни к горожанам. Поэтому ей было чуждо врожденное честолюбие каких-нибудь Писле или Сен-Валье, девушек, прославившихся в истории, которые умели направить тайное оружие любви на защиту интересов своего дома. Увлечение короля Мари Туше, у которой вообще не было никаких высокопоставленных родных, позволяло Екатерине Медичи избежать опасного соперничества со стороны представительниц знатных родов, одна из которых могла легко стать любовницей ее сына. Жан Туше, один из блестящих умов своего времени, которому поэты посвящали свои стихи, никогда не стремился играть роль при дворе.

Именно поэтому Мари, безвестная молодая

девушка, столь же образованная и умная, сколь простодушная и прямая, желания которой не могли идти вразрез с интересами королевской власти, была особенно по душе Екатерине, которая ее по-настоящему полюбила. Екатерина сама настояла, чтобы парламент признал королевским сыном ребенка, родившегося в апреле этого года у Мари Туше, и разрешила ему именоваться графом Овернским, объявив Карлу IX, что она собирается завещать внуку ее собственные владения — графство Овернь и Лорагэ. Когда Маргарита, бывшая в то время королевой Наваррской, впоследствии стала королевой Франции, она опротестовала это завещание, и парламент его отменил. Однако в дальнейшем Людовик XIII, в знак уважения к дому Валуа, вознаградил графа Овернского, даровав ему герцогство Ангулемское. Екатерина уже подарила Мари Туше, которая, впрочем, ничего не просила, поместье Бельвиль. Поместье это не давало никакого звания, но оно граничило с Венсенном, и любовница короля могла приезжать туда каждый раз, когда после охоты король оставался ночевать в замке. Карл IX провел в этой мрачной крепости большую часть последних лет своей жизни и, как полагают некоторые историки, окончил там свои дни точно так же, как

Людовик XII. Вряд ли приходится удивляться, что, охваченный таким сильным чувством, человек расточает перед женщиной, которую боготворит, новые доказательства своей любви, вместо того чтобы раскаиваться в супружеской неверности. Однако Екатерина, на какое-то время вернув своего сына королеве, стала снова отстаивать интересы Мари Туше так, как это умеют делать женщины, и еще раз бросила короля в объятия его любовницы. Все, чем бы ни занимался Карл IX и помимо политики, близко затрагивало Екатерину. Впрочем, это благожелательное отношение к только что родившемуся ребенку еще раз обмануло Карла IX, который уже начинал видеть в матери свою соперницу. Мотивы, руководившие в этом деле Екатериной Медичи, ускользнули от доньи Изабеллы, которая, по словам Брантома, была одной из самых кротких королев, когда-либо царствовавших на свете. Изабелла *никогда никому не причинила зла и даже молитвенник* свой читана втайне. Но эта чистая душою принцесса начинала уже видеть пропасти, разверстые вокруг трона, — ужасное открытие, от которого у нее мог помутиться рассудок. Она, должно быть, испытала и более сильное потрясение, если могла ответить одной из дам, сказавшей ей после

смерти короля, что, будь у нее сын, она могла бы сталь королевой-матерью и регентшей.

— Ах, благословим господа за то, что он не послал мне сына. Что бы с ним сталось? Несчастного ребенка лишили бы всего, поступив с ним так, как хотели поступить с королем, моим супругом, и виновницей этого была бы я… Господь пожалел нашу страну и все сделал к лучшему.

Эта принцесса — чей портрет, должно быть, хотел написать Брантом, утверждавший, что цвет лица некоей королевы был столь же красив и нежен, как и у ее придворных дам, и производил на всех самое приятное впечатление, и что она была невысокого роста, но хорошо сложена — не имела ни малейшего влияния при дворе. Но так как образ жизни Карла IX давал его жене полную возможность предаваться своему двойному горю, видом своим она еще больше усиливала мрачное впечатление, производимое всей этой сценой, которую при других обстоятельствах она могла бы оживить своим присутствием. Благочестивая Елизавета примером своим доказывала, что качества, которые способны только украсить женщину незнатную, могут оказаться роковыми для государыни. Карлу IX действительно нужна была помощница и подруга, и совсем не такая,

которая проводила бы все ночи за молитвенником. А так у него не было опоры ни в любовнице, ни в жене.

Что касается Екатерины, то все внимание ее было направлено на сына, который за ужином был очень весел; веселье это показалось ей притворным — она была уверена, что в душе его таится неприязнь к матери. Внезапно овладевший королем порыв веселости слишком явно контрастировал с тем нервным напряжением, которое не могли скрыть ни все неистовства охоты, ни работа в кузнице, где он с упорством маньяка чеканил железо, чтобы сбивать с толку Екатерину. Не будучи в состоянии угадать, кто именно из государственных деятелей участвовал во всех этих переговорах и приготовлениях, ибо Карл IX умел выслеживать шпионов, подосланных его матерью, Екатерина была, однако, уверена в том, что существовал какой-то план, направленный против нее. Неожиданное появление Таванна, прибывшего одновременно с вызванным ею Строцци, заставило ее сильно задуматься. Тонкость расчетов Екатерины давала ей власть надо всеми обстоятельствами, но какое-нибудь неожиданное покушение всегда могло застать ее врасплох. Ввиду того, что многие

совершенно не представляют, каково было тогда положение дел, столь усложнившееся в силу существования различных партий, будораживших Францию, причем у каждого вождя были свои особые интересы, необходимо в нескольких словах очертить ту опасную игру, в которую была втянута королева-мать. Показав личность Екатерины Медичи в новом свете, мы тем самым доберемся до самой сути этого события. Есть два слова, и в них заключена разгадка этой интереснейшей натуры, этой женщины, оказавшей такое огромное влияние на судьбы Франции. Эти два слова — Власть и Астрология. Екатерина Медичи была до крайности честолюбива и обуреваема только одною страстью — повелевать. Будучи натурой суеверной и фаталистской, как очень многие правители, она, по сути дела, верила в одни только оккультные науки. Не разгадав этой двойственности, мы никогда не сможем ее понять. А говоря о ее вере в астрологию, приходится осветить и ту роль, которую во всем этом играли два персонажа, имеющие для настоящей повести некую философскую значимость.

Существовал один человек, который для Екатерины был дороже всех ее сыновей; этим человеком был Козимо Руджери. Она поселила

его в своем дворце в Суассоне, она сделала его своим верховным советником, который должен был говорить ей, согласуются ли со звездами суждения и здравый смысл ее земных советников. Весьма любопытные обстоятельства предшествовали возвышению Руджери, который, приобретя власть над своей госпожой, сохранял эту власть до конца ее жизни. Не подлежит сомнению, что одним из ученейших людей XVI века был домашний врач Лоренцо Медичи, герцога Урбино, отца Екатерины. Врача этого звали Руджеро-старший (vecchio Ruggiero, или Роже-старший у французских авторов, которые писали об алхимии), в отличие от двух его сыновей — Лоренцо Руджери, которого авторы книг о кабалистике называли Великим, и Козимо Руджери, астролога Екатерины, которого многие французские историки равным образом называли Роже. Более употребительным стало имя Руджери, точно так же как во Франции Екатерину Медичи стали преимущественно звать Екатериной Медисúс. Руджери-старший пользовался таким уважением в доме Медичи, что оба герцога, Козимо и Лоренцо, стали даже крестными отцами двоих его детей. Вместе со знаменитым математиком Базилем, Руджери, будучи математиком, астрологом и домашним

врачом дома Медичи — качества, которые нередко тогда объединялись в одном лице, — составил гороскоп Екатерины. В ту эпоху оккультные науки изучались с таким рвением, которое способно поразить наших современников, ни во что не верящих и привыкших полагаться только на разум. Может быть, впрочем, они увидят в этих древних науках зачатки положительных знаний, расцветших в XIX веке, но уже без того ореола величия, который окружал дерзновенных искателей XVI века; эти люди, вместо того чтобы добиваться практических выгод, служили высокому искусству и оплодотворяли мысль. Покровительство, которое тогда во всех странах оказывали этим наукам государи, было, помимо всего прочего, оправдано удивительными открытиями того времени, когда, занимаясь поисками философского камня, исследователи приходили к самым неожиданным результатам. Вот почему никогда еще правители не были столь падки до этих тайн. Фуггеры[126], которые были предшественниками всех современных Лукуллов и в которых наши банкиры не могут не признать своих законодателей, были, разумеется, людьми

[126] Примечания: 126
Фуггеры — семья крупных немецких банкиров XIV–XVI веков.

проницательными, обмануть которых было не так легко. И вот, оказывается, эти столь уравновешенные люди, которые ссужали капиталы всей Европы государям XVI века, так же погрязшим в долгах, как и правители наших дней, — эти знаменитые друзья Карла V субсидировали опыты Парацельса. В начале XVI века Руджеро-старший возглавлял тот тайный университет, откуда вышли Кардано, Нострадамус, Агриппа[127], которые один за другим становились придворными врачами Валуа, — словом, все астрологи, астрономы, алхимики, окружавшие в это время христианских государей и пользовавшиеся покровительством Екатерины Медичи. В гороскопе, составленном Базилем и Руджери-старшим, основные события жизни Екатерины были предсказаны с поразительной точностью, непонятной для тех, кто отрицает оккультные науки.

Гороскоп этот предвещал те несчастья, которыми было отмечено начало ее жизни и которые относились ко времени осады Флоренции: ее выход замуж за принца крови, неожиданный приход этого принца к власти, рождение детей и их число. Троим из ее сыновей суждено было

[127] Примечания: 127

Агриппа — Анри Корнель Агриппа де Колонь (1486–1535) — алхимик, советник императора Карла V, автор книги «Оккультная философия».

стать по очереди королями, двум ее дочерям — королевами, и все они должны были умереть, не оставив потомства. Все предсказания этого гороскопа исполнились с такой точностью, что многие историки считали, что он был составлен задним числом.

Всем известно, что Нострадамус привез в замок Шомон, куда Екатерина удалилась во время заговора Ла Реноди, некую женщину, которая владела даром предвидения. Таким образом, во время царствования Франциска II, когда все четыре сына королевы были еще детьми и совершенно здоровыми, до того как Елизавета Валуа вышла замуж за испанского короля Филиппа II, а Маргарита Валуа за Генриха Бурбона, короля Наваррского, Нострадамус и его подруга подтвердили все предсказания этого пресловутого гороскопа. Эта гадалка, вне всякого сомнения владевшая даром ясновидения и принадлежавшая к великой школе неутомимых искателей философского камня, женщина, жизнь которой не оставила никаких следов в истории, утверждала, что последний из ставших королями сыновей Екатерины будет убит. Посадив королеву перед магическим зеркалом, отражавшим прялку, на одном из концов которой вырисовывались, одно за другим, лица

каждого из сыновей королевы, колдунья вращала прялку, а королева считала число оборотов. Каждый оборот прялки соответствовал одному году царствования того или иного из ее сыновей. Когда затем появилось изображение Генриха IV, прялка сделала двадцать два оборота. Эта женщина (некоторые историки считают, что это был мужчина) сказала испуганной королеве, что Генрих Бурбон действительно будет царствовать во Франции и царствование его продлится именно столько лет. Едва только Екатерина узнала, что Беарнец взойдет на престол тогда, когда будет убит последний из Валуа, она воспылала к нему смертельной ненавистью. Когда королеве захотелось узнать, какою смертью умрет она сама, ей было сказано, что она должна остерегаться Сен-Жермена. С этого дня, думая, что ее или заключат в тюрьму замка Сен-Жермен, или убьют в этом замке, она ни разу туда не показывалась, несмотря на то, что замок этот был бы для нее в силу своей близости к Парижу во много раз удобнее, чем все другие, в которых она вместе с королем укрывалась во время смут. Когда через несколько дней после убийства герцога Гиза в Штатах Блуа она захворала, напутствовать ее пришел некий прелат. Она захотела узнать, как его зовут, ей

ответили, что имя его Сен-Жермен.

— Значит, я умру! — воскликнула она.

На следующий день она умерла, прожив ровно столько лет, сколько ей было предсказано всеми ее гороскопами.

Эти предсказания, ставшие известными кардиналу Лотарингскому, который считал, что Екатерина занимается колдовством, теперь сбывались. Франциск II процарствовал только два оборота прялки, а Карл IX в это время завершал свой последний круг.

Вещие слова «Ты скоро вернешься!», сказанные Екатериной своему сыну Генриху, когда тот уезжал в Польшу, следует приписать ее вере в тайные науки, а отнюдь не ее намерению отравить Карла IX. Маргарита Французская была королевой Наварры, Елизавета — королевой Испании, герцог Анжуйский был королем Польши.

Было и немало других обстоятельств, которые укрепили веру Екатерины в оккультные науки. Накануне турнира, на котором Генрих II был смертельно ранен, Екатерина видела роковой удар во сне. Ее совет астрологов, состоявший из Нострадамуса и братьев Руджери, предсказал ей, что король должен умереть. Истории известно, что Екатерина несколько раз упрашивала

Генриха II не принимать участия в турнире. Предсказание и навеянный этим предсказанием сон сбылись. Мемуары этого времени повествуют и еще об одном, не менее странном событии. Курьер, который вез известие о победе при Монконтуре, прибыл во дворец ночью после бешеной скачки, загнав при этом трех лошадей. Когда королеву-мать разбудили, она сказала: «Я это знала». И по словам Брантома, она действительно еще накануне рассказывала о победе своего сына и о некоторых обстоятельствах битвы. Астролог дома Бурбонов объявил, что младший из многих принцев, отпрысков святого Людовика, сын Антуана Бурбонского, станет королем Франции. Это предсказание, о котором свидетельствует Сюлли, также исполнилось в установленные гороскопом сроки. Как раз по поводу него Генрих IV сказал, что с помощью лжи астрологи наталкивались на правду. Что бы там ни было, если большинство здравомыслящих людей того времени верило кропотливой науке, которую ученые астрологи называли магией, а все прочие колдовством, то вере этой способствовали удачные предсказания гороскопов.

Именно для Козимо Руджери, своего математика, своего астронома, своего астролога и даже,

если угодно, своего чародея, Екатерина воздвигла колонну, примыкающую к Хлебному рынку, единственное, что осталось от дворца Суассон. Подобно исповедникам, Козимо Руджери обладал каким-то таинственным влиянием на людей, и, подобно им, он находил в нем удовлетворение. К тому же он лелеял честолюбивую мечту, далеко превосходившую то, о чем обыкновенно мечтают честолюбцы. Этот человек, которого романисты и драматурги любят изображать каким-то фокусником, в действительности был владельцем богатого аббатства в Сен-Маэ, в Нижней Бретани, и в свое время отказался от высоких церковных должностей. Для осуществления его тайного замысла у него было достаточно золота: эпоха его была настолько суеверна, что оно лилось к нему отовсюду. В то же время покровительство королевы охраняло его от всякого зла, и ни один волос на его голове не мог упасть безнаказанно.

Властолюбие обуревало Екатерину. Желание обладать властью было в ней настолько сильно, что для того, чтобы захватить эту власть, она объединилась с Гизами, которые были врагами трона, а для того, чтобы удержать в своих руках бразды правления, воспользовалась всеми доступными ей средствами и пожертвовала не

только своими друзьями, но и собственными детьми.

Подобно тому как игрок живет только интересами игры, для этой женщины весь смысл жизни был в политических интригах. Несмотря на то что она была итальянкой и принадлежала к страстному роду Медичи, даже кальвинисты, которые возвели на нее столько клеветы, не могли приписать ей ни одного любовника. Будучи поборницей девиза «Разделяй и властвуй», она в течение двенадцати лет училась непрерывно сталкивать одну враждебную ей силу с другой. Не успела она принять бразды правления, как ей пришлось поддерживать вражду двух домов, чтобы привести в равновесие силы обеих сторон и спасти престол. Эга необходимая тактика оправдала предсказание относительно Генриха II. Екатерина придумала эту игру в политические качели, которую потом переняли у нее все находившиеся в аналогичном положении государи, противопоставляя кальвинистов Гизам, а Гизов — кальвинистам. После того как она столкнула две религии друг с другом в самом сердце страны, Екатерина начала противопоставлять герцога Анжуйского Карлу IX. Столкнув друг с другом враждебные стороны, она начала потом стал-

кивать между собою отдельных людей, держа в своих руках все нити интриг. Но в этой страшной игре, которая требует ума Людовика XI или Людовика XVIII, правитель неизбежно вызывает к себе ненависть всех партий, и эта ненависть обязывает его каждый раз непременно побеждать — ведь первое же проигранное сражение обращает всех против него самого, если, конечно, своими прежними победами он не успел уничтожить остальных игроков. Большая часть царствования Карла IX являла собою торжество семейной политики этой удивительной женщины. Сколько ей понадобилось ловкости, чтобы поручить командование армиями герцогу Анжуйскому при короле, который был молод, храбр, честолюбив, талантлив и великодушен, и при коннетабле Анне де Монморанси! Европейские политики считали, что герцогу Анжуйскому досталась вся слава Варфоломеевской ночи, в то время как весь ее ужас достался Карлу.

Внушив королю тайную ревность к Генриху, Екатерина воспользовалась этой страстью, стремясь сделать так, чтобы все большие способности Карла IX ушли на сплетение интриг, направленных против брата. Сипьер, первый наставник Карла IX, и Амио, его учитель, сделали из него та-

кого примечательного человека, подготовили его к такому прекрасному царствованию, что королева возненавидела сына с первого же дня, когда она стала бояться потерять власть, доставшуюся ей с таким трудом. На основании этого большинство историков считает, что королева-мать оказывала известное предпочтение Генриху III, однако все тогдашнее поведение Екатерины не оставляет сомнений в ее полном равнодушии к своим детям. Когда герцог Анжуйский отправился царствовать в Польшу, она лишилась средства держать Карла IX в постоянном напряжении теми домашними интригами, которые все это время нейтрализовали его энергию и давали выход обуревавшим его чувствам. Тогда Екатерина толкнула Ламоля и Коконна на заговор с участием герцога Алансонского, который по восшествии на престол своего брата стал носить титул герцога Анжуйского и который всему этому легко поддался, — честолюбие его росло и поощрялось в нем его сестрою Маргаритой, королевой Наваррской. Этот заговор, который к тому времени сделался уже таким, каким его хотела видеть Екатерина, имел целью поставить молодого герцога и его шурина короля Наваррского во главе кальвинистов. Участники заговора собирались захватить Карла

IX и держать в тюрьме этого короля, у которого не было сына-наследника, — корона неизбежно перешла бы тогда к герцогу Анжуйскому, стремившемуся насадить во Франции кальвинизм.

За несколько дней до смерти Кальвина его честолюбие было удовлетворено — в честь его Реформацию стали называть *кальвинизмом*. Если бы даже трудами Лелабурера и всех самых рассудительных авторов не было уже доказано, что Ламоль и Коконна, арестованные через пятьдесят дней после ночи, с которой начинается наш рассказ, и обезглавленные в апреле следующего года, явились жертвами политики королевы-матери, участие в этом деле Козимо Руджери не оставляет сомнений насчет того, что люди эти действовали по указке Екатерины. Этот человек, к которому король относился крайне подозрительно, ненавидя его по причинам, которые здесь будут в достаточной мере объяснены, вместе с остальными предстал перед судом. Он признался в том, что добыл для Ламоля восковую фигурку короля и двумя иглами проткнул ее в сердце. Такой способ энволътования в ту эпоху считался преступлением, каравшимся смертью. В самом слове этом заключается одно из самых ярких выражений адской ненависти. К тому же оно

отлично объясняет магнетическую операцию, которую производит в оккультном мире человеческая воля, непрестанно концентрирующаяся вокруг лица, приговоренного ею к смерти, операцию, за действием которой можно все время следить, имея перед глазами эту восковую фигурку. Правосудие того времени не без основания считало, что всякая материализация мысли есть посягательство на особу короля. Карл IX потребовал, чтобы флорентинца казнили. Екатерина, которая в то время пользовалась большою властью, с помощью советника Лекамю добилась от парламента смягчения приговора — астролог был приговорен к каторжным работам. После смерти короля Козимо Руджери был помилован указом Генриха III, который возвратил ему доходы и позволил снова жить при дворе.

Екатерина в то время уже столько раз пронзала сердце своего сына, что он был полон нетерпения освободиться от ее ига. После отъезда Мари Туше Карл IX, будучи ничем не занят, принялся наблюдать за всем, что творилось вокруг него. Он с большой ловкостью расставлял ловушки людям, в которых был уверен, чтобы лишний раз убедиться в их преданности. Он внимательно следил за действиями своей матери и скрывал

от нее свои собственные, пользуясь, для того чтобы обмануть Екатерину, теми недостойными средствами, которые он перенял от нее же. Обуреваемый желанием как-то загладить ужасное впечатление, которое произвели во Франции события Варфоломеевской ночи, он энергично занимался делами, председательствовал в Совете и пытался с помощью ряда хорошо продуманных действий захватить бразды правления в свои руки. Хотя королева всячески противостояла намерениям сына, использовав для этого всю силу своего материнского влияния и весь свой авторитет, подозрительность короля дошла до таких пределов, что о возврате к прежнему не могло быть и речи. В тот день, когда ему сообщили о словах, сказанных Екатериной королю Польши, Карл IX чувствовал себя настолько плохо, что предался самым мрачным мыслям, а когда подобные подозрения охватывают душу сына и к тому же еще короля, их уже невозможно развеять. И вот, когда он лежал на смертном одре, Екатерине пришлось прервать его последние слова, воскликнув: «Не говорите этого, сын мой!» Это было как раз в ту минуту, когда, поручая Генриху IV жену и дочь, он хотел предупредить короля Наваррского, чтобы тот не доверялся Екатерине. Несмотря на

то что Карл IX до этого неукоснительно соблюдал все внешние знаки почтения, в отношении которых его мать была до такой степени щепетильна, что никогда не называла ни одного из своих сыновей-королей иначе, чем «государь», в течение последних месяцев Екатерина заметила, что в обращении с нею сына сквозит плохо скрытая ирония, свидетельствующая о желании мстить.

Однако, чтобы захватить Екатерину врасплох, требовалось много умения. Она держала наготове заговор герцога Алансонского и Ламоля, дабы возобновившееся соперничество с братом отвлекло Карла IX от стремления освободиться из-под ее опеки. Но прежде чем приступить к делу, она хотела рассеять ту подозрительность, при которой всякое примирение ее с сыном было бы невозможно: мог ли он оставить власть в руках матери, способной его отравить? На этот раз, почувствовав, какая серьезная опасность ей угрожает, она призвала к себе Строцци, своего родственника, человека исключительной энергии. Она устраивала тайные совещания с Бирагой и братьями Гонди, и никогда еще она не советовалась так часто во дворце Суассон со своим оракулом. Несмотря на то, что привычка к притворству, точно так же как и годы, надела на Екатерину эту маску

аббатисы, сделав ее лицо высокомерным и аскетически-суровым, мертвенно-бледным и вместе с тем исполненным глубокой мысли, сдержанным и проницательным, столь запоминающимся тому, кто вглядывался в ее портрет, — придворные стали замечать на этом флорентинском зеркале какие-то тучи. Ни одна правительница не выглядела столь властной, как эта женщина, с того дня, когда после смерти Франциска II ей удалось обуздать Гизов. Ее головной убор из черного бархата — она до конца дней носила траур по Генриху II, — подобно монашескому капюшону, облегал ее властное и холодное лицо, которому она умела в случае надобности придавать все обаяние итальянки. Она была так хорошо сложена, что ввела для женщин особую посадку на лошади, при которой видны были ноги: достаточно сказать, что она была обладательницей красивейших в мире ног. Европа издавна следовала во всем французским модам, и женщины всех европейских стран стали ездить на лошади с подножкой. Достаточно представить себе ее высокую фигуру, чтобы видеть, как величественно выглядел в эту минуту весь зал. Эти две королевы, столь отличные друг от друга по духу, по красоте, по одежде и, пожалуй, уже находившиеся в ссоре между собой

(одна — простодушная и задумчивая, другая — задумчивая и серьезная, как будто отрешенная от всего), в этот вечер были слишком заняты своими мыслями, чтобы дать придворным тот сигнал к началу веселья, которого те ждали.

Глубоко скрытая ото всех драма, которая уже в течение полугода разыгрывалась между матерью и сыном, была угадана кое-кем из придворных. Но особенно пристально за ней следили итальянцы, ибо они знали, что всем им придется плохо, если Екатерина проиграет игру.

Вполне понятно, что сейчас, когда стало очевидно, что мать и сын стараются всеми средствами обмануть друг друга, взгляды всех присутствующих обращались в сторону короля. В этот вечер Карлу IX, утомленному продолжительной охотой и какими-то серьезными занятиями, которые он скрывал ото всех, можно было на вид дать сорок лет. Он был уже совершенно изъеден болезнью, от которой и умер и которая дала потом некоторым важным лицам повод думать, что его отравили. Де Ту, этот Тацит династии Валуа, пишет, что хирурги обнаружили на теле Карла IX какие-то подозрительные пятна (ex causa incognita reperti livores). Похороны этого государя прошли еще более незаметно, чем похороны

Франциска II. Из Сен-Лазара в Сен-Дени тело короля провожали только Брантом и несколько стрелков королевской гвардии, которыми командовал граф фон Солерн. Это обстоятельство, точно так же, как и ненависть к сыну, которая, по мнению де Ту, снедала тогда королеву-матъ, может служить подтверждением ее виновности. Оно, во всяком случае, подтверждает высказанное здесь мнение о том, что Екатерина не любила своих детей. Черствость ее объясняется не чем иным, как верою в астрологические предсказания: эта женщина не могла быть заинтересована в тех орудиях, которые ей изменят, Генрих III был последним королем, над которым она властвовала, — вот и все. В настоящее время можно смело утверждать, что Карл IX умер естественной смертью. Его излишества, его образ жизни, слишком быстрое развитие, его отчаянные попытки захватить бразды правления в свои руки, его жажда жить, его крайнее переутомление, его последние страдания и последние наслаждения — всего этого достаточно, чтобы доказать людям непредубежденным, что король умер от болезни груди, недуга, который в те времена врачи еще не умели распознавать и недостаточно изучили и симптомы которого были таковы, что могли

заставить самого Карла IX думать, что его отравили. Но в действительности тем ядом, которым его отравила мать, явились роковые советы приставленных к нему придворных; под влиянием их наущений он растратил все свои физические и нравственные силы; это и послужило причиной его болезни, приобретенной и никак не врожденной. В этот период его жизни больше, чем когда-либо, Карла IX отличала какая-то мрачная торжественность, которая, пожалуй, даже украшает королей. Величие его тайных мыслей отражалось на его лице, итальянским цветом которого он походил на мать. Эта бледность цвета слоновой кости, такая прекрасная при свете свечей, так хорошо сочетающаяся с грустью, резко контрастировала с его иссиня-черными, горящими, как уголья, глазами.

Глаза эти были окаймлены тяжелыми веками, и взгляд их приобретал от этого особую проницательность и остроту, которые в нашем воображении неотъемлемо связаны с королевским взглядом, а темный цвет этих глаз как бы помогал скрывать мысли. Глаза эти казались особенно страшными благодаря высоко поднятым бровям, гармонировавшим с его открытым лбом, бровям, которые он мог поднимать и опускать

по желанию. Нос у него был широкий и длинный, утолщенный на конце, совсем как у льва; уши большие, волосы белокурые с рыжеватым оттенком, алый, как у чахоточного, рот. Изгиб его тонкой верхней губы выражал скрытую иронию, а довольно полная нижняя губа позволяла поверить в его душевную доброту. Морщины, бороздившие этот лоб, лоб человека, чья молодость была отравлена мучительными заботами, обладали какой-то притягательной силой. Иные из них запечатлелись на нем после бесплодных злодеяний Варфоломеевской ночи, на которые его коварно принудили согласиться, — это были следы угрызений совести. Но на лице его были еще две морщины, которые рассказали бы очень многое ученому, чей особый талант позволил бы распознать их значение с точки зрения современной физиологической науки.

Каждая из этих двух морщин переходила в глубокую борозду, начинавшуюся у скулы и кончавшуюся в углу рта, свидетельствуя об усилиях воли человека, переутомленного работой мысли и наслаждениями плоти. Карл IX был изнурен. Королева-мать, видя плоды своих трудов, должна была бы испытывать раскаяние, если только политика вообще не сводит на нет это чувство

у людей, которым выпадает на долю носить багряницу. Может быть, если бы Екатерина знала, какое действие окажут все ее интриги на сына, она бы отказалась от своих замыслов.

Какое ужасное зрелище! Этот король, столь крепкий по натуре, совсем ослабел, его могучий дух был сломлен подозрительностью: этот человек, несший бремя власти, чувствовал себя лишенным опоры, этот твердый характер потерял веру в себя. Его храбрость постепенно превращалась в свирепость, скрытность — в притворство. Нежная любовь, столь свойственная роду Валуа, уступала место ненасытному вожделению. Этот незаурядный человек, никем не признанный, совращенный с пути, раньше времени истрепавший свою многоликую душу, правитель без власти, рыцарь без друзей, весь раздираемый противоречивыми чувствами, производил тяжелое впечатление. В двадцать четыре года разочарованный, презирающий все на свете, он готов был все поставить на карту, даже жизнь. Совсем недавно он понял свое назначение, убедился в том, какой он располагает властью, какими средствами, и увидел, как его мать мешает ему умиротворить страну, воздвигая всяческие преграды. Но разум его был подобен

свече, горящей в разбитом фонаре.

Два человека, которых король любил до такой степени, что одного из них он спас от Варфоломеевской ночи, а к другому ходил обедать как раз тогда, когда врачи сочли его отравителем короля, его первый врач Жан Шаплен и его хирург Амбруаз Паре, вызванные Екатериной и поспешно прибывшие сюда из провинции, находились при нем в этот поздний час. Оба они озабоченно глядели на короля, кое-кто из придворных о чем-то их спрашивал. Однако оба врача, отвечая на вопросы, тщательно взвешивали каждое слово и не оглашали своего приговора. Время от времени король приподнимал свои отяжелевшие веки и, стараясь быть не замеченным своими придворными, взглядывал на королеву. Но вдруг он быстро поднялся и подошел к камину.

— Господин Киверни, — спросил он, — почему вас до сих пор именуют канцлером Анжуйским и Польским? Кому же вы служите? Нам или нашему брату?

— Я предан вам, государь, — сказал Киверни и поклонился.

— Приходите ко мне завтра, я хочу вас отравить в Испанию. При Мадридском дворе творится что-то странное, господа.

Король поглядел на жену и откинулся в кресло.

— Странные вещи творятся всюду, — тихо сказал маршал де Таванн, один из фаворитов его юности.

Король поднялся, чтобы увести приятеля своих детских игр в амбразуру окна в углу зала, и сказал ему:

— Ты мне нужен, подожди, пока все уйдут. Я хочу узнать, за меня ты или против меня. Нечего удивляться. Я не хочу больше быть на поводу. Все зло здесь идет от моей матери. Через три месяца я либо умру, либо стану настоящим королем! Только заклинаю тебя, молчи! Тайну эту знаешь ты, Солерн и Вилльруа. Выболтать ее может только один из вас троих. Не оставайся долго около меня, поухаживай за моей матерью, скажи ей, что я умираю и что ты меня жалеешь потому, что я никуда не годный государь.

Карл IX прогуливался взад и вперед, опираясь на плечо своего бывшего фаворита и делая вид, что разговаривает с ним о своих болезнях, чтобы этим обмануть любопытных. Потом, боясь, что его холодность станет слишком заметной, он подошел поговорить с обеими королевами и подозвал Бирагу. В это мгновение Пинар, один из

государственных секретарей, появился в двери и, проскользнув, как угорь, вдоль стен, незаметно подкрался к Екатерине. Он что-то шепнул на ухо королеве-матери, и та ответила ему кивком головы. Король не стал ее спрашивать, что это означало; он снова уселся в кресло и, бросив на всех придворных взгляд, исполненный ревности и гнева, погрузился в молчание. Этому маленькому происшествию было придано большое значение. Приказ, отданный без ведома короля, стал последней каплей, переполнившей стакан с водою. Королева Елизавета и графиня Фьеско удалились, и король этого даже не заметил. Но королева-мать проводила свою невестку до самой двери. Несмотря на то, что разлад между матерью и сыном пробуждал во всех огромный интерес к каждому их жесту и взгляду, к каждой позе Екатерины и Карла IX, — увидав, как они оба холодны и спокойны, все придворные поняли, что присутствие их излишне. Вслед за молодой королевой они покинули зал. В десять часов там оставались только приближенные короля и королевы: оба Гонди, Таванн, граф фон Солерн, Бирага и королева-мать.

Король был в самом мрачном расположении духа. Молчание его всех утомляло. Екатерина,

казалось, была этим смущена; она хотела уйти и ждала, что сын ее проводит, но король все не выходил из своей задумчивости. Тогда она встала, чтобы проститься с ним. Карл IX был вынужден встать. Она взяла его под руку и, пройдя с ним несколько шагов, улучила минуту, чтобы шепнуть ему на ухо:

— Государь, я должна сообщить вам нечто важное.

Перед тем как уйти, королева-мать подмигнула Гонди, и тот увидел в зеркале этот знак, ускользнувший от взгляда ее сына, который в эту минуту сам перемигивался с графом Солерном и Вилльруа. Таванн погрузился в раздумье.

— Ваше величество, — сказал маршал де Ретц, выходя из своего забытья, — я вижу, что вам нестерпимо скучно: вы, должно быть, больше не развлекаетесь? Боже мой! Где же то время, когда мы вечерами бродили по улицам?

— Да, это были хорошие времена, — сказал король и вздохнул.

— Почему бы вам не погулять и теперь? — предложил Бирага, уходя и переглядываясь с обоими Гонди.

— Я всегда вспоминаю с удовольствием эти дни! — воскликнул маршал де Ретц.

— Да, для вас это самое подходящее дело — лазать по крышам, господин маршал, — сказал Таванн. — Проклятый итальянский кот, хоть бы ты сломал себе шею! — добавил он на ухо королю.

— Я не знаю, легче ли мне или одному из вас перескочить через улицу или двор. Но зато я знаю, что ни вы, ни я не боимся смерти, — ответил герцог де Ретц.

— Что ж, государь, пойдемте-ка пошататься по городу, как в дни вашей молодости! — сказал гардеробмейстер короля.

Так вот, в свои двадцать четыре года этот несчастный король никому больше не казался молодым, даже своим льстецам. Таванн и король, как настоящие школьные товарищи, стали вспоминать свои веселые прогулки по Парижу, и компания быстро собралась. Обоих итальянцев вызвали на то, чтобы перепрыгивать с крыши на крышу с одной стороны улицы на другую, и они бились об заклад, что не отстанут от короля. Все они переоделись забулдыгами. Граф Солерн, оставшись наедине с королем, изумленно на него посмотрел. Этот добрый немец угадывал, в каком положении находился король Франции, и сочувствовал ему, но хотя он и был воплощением

порядочности и верности, сообразительностью он не отличался. Окруженный враждебными ему людьми, не решаясь никому довериться, даже жене, ибо та несколько раз вела себя неосторожно, не зная, что действия королевы-матери и ее приспешников направлены против короля, Карл IX был счастлив тем, что нашел в лице графа Солерна такую преданность, которая позволяла ему быть до конца откровенным. Таванн и Вилльруа знали тайные замыслы короля только наполовину. Граф Солерн был единственным человеком, которому Карл IX доверился целиком. К тому же граф был очень полезен своему повелителю тем, что у него было несколько осторожных и верных ему слуг, которые выполняли все его приказания. Он имел в своем распоряжении гвардейских стрелков и в течение последних дней подобрал людей, исключительно преданных королю, чтобы составить из них особую роту. Король все обдумал.

— Ну вот, Солерн, — сказал Карл IX, — нам ведь нужен был предлог, чтобы провести ночь в городе? У меня, правда, есть там госпожа де Бельвиль, но так будет лучше, а то моя мать может узнать обо всем, что касается Мари.

Граф Солерн, который должен был сопутство-

вать королю, попросил разрешения взять с собой на прогулку кое-кого из своих немцев, и король согласился. Около одиннадцати часов ночи развеселившийся король вместе с тремя придворными начал обходить квартал Сент-Оноре.

— Я застану врасплох мою милую, — сказал Карл IX Таванну, проходя по улице Отрюш.

II. Хитрость против хитрости

Чтобы сцена эта стала понятной тем, кто не представляет себе топографии старого Парижа, надо рассказать, где находилась улица Отрюш. Во времена Генриха II здание Лувра окружали разные дома и целые кучи мусора. На месте того крыла, которое в наши дни выходит на Мост Искусств, тогда был сад. На месте колоннады были рвы и тот подъемный мост, на котором впоследствии был убит флорентинец маршал д'Анкр[128]. В конце этого сада возвышались башни дворца Бурбонов, где жили принцы этого дома вплоть до того дня, когда коннетабль изменил королю[129].

Франциск I, не желая вмешиваться в тяжбу между своей матерью и коннетаблем Бурбонским, приказал секвестровать состояние коннетабля. Измена коннетабля положила конец этой тяжбе, оказавшейся для Франции столь роковой, — все

---

[128] Примечания: 128

Маршал д'Анкр — итальянский авантюрист Кончинни, фаворит матери Людовика XIII — Марии Медичи, был казнен по приказу короля.

[129] Примечания: 129

...когда коннетабль изменил королю. — См. прим. к стр. 14.

богатства его были конфискованы. Замок этот, очень красиво расположенный на берегу реки, был разрушен только при Людовике XIV. Улица Отрюш начиналась от улицы Сент-Оноре, а кончалась зданием дворца Бурбонов на набережной. Эта улица, носившая на некоторых старых планах Парижа название Отриш или Острюк, исчезла с планов города так же, как и многие другие. По-видимому, на месте теперешней улицы де Пули и были расположены тогда те дома, которые выходили на улицу Сент-Оноре. Относительно этимологии этого названия идут споры. Одни считают, что оно происходит от некоего дома Остриш (Osterrichen), названного так по имени собственников этого дома: молодая девушка из этой семьи в XIV веке была выдана замуж за одного французского сеньора. Другие утверждают, что на этом месте находился королевский птичник и что однажды все парижане сбежались туда поглазеть на страуса. Но так или иначе, эта извилистая улица была известна тем, что там находились дома некоторых принцев крови, расположившихся вокруг Лувра. Когда французские короли покинули предместье Сент-Антуан, где они жили в течение двух столетий под охраной Бастилии, и переселились в Лувр, многие из вельмож все еще

продолжали жить в этих местах.

Симметрично с дворцом Бурбонов со стороны улицы Сент-Оноре был расположен Алансонский дворец. Являясь резиденцией графов, носивших это имя, и входя в состав апанажа[130], дворец этот принадлежал тогда четвертому сыну Генриха II, который впоследствии получил титул герцога Анжуйского и умер в царствование Генриха III, причинив своему брату-королю немало хлопот. После его смерти весь апанаж перешел королю, а вместе с ним и старый дворец, который вслед за тем был снесен.

В те времена дворец какого-нибудь принца являлся целой усадьбой, состоявшей из многочисленных построек. Чтобы представить себе, как выглядела такая усадьба, достаточно увидеть, какое пространство и сейчас еще занимает в Париже дворец Субиз в Марэ. В состав такой усадьбы входили различные здания, необходимые при той жизни на широкую ногу, которую вел ее владелец, жизни, которая кажется невероятной для многих наших современников, знающих, что за жалкое зрелище представляет из себя какой-нибудь принц в наши дни. Это были

[130] Примечания: 130

Апанаж — содержание, выдававшееся во Франции некоронованным членам королевской семьи (земли и рента).

огромные конюшни, помещения для врачей, библиотекарей, хранителей печати, священников, казначеев, пажей, наемных служащих и челяди, состоящих при резиденции принца. Неподалеку от улицы Сент-Оноре в одном из садов усадьбы был хорошенький домик, построенный в 1520 году знаменитой герцогиней Алансонской, вокруг которого купцы впоследствии воздвигли свои особняки. В этом-то домике король и поселил Мари Туше. Хотя герцог Алансонский и замышлял тогда свергнуть брата, он не посмел ему в этом перечить.

Так как спуститься вниз по улице Сент-Оноре, которая, начиная с заставы Сержантов, становилась очень удобной для воров, нельзя было, не пройдя мимо домика любовницы короля, Карлу IX трудно было удержаться, чтобы не заглянуть туда. Ища случай потехи ради ограбить какого-нибудь запоздалого прохожего или побить стражника, король заглядывал во все этажи и во все освещенные закоулки, чтобы высматривать, где что творится, и подслушивать разговоры. Оказалось, однако, что его город, как бы назло ему, мирно спит. Но когда они подошли к дому, где жил известный придворный парфюмер Рене, и когда король увидел яркий свет в крайнем окне

чердачного этажа, его вдруг осенила одна из тех неожиданных мыслей, которым обычно предшествуют какие-то прежние наблюдения.

Этот парфюмер был на сильном подозрении. Говорили, что он с успехом залечивал богатых дядюшек, когда они сказывались больными. Придворные *приписывали ему изобретение знаменитого* эликсира для получения наследств, и его обвиняли в том, что он отравил Жанну д'Альбре, мать Генриха IV, которую, как рассказывает один из современников, невзирая на строгий приказ короля, *похоронили без вскрытия.* Уже целых два месяца король обдумывал, каким способом выведать тайны лаборатории Рене, где часто бывал Козимо Руджери. Король решил, что, если только он что-либо заподозрит, он будет действовать самолично, не прибегая ни к помощи полиции, ни к суду, которые его мать может запугать или подкупить.

Несомненно, что в XVI веке, как и в предшествовавшие и последовавшие за ним годы, изготовление ядов достигло такой высоты, которой не знает наша современная химия. Историки это установили. Италия, эта колыбель всех наших наук, в ту пору открывала тайны природы и владела секретами, большинство которых

утрачено ныне. В этом причина той славы, которая оставалась за Италией в течение двух последующих столетий. Писатели столько злоупотребляли этой славой, что чуть ли не каждый раз, когда в романах выводятся итальянцы, они представлены отравителями и убийцами. Коль скоро Италия умела в те времена производить незаметно действующие яды, о которых нам повествуют некоторые историки, следовало бы попросту признать за этой страною первенство в области токсикологии, как и во всех искусствах и науках, в которых она опередила Европу. Нельзя относить к Италии все преступления той эпохи: она просто служила страстям своего времени, совершенно так же, как она воздвигала великолепные здания, командовала армиями, писала чудесные фрески, пела романсы, любила королев, нравилась королям, устраивала празднества, давала балеты и управляла политикой. Во Флоренции это страшное искусство довели до такого совершенства, что был случай, когда в руках у женщины оказалось золотое лезвие, один конец которого был отравлен; разрезав им персик, она съела одну его половину, а другой отравила бывшего с ней герцога. Смертельный яд через надушенные перчатки проникал в поры

кожи. Букет живых роз умели отравить так, что понюхавший его умирал мгновенно. Говорят, что дон Хуан Австрийский был отравлен с помощью башмаков.

Можно себе представить, какое любопытство снедало короля Карла IX и как мрачны были одолевавшие его чувства: король горел нетерпением захватить Рене с поличным.

На углу улицы Арбр-Сек был старый высокий фонтан, по нему все эти знатные гуляки влезали на крышу дома, соседнего с домом Рене; Карл IX сказал своим слутникам, что хочет зайти в этот дом. Вместе с ними он принялся перебираться с крыши на крышу и, разбудив спящих горожан, перепугал их насмерть. Наши мнимые воры называли их разными забавными именами, подслушивали все, что творилось в каждой семье, а кое-где даже взламывали замки. Когда итальянцы увидели, что король и Таванн взобрались на крышу, маршал де Ретц, сказав, что он устал, сел отдохнуть; его брат остался возле него.

«Тем лучше», — подумал король и с радостью расстался с обоими шпионами.

Таванн в душе посмеялся над флорентинцами, которые остались одни среди глубокой ночи в таком месте, где над головами их было небо и где

услышать их могли только бродячие коты.

Итальянцы же в свою очередь воспользовались этим обстоятельством, дабы обменяться мыслями, возникшими под влиянием событий этого вечера, мыслями, которые они нигде в другом месте не высказали бы друг другу.

— Альберто, — сказал Карло Гонди брату, — король одержал верх над нашею королевой, и нам придется худо, если мы будем по-прежнему верны Екатерине. Если мы перейдем на сторону короля теперь, когда он ищет поддержки в борьбе с матерью и когда ему так нужны люди, нас потом не станут гнать, как зверей. Нас не тронут даже тогда, когда королеву-мать отправят в изгнание, посадят в тюрьму или казнят.

— С такими мыслями далеко не уйдешь, Карло, — решительно ответил ему маршал. — Ты хочешь стать по гроб верным королю, а ведь он долго не протянет, он совсем изможден. Козимо Руджери сказал, что жить ему осталось не больше года.

— Бывает, что кабан, умирая, убивает охотника, — сказал Карло Гонди. — В этом заговоре герцога Алансонского, короля Наваррского и принца Конде, о котором так хлопочут Ламоль и Коконна, больше риска, чем пользы. Во-первых,

король Наваррский, которого королева-мать собиралась захватить врасплох, стал остерегаться ее и не хочет во все это вмешиваться. Он хочет извлечь выгоду из этого заговора, ничего не ставя на карту. К тому же сейчас все думают о том, чтобы посадить на престол герцога Алансонского, который собирается стать кальвинистом.

— Budelone![131] Неужели ты ничего не понимаешь? Этот заговор покажет нашей королеве, что гугеноты могут сделать с герцогом Алансонским и что король хочет сделать с гугенотами. Ведь король пытается сговориться с ними! Но для того, чтобы он промахнулся, Екатерина завтра же сообщит ему об этом заговоре. Это сведет на нет все его планы.

— Да! — воскликнул Карло Гонди. — Пользуясь нашими советами, она стала теперь сильнее, чем мы. Это хорошо.

— Хорошо для герцога Анжуйского, которому больше хочется царствовать во Франции, чем в Польше; я все ему расскажу.

— Значит, ты уезжаешь, Альберто?

— Да, завтра. Разве мне не было поручено сопровождать короля польского? Я застану его в

---

[131] Примечания: 131
Обжора! *(ит. ругат.)*

Венеции; его величество там сейчас развлекается.

— Ты воплощенная осторожность.

— Che bestia![132] Клянусь тебе, что здесь при дворе нам не грозит ни малейшей опасности. Неужели ты думаешь, что иначе я бы уехал? Я бы остался возле нашей доброй повелительницы.

— Доброй! — повторил Карло Гонди. — Эта женщина не станет жалеть своих слуг, которые сделали все, что от них требовалось.

— O coglione![133] Ты хочешь стать солдатом, а боишься смерти. Каждое ремесло к чему-то обязывает, а у нас есть свои обязательства перед троном. Начав служить королям, без которых на земле не стало бы власти, королям, которые даруют нашим семьям покровительство, возвышение, богатство, мы должны питать к ним любовь, от которой возгорается пламенем сердце мученика, нам надо уметь пострадать за них. Когда они приносят нас в жертву своему величию, мы можем погибнуть, ибо мы умираем не только ради них, но и ради самих себя, — семьи наши не

---

[132] Примечания: 132
Какой ты глупый! *(ит.)*

[133] Примечания: 133
О дурак *(ит.)*

погибают. Ессо[134].

— Ты прав, Альберто, ты ведь получил старинное герцогство Ретц.

— Послушай, — сказал герцог де Ретц. — Королева возлагает большие надежды на искусство Руджери, чтобы помириться с сыном. Когда наш болван не захотел больше звать к себе Рене, эта хитрая бестия отлично поняла, что заподозрил ее сын. Но кто знает, что сейчас у короля на уме? Может быть, он просто еще не решил, какую казнь избрать для матери. Он ее ненавидит, ты понимаешь? Он о чем-то проговорился королеве, та разболтала все госпоже Фьеско, а Фьеско сообщила об этом королеве-матери. И вот теперь король скрывает свои планы даже от жены.

— Давно уже пора это сделать, — сказал Карло Гонди.

— Сделать что? — спросил маршал.

— Занять короля, — ответил Карло Гонди: хоть он и не пользовался таким доверием Екатерины, как его брат, он был, однако, не менее прозорлив.

— Карло, я помог тебе проложить дорогу в жизни, — многозначительно сказал Альберто

---

[134] Примечания: 134
Вот что *(ит.).*

Гонди, — но если ты хочешь стать герцогом, как я, будь так же, как и я, слепо предан нашей повелительнице. Она останется королевой, она здесь сильнее всех. Госпожа де Сов сделает все, что она захочет, а король Наваррский и герцог Алансонский сделают все, что захочет госпожа де Сов. Екатерина будет всегда вить из них веревки, как при этом короле, так и при Генрихе III. Да будет угодно господу, чтобы он не был столь неблагодарным.

— Почему?

— Его мать слишком многое для него делает.

— Чу, на улице Сент-Оноре какой-то шум! — воскликнул Карло Гонди. — Это у Рене закрывают дверь! Ты что, не слышишь, сколько там народу? Обоих Руджери арестовали.

— Ах! Diavolo![135] Вот что значит действовать осторожно! Король на этот раз не дал воли своим чувствам, как он это делал всегда. Только в какую тюрьму он их посадит? Нужно пойти посмотреть, что там творится.

Оба брата добрались до угла улицы Отрюш в ту минуту, когда король входил в дом своей любовницы. При свете факела, который держал

---

[135] Примечания: 135
Дьявол! *(ит.)*

привратник, они увидели Таванна и обоих Руджери.

— Скажите, Таванн, — воскликнул Карло Гонди, догоняя друга короля, который возвращался в Лувр, — что там такое случилось?

— Мы нашли тут целый синклит колдунов. Двоих мы арестовали. Это ваши друзья, и они смогут объяснить французским вельможам, каким путем вам, двум иностранцам, достались такие высокие должности, — сказал Таванн наполовину в шутку, наполовину серьезно.

— А что же король? — спросил Карло Гонди, делая вид, что недружелюбный тон Таванна нимало его не беспокоит.

— Он остается у своей возлюбленной.

— Мы достигли всего беззаветной преданностью нашим господам; это высокий и благородный путь, по которому идете и вы, мой дорогой герцог, — ответил маршал де Ретц.

Все трое шли молча. Едва только они расстались, найдя каждый своих людей, которые должны были проводить их домой, два каких-то человека неслышно проскользнули вдоль стен по улице Отрюш. Это были король и граф Солерн; они быстро вышли на берег Сены в том месте, где их ждала лодка с несколькими гребцами, подо-

бранными Солерном. Несколько взмахов весла — и они достигли противоположного берега.

— Моя мать еще не ложилась, — воскликнул король, — она нас заметит, мы неудачно выбрали это место для встречи!

— Она, скорее всего, подумает, что это какая-нибудь дуэль, — успокоил его Солерн. — На таком расстоянии нас все равно не узнать.

— Ничего, пускай она меня увидит, — воскликнул Карл IX, — сейчас я уже решился на все!

Король и его верный друг взбежали на горку и быстро пошли в сторону Пре-о-Клерк. Едва только граф Солерн, шедший впереди, дошел до этого места, как он наткнулся на стражника. Перекинувшись с графом несколькими словами, стражник вернулся к своим. Вскоре двое мужчин, которых, по тому почтению, с которым их везде встречали, можно было принять за принцев, покинули свой пост — а стояли они за какой-то плохонькой изгородью — и, подойдя к королю, преклонили пред ним колена. Но Карл IX поднял их, не дав им коснуться земли, и сказал им:

— Не надо никаких церемоний, здесь все мы дворяне.

К этим трем дворянам присоединился еще почтенного вида старец, которого можно было

принять за Лопигаля, если бы не знать, что канцлер умер еще год тому назад. Все четверо шли быстро, стремясь скорее попасть в такое место, где разговор их не мог быть услышан, а Солерн следовал за ними на небольшом расстоянии, чтобы никого не подпускать к своему господину. Этот верный слуга короля держался очень настороженно, чего нельзя было сказать про самого короля, которому уже наскучила жизнь. Этот вельможа был, со стороны Карла IX, единственным свидетелем совещания, которое вскоре началось.

— Ваше величество, — сказал один из его участников, коннетабль де Монморанси, — лучший друг вашего отца, которому покойный государь поверял все свои тайны, вместе с маршалом Сент-Андре пришли к заключению, что королеву Екатерину надо было зашить в мешок и бросить в реку. Если бы мы это сделали, немало достойных людей осталось бы в живых.

— У меня и так на совести достаточно казней, сударь, — ответил король.

— Знайте, ваше величество, — сказал самый молодой из всех четырех, — находясь в изгнании, королева Екатерина всегда сумеет мутить воду; она найдет себе там союзников. Разве нам всем

не следует бояться Гизов, которые уже девять лет как взлелеяли план создания Католической Лиги? Ведь ваше величество они в этот план не посвятили, а он угрожает трону. Союз этот придумала Испания, она все еще не оставила мысли уничтожить границу на Пиренеях. Ваше величество, кальвинизм спасет Францию, воздвигнет нравственный барьер между ней и нацией, которая мечтает о владычестве над миром. Поэтому, если королеву-мать отправят в изгнание, она станет опираться на Испанию и на Гизов.

— Господа, — сказал король, — знайте, что, когда с вашей помощью будет установлен мир и спокойствие в стране, я сумею заставить всех меня бояться. Черт возьми, довольно подозрений! Пора наконец королю быть королем! Запомните, что в этом моя мать права, это касается вас так же, как и меня. Ваши богатства, ваши привилегии — все это связано с властью короля; если вы допустите, чтобы наша вера была попрана, те руки, которые сейчас вам послушны, протянутся к трону. Я больше не хочу воевать с идеями оружием, которым их нельзя поразить. Посмотрим, пойдет ли протестантство вперед, когда мы предоставим его самому себе. А главное, поглядим, против чего ополчится разум этих мятежников. Адмирал,

царство ему небесное, не был моим врагом. Он клялся мне, что это будет только восстанием духа и что в мире земном страной по-прежнему будет править король, а подданные ему будут послушны. Господа, если это еще в вашей власти, подайте пример, помогите вашему государю успокоить бунтарей, которые мешают всем нам жить спокойно. Война лишит всех нас доходов и разорит Францию. Я так устал от всех этих смут, что, если только это будет необходимо, я пожертвую моей матерью. Я пойду еще дальше, я оставлю подле себя равное число протестантов и католиков, а над ними повешу топор Людовика XI, чтобы права их сравнялись. Если Гизы замышляют создать свой Священный союз для того, чтобы посягать на корону, палач с них и начнет. Я понял, отчего мой народ несчастен, и я решил расправиться как следует с теми из вельмож, которые ведут страну к гибели. Мне дела нет до того, кто так думает; с этих пор я хочу, чтобы у меня были послушные подданные и чтобы они трудились на благо государству так, как я это прикажу. Господа, даю вам десять дней, чтобы договориться с вашими, перестать строить козни и возвратиться ко мне, вашему отцу. Если вы на это согласитесь, произойдут неожиданные пере-

мены. Я найду себе маленьких людей, которые по одному моему слову ринутся на вельмож. Я последую примеру короля, который навел порядок в стране, — он сумел низвергнуть людей повыше вас, когда они стали ему помехой! Если мне не хватит солдат-католиков, я могу обратиться к моему брату — испанскому королю и с его помощью удержусь на престоле; наконец, если у меня не будет верного слуги, чтобы выполнять мою волю, он пришлет ко мне герцога Альбу.

— В таком случае, ваше величество, нам придется бросить на ваших испанцев немцев, — ответил один из собеседников.

— Кузен, — холодно заметил Карл IX, — я женат на Елизавете Австрийской, и с этой стороны ты можешь потерпеть неудачу. Только послушайся меня, будем лучше драться одни и не станем призывать иностранцев. Моя мать тебя ненавидит, а ты мне достаточно близкий человек, чтобы я мог сделать тебя своим секундантом на дуэли, которая у меня с ней состоится. Так вот, слушай. Ты настолько достоин уважения, что я предлагаю тебе должность коннетабля. Ты не способен к измене так, как другие.

Принц, к которому обращался Карл, крепко пожал ему руку и сказал:

— Черт с ними, забудем все старое, брат мой! Только знайте, государь, голова ничего не может одна, без хвоста, а хвост наш не так-то легко сдвинуть с места. Десяти дней нам мало, нужен по крайней мере месяц, чтобы договориться с нашими. Когда этот срок пройдет, хозяевами будем мы.

— Ну, хорошо, пусть это будет месяц. Единственным моим представителем будет Вилльруа; что бы кто ни говорил, верьте ему одному.

— Месяц, — повторили вместе все трое незнакомцев, — это как раз то, что нам надо.

— Господи, — сказал король, — нас здесь пятеро, пятеро благородных людей. Если будет измена, мы будем знать, откуда она.

Прощаясь с Карлом IX, все трое были очень почтительны и поцеловали ему руку. Когда король переехал на другой берег Сены, часы Лувра пробили четыре. Королева Екатерина все еще не ложилась.

— Моя мать все еще не спит, — сказал Карл графу Солерну.

— У нее, видно, тоже есть кузница, — сказал немец.

— Дорогой граф, что вы скажете о короле, который вынужден вступить в заговор? — с горечью

сказал Карл IX, немного помолчав.

— Я вот думаю, ваше величество, что, если бы вы мне позволили бросить эту женщину в реку, как говорил этот юнец, Франция скоро успокоилась бы.

— Как, граф, вы предлагаете мне матереубийство? И это после Варфоломеевской ночи? — сказал король. — Нет! Нет! Отправим ее в изгнание. Стоит ей только потерять власть, как у нее не будет ни слуг, ни сторонников.

— Ну, раз так, ваше величество, — ответил граф Солерн, — то прикажите мне сейчас же арестовать ее и вывезти из Франции. Иначе завтра она подчинит всех своей воле.

— Хорошо, — сказал король, — пойдемте в мою кузницу, там нас никто не услышит; притом я вовсе не хочу, чтобы моя мать могла догадаться об аресте Руджери. Зная, что я здесь, она ничего даже не заподозрит, а мы с вами обсудим, как лучше ее арестовать.

Войдя вместе с графом Солерном в низенькую комнату, где была устроена мастерская, король с улыбкой показывал своему спутнику на кузницу и на все свои инструменты.

— Вряд ли среди всех будущих королей Франции окажется еще один, которому придется по

вкусу подобное ремесло. Но когда я стану полновластным королем, я не буду выковывать шпаги, я вложу их все в ножны.

— Ваше величество, — сказал граф Солерн, — усталость после игры в мяч, работа в этой кузнице, охота и, да позволено мне будет сказать, любовная страсть — все это кабриолеты, которые подсовывает вам дьявол, чтобы вы поскорее добрались до Сен-Дени[136].

— Солерн! — с горечью воскликнул король. — Если бы ты знал, как у меня горит сейчас сердце и все тело! Этого огня не потушить ничем. А ты уверен в гвардейцах, которые караулят обоих Руджери?

— Как в самом себе.

— Ну, хорошо, в течение дня я все решу. Подумай о том, как исполнить наше намерение; все мои последние приказы ты получишь в пять часов у госпожи Бельвиль.

Когда с первыми лучами зари огни мастерской побледнели, король, которого граф Солерн оставил там одного, услыхал, как кто-то открывает дверь, и увидел свою мать, появившуюся в предрассветных сумерках, словно привидение. Как

---

[136] Примечания: 136

…чтобы вы поскорее добрались до Сен-Дени — то есть поскорее умерли. Сен-Дени — см. прим. к стр. 257.

он ни был нервен и впечатлителен, Карл IX даже не вздрогнул, хотя в такие минуты это видение должно было показаться особенно фантастическим и страшным.

— Государь, — сказала она, — вы себя убиваете.

— Я только помогаю сбыться предсказаниям гороскопа, — сказал король с горькой усмешкой. — Но вы ведь, матушка, тоже не спите по ночам, как и я?

— Да, мы оба сегодня бодрствовали, государь, но только с разными целями. Когда ты шел совещаться на открытом воздухе со своими злейшими врагами, втайне от твоей матери, взяв с собою разных Таваннов и Гонди, и притворялся, что отправился на ночную прогулку, я читала донесения с доказательствами страшного заговора, в котором участвует твой брат, герцог Алансонский, твой шурин, король Наваррский, принц Конде, половина всей нашей знати. Они хотят ни больше, ни меньше как низложить тебя и захватить в плен. Они уже собрали пятьдесят тысяч отборного войска.

— Ах, вот как! — недоверчиво протянул король.

— Твой брат хочет стать гугенотом, — сказала королева.

— Мой брат переходит к гугенотам, — воскликнул Карл, раскаляя железо, которое он держал в руках.

— Да, герцог Алансонский, ставший гугенотом в душе, вскоре станет им и на деле. У твоей сестры, королевы Наваррской, не осталось почти никакого чувства к тебе. Она любит герцога Алансонского, она любит Бюсси, она любит также маленького Ламоля.

— Что у нее за сердце! — сказал король.

— Маленький Ламоль, — продолжала королева, — хочет вырасти и решил, что ему это лучше всего удастся, если он поставит над Францией короля по своему выбору. Его тогда могут сделать коннетаблем.

— Проклятая Марго! — воскликнул король. — Вот что значит сделаться женою еретика!

— Все это было бы еще ничего. Но они в союзе с главою младшей ветви дома, которого ты вопреки моему желанию приблизил к престолу и которому хочется, чтобы вы все поубивали друг друга. Род Бурбонов враждует с родом Валуа, знайте это, государь! Представителей младшей ветви королевского дома следует всегда держать в крайней бедности: это ведь заговорщики от рождения. И просто глупо давать им оружие то-

гда, когда у них его нет, и позволять им брать его самим. Надо, чтобы никто из принцев младшей ветви не мог поднять голову; вот закон, которому должны следовать короли. Так поступают все азиатские султаны. Все доказательства сейчас у меня в кабинете, я просила тебя подняться туда еще вчера вечером. Но у тебя были другие планы. Если мы сейчас в течение месяца не наведем порядок, тебя ждет участь Карла Простоватого[137].

— В течение месяца! — воскликнул Карл, ошеломленный совпадением этого срока с тем, что этой же ночью просили принцы. «Через месяц мы станем хозяевами...» — подумал он, припоминая их слова. — А доказательства у вас есть, государыня? — спросил он громко.

— Они неопровержимы, мессир, — они идут от дочери моей Маргариты. Она испугалась возможных последствий этого заговора, и, несмотря на нежные чувства, которые она питала к твоему брату, герцогу Алансонскому, она на этот раз ближе к сердцу приняла интересы трона и всего дома Валуа. В награду за все она просит, чтобы мы пощадили Ламоля. Но, по-моему, это опасный негодяй, с которым надо разделаться, так

[137] Примечания: 137

Карл Простоватый — французский король с 898 по 923 год, был свергнут с престола и умер в заключении в 929 году.

же как и с графом де Коконна, приближенным твоего брата. Что же касается принца Конде, то этот мальчишка готов согласиться на все, только бы меня кинули в реку; может быть, он просто после свадьбы хочет отблагодарить меня за то, что я нашла ему такую хорошенькую жену. Это — серьезное обстоятельство, мессир. Ты говоришь о предсказаниях!.. Мне известно одно из них, которое гласит, что трон Валуа перейдет к Бурбонам, и, если мы не примем мер, пророчество это осуществится. Не ополчайся только на сестру, она себя достойно вела в этом деле. Сын мой, — сказала Екатерина, помолчав и придав голосу выражение нежности, — существует немало злонамеренных сторонников Гизов. Они хотят посеять рознь между тобой и мной. А ведь наши интересы во всем совпадают, и таких, как мы, во всем государстве только двое! Подумай об этом. Я знаю, ты упрекаешь себя за Варфоломеевскую ночь, ты обвиняешь меня в том, что я толкнула тебя на эту расправу с гугенотами. Так знай, католичество должно служить связующим звеном между Испанией, Францией и Италией — тремя странами, которые, если только они будут умело следовать определенному тайному плану, могут объединиться со временем под началом

дома Валуа. Не лишай себя этой возможности, не выпускай из рук те нити, которыми единая вера объединит все три государства. Почему бы дому Валуа и дому Медичи не использовать во имя собственной славы план Карла V, государя, которому не хватило на это разума? Отправим в Америку потомков Иоанны Безумной: они ведь туда стремятся. Став хозяевами во Флоренции и в Риме, Медичи сумеют подчинить тебе всю Италию. Они закрепят все твои привилегии договором о торговле и о союзе, признав твои сюзеренные права на земли Пьемонта, Милана и Неаполя. Вот, сын мой, те причины, которые заставили нас не на жизнь, а на смерть драться с гугенотами. Почему ты заставляешь нас все это повторять тебе снова и снова? Карл Великий совершил ошибку, двинувшись на Север. Да, сердце Франции — в Лионском заливе, а Испания и Италия — это ее две руки. И этими руками можно обнять Средиземное море, которое подобно корзине, куда падают сокровища Востока и откуда из-под носа Филиппа II их сейчас вытаскивают венецианцы. Если дружба с Медичи и твои законные права позволят тебе завладеть Италией, то, применив силу, ты сделаешь своей Испанию; впрочем, ты, может быть, даже унаследуешь ее

корону. Надо в этом опередить честолюбивый Австрийский дом, которому гвельфы[138] готовы были продать Италию и который и по сию пору еще мечтает об Испании. Не беда, что твоя жена происходит из этого дома, — низвергни Австрию, задуши ее в своих объятиях. Австрийцы — враги Франции, это они ведь оказывают помощь реформатам. Не слушай людей, которые радуются нашей размолвке и которые мутят тебе голову, стараясь убедить, что в доме у тебя есть враг и что этот враг — я! Разве я препятствовала тебе иметь наследников? Почему у твоей любовницы родился сын, а у королевы — дочь? Почему у тебя нет сейчас троих сыновей, которые пресекли бы чаяния всех бесчисленных заговорщиков? Что я могу на это ответить? Разве герцог Алансонский вступил бы в заговор, если бы у тебя был сын?

Сказав это все, Екатерина вперила в Карла IX магнетический взгляд хищной птицы, которая нацелилась на свою жертву. Дочь Медичи была в эту минуту хороша своей ни с чем не сравнимой красотой: ее настоящие чувства сверкали на ее лице, где, как на лице игрока, увидевшего зеле-

[138] Примечания: 138

Гвельфы — политическая партия, стремилась установить в Италии власть римского папы, ожесточенно боролась против приверженцев германских императоров — гибеллинов (XII–XV).

ный стол, возгорались сотни самых страстных желаний. Для Карла IX она в эту минуту перестала быть просто матерью: он увидел в ней мать армий и империй (mater castrorum), как ее тогда называли. Екатерина расправила крылья своего гения и смело воспарила в сферы высокой политики всех Медичи и Валуа, развертывая перед сыном головокружительные планы, которыми она в свое время напугала Генриха II. Планы эти, перешедшие потом от Медичи к Ришелье, так и остались лежать в кабинетах Бурбонов. Но Карл IX, видя, сколько мер предосторожности приняла его мать, втайне думал, что меры эти действительно необходимы, и не мог только решить, с какою целью она их принимала. Опустив глаза, он задумался. Слова эти, каковы бы они ни были, не могли рассеять его подозрений. Екатерина была поражена, увидав, как глубоко гнездится эта подозрительность в душе ее сына.

— Итак, сын мой, ты, видно, не понимаешь меня? Что мы значим оба, ты и я, перед лицом вечности королевского трона? Неужели ты думаешь, что у меня есть иные стремления, кроме тех, которые ставят себе целью господство над миром?

— Государыня, я пойду с вами в ваш кабинет.

Надо действовать…

— Действовать! — воскликнула Екатерина. — Нет, пусть действуют они, а мы поймаем их с поличным, и тогда правосудие избавит тебя от всего. Бога ради, сын мой, сделай вид, что мы ничего не знаем!

Королева ушла. Король некоторое время оставался один. Он был глубоко удручен.

«Кто же из них расставляет мне западни? — подумал он. — Ее ли это сторонники обманывают меня или те, другие! Deus! Disceme causam meam[139], — стал молиться он со слезами на глазах. — Как тяжко мне жить! Пусть это будет естественная смерть или насильственная, все равно какая, лучше она, чем эти мучительные терзания, — добавил он, ударив молотом по наковальне с такою силой, что своды Лувра задрожали. — Господи! — сказал он, выходя на воздух и глядя на небо. — Во имя твоей святой веры я сейчас борюсь, ниспошли же мне ясность твоего взгляда, дабы проникнуть в намерения моей матери, когда я буду допрашивать Руджери!»

---

[139] Примечания: 139
Господи! Разреши мои сомнения *(лат.).*

III. Мари Туше

Маленький домик на улице Отрюш, где жила г-жа де Бельвиль и куда Карл IX велел отвести своих пленников, был вторым домом от угла улицы Сент-Оноре. Выходившие на эту улицу ворота дома, к которым с обеих сторон примыкали два маленьких кирпичных павильона, имели очень скромный вид, хотя вообще-то в эту эпоху и ворота и все пристройки к ним сооружались очень затейливо. Эти простые ворота состояли из двух каменных пилястров, сложенных из граненых камней, и арки, украшенной статуей лежащей женщины с рогом изобилия в руках. В этих воротах с тяжелой железной оковкой на высоте человеческого роста был устроен глазок, через который можно было глядеть на улицу. В каждом из павильонов жило по привратнику. Верный своим причудам и в любви, король Карл требовал, чтобы привратник дежурил днем и ночью. При доме был маленький мощеный дворик в венецианском вкусе. В ту эпоху, когда кареты еще не были в употреблении, дамы обычно или ездили верхом, или пользовались носилками, и ни лошади, ни кареты не портили тогдашних ве-

ликолепных дворов. Надо все время помнить об этом, чтобы понять, почему в то время улочки были так узки, а дворы так малы. Этим объясняются и еще некоторые особенности тогдашнего быта.

Дом, в котором было два этажа, был увенчан скульптурным фризом, на который опиралась крыша в четыре ската; верхняя часть этой крыши представляла собою ровную площадку, на каждом из скатов были чердачные окна с замысловатыми, покрытыми арабесками надоконниками и косяками, созданными резцом большого художника. Каждое из трех окон второго этажа было точно так же разукрашено каменными узорами, рельефно выделявшимися на кирпичной стене. Двойной подъезд очень изящного вида, с верхней площадкой, украшенной восьмеричным узлом, вел к входной двери с косяками из граненого камня венецианской работы! Такие же украшения были в правом и левом окнах.

Сад, разбитый по моде того времени, пестревший множеством редких цветов, занимал сзади дома такое же пространство, как и двор. Стены дома были увиты виноградом. Посреди газона возвышалась серебристая сосна. Между этим газоном и цветочными клумбами были проложены извилистые аллеи; они вели в глубину сада,

к маленькому боскету из подрезанных кустов тиса. Мозаика, украшавшая эти стены, выложенная разноцветными камнями, была, по правде говоря, довольно грубой, но тем не менее она привлекала взгляд богатством красок, гармонировавших с пестротою цветов вокруг. В домике этом было два прелестных лепных балкона, из которых один выходил в сад, а другой — во двор. Балконы эти были устроены прямо над дверью и служили украшением срединного окна. И с той и с другой стороны боковые украшения этого главного окна, выступая на несколько футов вперед, поднимались до самого фриза и образовывали небольшой павильон, по форме напоминавший фонарь. Подоконники всех других окон были инкрустированы драгоценным мрамором, вделанным в стену.

Несмотря на то что во всем здесь чувствовался безупречный вкус, дом этот имел мрачный вид. В комнатах было темно: соседние дома и крыши Алансонского дворца бросали тень на двор и на сад. К тому же дом этот всегда бывал погружен в глубокую тишину. Но тишина и полумрак и эта отчужденность от всего живого приносили успокоение душе, которая могла здесь отдаваться какой-то одной мысли, как в монастыре, где

предаются размышлениям, или в уединенном убежище, где любят.

Всякий поймет теперь, какою изысканностью отличалось внутреннее убранство этого дома, единственного уголка земли, где предпоследний Валуа мог кому-то изливать свою душу, высказывать свои горести, наслаждаться искусством и предаваться своему любимому занятию — поэзии, словом, освобождаться на время от самых тяжких забот, которые когда-либо выпадали на долю короля. Только там умели ценить величие его души и его храбрость, только там в течение нескольких быстро пролетавших месяцев, последних месяцев его жизни, он мог изведать радости отцовства, упиваясь своей любовью к сыну с тем исступлением, которое предчувствие близкой и страшной смерти накладывало на все его поступки.

На следующий день, уже около полудня, Мари была занята завершением своего туалета, которое происходило в молельне, служившей в те времена также и будуаром. Она поправляла свои прекрасные черные локоны, чтобы потом украсить их новым бархатным бантом, и внимательно разглядывала себя в зеркало.

«Скоро уже четыре. Этот нескончаемый совет

наконец окончился, — думала она. — Жакоб вернулся из Лувра; там сейчас поднялся переполох из-за того, что было вызвано столько советников и что все это длилось так долго. Что же случилось? Уж не несчастье ли какое? Господи, знает ли он, как томится душа, когда приходится ждать понапрасну! Или, может быть, он уехал на охоту? Если он это время развлекался, все будет хорошо. Только бы увидеть его веселым, и я обо всем забуду».

Она провела рукою по платью, разглаживая какую-то крохотную складку, и потом повернулась боком, чтобы посмотреть, как сидит на ней это платье. В эту минуту она вдруг увидела короля — он сидел на кушетке. Разостланные всюду ковры так заглушали шаги, что ему удалось прокрасться в комнату совсем неслышно.

— Как ты меня напугал! — сказала она, невольно вскрикнув от изумления, но сейчас же замолкла.

— Ты думала обо мне? — спросил король.

— А когда же я о тебе не думаю? — спросила она, садясь возле него.

Она сняла с него шляпу и плащ и запустила руки ему в волосы, как бы собираясь их расчесать. Карл покорно молчал. Изумленная Мари

опустилась на колени, чтобы внимательнее разглядеть бледное лицо своего господина и короля, и увидела на нем следы крайней усталости и смертельной грусти; ей не раз приходилось уже рассеивать эту грусть, но таким, как в этот день, она его никогда не видала. Сдерживая набегающие слезы, она молчала, дабы опрометчивым словом не вызвать в нем еще новых, неведомых ей страданий. Она поступила так, как в этих случаях поступают нежные жены: она поцеловала этот лоб, изборожденный преждевременными морщинами, эти ввалившиеся щеки, пытаясь передать его озабоченной душе всю свежесть своей и успокоить его ласками, которые, однако, были бессильны. Приподнявшись немного, она нежно обняла своими тонкими руками голову короля и тихо прильнула лицом к его груди; видя, что он болен и чем-то расстроен, она выжидала удобной минуты, чтобы расспросить его обо всем.

— Милый мой Шарло, расскажи, наконец, твоей несчастной подруге, от каких мыслей хмурится твой лоб, отчего побледнели твои прекрасные алые губы?

— Если не считать Карла Великого, — ответил он глухим и слабым голосом, — все французские короли, носившие имя Карл, кончили плохо.

— Как? — удивилась Мари. — А Карл VIII?

— В расцвете лет, — ответил король, — этот несчастный король ударился головой о косяк двери в замке Амбуаз, внутренней отделкой которого он был тогда занят, и умер в страшных страданиях. С его смертью корона перешла к нашему дому.

— Карл VII вернул себе королевство.

— Глупышка, в этом королевстве он умер, — король понизил голос, — от голода, боясь, что его отравит дофин, который перед этим уже умертвил красавицу Агнессу. Отец боялся сына. А сейчас вот сын боится матери!

— Почему ты столько копаешься в прошлом? — спросила она, думая об ужасной жизни Карла VI.

— А как же, моя милая? Не прибегая к услугам предсказателей, короли сами могут узнавать судьбу, которая их ждет: надо только заглянуть в историю. Сейчас вот я думаю о том, как мне избежать участи Карла Простоватого, который лишился короны и умер в тюрьме после семи лет плена.

— Карл V прогнал англичан! — сказала Мари с торжеством.

— Нет, не сам он, а Дюгеклен. Отравленный Карлом Наваррским, он влачил жалкие дни.

— А Карл IV? — спросила она.

— Тот три раза был женат, и у него так и не было детей, несмотря на всю мужественную красоту, которая отличала сыновей Филиппа Красивого. С окончанием его царствования прекратилась старшая ветвь дома Валуа, а младшие Валуа кончат так, как он; королева родила мне только одну дочь, она больше уже не забеременеет от меня, я умру, а ведь нет ничего хуже для государства, чем несовершеннолетний король. Да если бы у меня и родился наследник, кто знает, выжил бы он или нет. Карл — это несчастливое, роковое имя. Все счастье, которое это имя могло принести, целиком досталось на долю Карла Великого. Если бы мне снова довелось стать королем Франции, мне страшно было бы назвать себя Карлом X.

— А кто же посягает на твою корону?

— Мой брат, герцог Алансонский, в заговоре. Вокруг меня всюду одни только враги…

— Мессир, — сказала Мари, скорчив прелестную рожицу, — мне хотелось бы послушать что-нибудь повеселее.

— Любимая моя, — быстро оборвал ее король, — никогда не называй меня мессиром, даже в шутку; этим ты напоминаешь мне мою мать. Говоря так, она на каждом шагу оскорбляет меня:

мне кажется, что, произнося это слово, она лишает меня короны. Она говорит «сын мой» герцогу Анжуйскому, а ведь он король Польши.

— Государь, — сказала Мари, складывая руки как будто для молитвы, — на свете есть одно королевство, где вас обожают. Ваше величество наполняет его своей славой, своей силой; и в этом королевстве «мессир» означает: мой горячо любимый повелитель. — Она разомкнула объятия и кокетливо коснулась пальчиками сердца короля. Вся ее речь была так нежно смодулирована (слово, которое употребляли тогда, говоря о музыке любви), что Карл обнял Мари, поднял ее в неистовом порыве страсти, которые по временам охватывали его, посадил ее к себе на колени и прижался к ее лбу, на который ниспадали кокетливо уложенные локоны.

Мари решила, что сейчас наступил благоприятный момент, и отважилась несколько раз его поцеловать. Карл скорее перенес, чем принял эта поцелуи, но сам на них не ответил. Потом, между двумя поцелуями, она сказала:

— Если мои люди не обманывают меня, ты всю эту ночь прошатался по Парижу, как в те времена, когда ты был младшим в семье и вел разгульную жизнь. Разве не ты ударил страж-

ника и ограбил нескольких честных горожан? Кто эти люди, которых сейчас сторожат в моем доме и которых ты считаешь такими тяжелыми преступниками, что даже запретил кому бы то ни было их видеть? Никогда еще ни одну девушку не охраняли так неусыпно, как стерегут сейчас этих людей, — им не дают ни хлеба, ни воды. Немцы из свиты Солерна никого и близко не подпускают к той комнате, куда ты их посадил. Что это все, в шутку или всерьез?

— Да, вчера вечером, — сказал король, выходя из состояния задумчивости, — я действительно пустился бегать по крышам вместе с Таванном и братьями Гонди; мне хотелось провести эту ночь с товарищами моих былых проказ, но они уже стали не те; мы не рискнули прыгать через улицы. Два раза мы, правда, все-таки перепрыгнули через дворик с одной крыши на другую. На последнем дворе в двух шагах отсюда, когда мы перескочили на конек крыши и прижались к трубе, мы с Таванном решили, что с нас хватит. Каждый из нас, будь он один, вероятно, ни за что бы не прыгнул.

— Ручаюсь, что ты прыгал первый! — (Король улыбнулся.) — Я ведь знаю, почему ты себя не бережешь.

— О моя милая провидица!.. Съешь пес всех колдунов! Они меня всюду преследуют, — сказал король, снова становясь серьезным.

— Мое единственное колдовство — это любовь, — сказала Мари, улыбаясь. — Разве, начиная с того счастливого дня, когда ты меня полюбил, я не угадывала каждый раз твои мысли? А если ты позволишь мне сказать все, что я думаю, то знай: мысли, которые тревожат тебя сейчас, недостойны короля.

— А разве я король? — сказал Карл с горечью.

— Но ты ведь можешь стать им! А как сделал Карл VII, имя которого ты носишь? Он слушался своей возлюбленной, мессир, и он вернул себе королевство, захваченное тогда англичанами, так же как твое теперь захвачено реформатами. Последние твои действия начертали тебе путь, которым надо следовать. Уничтожь еретиков.

— Ты же не одобряла моего плана, — сказал Карл, — а теперь вдруг…

— Он уже осуществлен, — сказала Мари, — притом я держусь того же мнения, что и королева Екатерина: лучше было сделать все своими руками, чем поручать это Гизам.

— Карлу VII приходилось воевать всего-навсего с людьми, в то время как против меня ополчи-

лись идеи, — ответил король. — Человека можно убить, но слова убить нельзя. Император Карл V отказался бороться с ними; именно они довели до изнеможения его сына, дона Филиппа; все мы, короли, погибнем в этой борьбе. На кого мне опереться сейчас? Справа — стан католиков: оттуда мне угрожают Гизы; слева — кальвинисты: они никогда не простят мне убийства несчастного адмирала Колиньи, которого я называл отцом, и все августовское кровопролитие[140]. К тому же они хотят уничтожить королевскую власть. И, наконец, прямо передо мной моя мать…

— Арестуй ее, царствуй один, — прошептала Мари на ухо королю.

— Вчера еще я собирался это сделать, а сегодня я уже не хочу. Тебе-то хорошо говорить об этом.

— Между дочерью аптекаря и дочерью врача расстояние не так уж велико, — сказала Мари Туше, которая любила пошутить над своим мнимым происхождением.

Король нахмурил брови.

— Не говори таких дерзостей, Мари. Екатерина Медичи — моя мать, и тебе следовало бы трепетать…

---

[140] Примечания: 140

Августовское кровопролитие — то есть Варфоломеевская ночь.

— А чего же ты боишься?

— Того, что меня отравят! — сказал, наконец, король в ярости.

— Бедное дитя мое! — воскликнула Мари, еле сдерживая слезы. Она увидела, что огромная внутренняя сила уживается в короле со слабостью духа, и это ее растрогало. — Ах! Ты заставляешь меня ненавидеть королеву Екатерину, — сказала она, — а я считала ее такой доброй. Сейчас во всех ее добрых деяниях я вижу одно коварство. Иначе для чего бы ей быть такой ласковою со мной и вместе с тем причинять тебе столько горя? За время моей жизни в Дофине я много всего узнала о начале твоего царствования. Ты все от меня скрываешь, а ведь королева-мать — причина всех твоих бед.

— Почему? — озабоченно спросил король.

— Женщина, у которой душа и намерения чисты, использует хорошие стороны любимого человека, чтобы приобрести власть над ним. Но если женщина не хочет кому-то добра, она овладевает этим человеком, потакая его дурным наклонностям. А королева превратила многие твои достоинства в пороки и вместе с тем заставила тебя считать свои дурные качества добродетелями. Допустимо ли, чтобы так посту-

пала родная мать? Стань же тираном, таким, каким был Людовик XI, сумей внушить к себе ужас. Последуй примеру дона Филиппа, прогони итальянцев, устрой охоту на Гизов и конфискуй все земли у кальвинистов. В этом одиночестве ты возвысишься и спасешь свою корону. Обстоятельства тому благоприятствуют. Брат твой в Польше.

— В политике мы оба с тобою дети, — с горечью сказал Карл, — мы умеем только любить друг друга. Увы, моя милая, вчера я обо всем этом думал и многое хотел совершить. И что же! Это был карточный домик, и моя мать разрушила его одним дуновением. Когда глядишь на все эти вопросы издалека, они кажутся вершинами гор, очертания которых ясно рисуются в небе. И так легко сказать себе: я покончу с кальвинизмом, я призову к порядку Гизов, я порву связи с папской курией, я буду опираться только на мой народ, на горожан. Словом, издалека все кажется таким простым. Но стоит только начать подниматься в горы и приближаться к этим вершинам, как трудности осаждают тебя. Главари наваррской партии меньше всего пекутся о кальвинизме, а герцоги Гизы, эти закоренелые католики, пришли бы в отчаяние, если бы кальвинисты потерпели

вдруг неудачу. Каждый прежде всего отстаивает свои интересы, и религиозные убеждения служат только ширмой ненасытному честолюбию. Партия Карла IX самая слабая из всех. Партия короля Наваррского, короля польского, герцога Алансонского, принцев Конде, герцогов Гизов, моей матери — все они объединяются одна с другой и оставляют меня без поддержки даже в моем Совете. Среди всех этих враждующих начал моя мать оказалась сильнее всех, она только что доказала мне всю несостоятельность моих планов. Наши подданные издеваются над правосудием. Нам нужен топор Людовика XI, того самого короля, которого ты сейчас называла. Парламент не способен осудить ни Гизов, ни короля Наваррского, ни принцев Конде, ни моих братьев: он сочтет это разжиганием пожара в стране. Надо быть храбрым, чтобы начать убивать людей. Королю ничего другого и не остается делать, когда он окружен всеми этими наглецами, уничтожившими всякое правосудие. Но где же найти верных слуг? После того как я утром побывал на Совете, мне все опротивело: всюду одни измены, одна вражда. Я устал быть королем, — я хочу только одного — умереть в покое.

И Карл IX снова погрузился в какую-то мрачную

дремоту.

— Все опротивело! — с горечью повторила Мари Туше, боясь потревожить впавшего в глубокое оцепенение короля.

IV. Рассказ короля

Карл действительно пребывал в полной прострации и тела и духа: он от всего устал и во всем изверился. Горе его было необъятно, он перестал уже надеяться, что выйдет победителем из этой борьбы, а трудности росли с такой неимоверною быстротою, что способны были устрашить даже гения. Огромный душевный подъем, который был у короля несколько месяцев тому назад, повлек за собою столь же стремительный спад. К этому присоединился и очередной приступ болезни, которой он страдал. Приступ этот начался, едва только он покинул зал, где происходило заседание Государственного совета. Мари увидела, что король был в эту минуту в таком состоянии, когда больно и неприятно все, вплоть до любви. Она стала перед ним на колени, уткнув голову в колени короля, погрузившего руку в ее волосы, и оба они застыли так, не проронив ни одного слова, не испустив ни единого вздоха. Карл IX погрузился в какую-то летаргию бессилия, а Мари вся оцепенела от отчаяния, которое охватывает любящую женщину, когда она видит ту грань, за которой кончается любовь. Оба они долго пребы-

вали в глубочайшем молчании. Это был один из тех часов, когда любая мысль причиняет боль, когда тучи душевной бури затемняют все, даже самые светлые воспоминания. Мари готова было считать и себя виновницей этого ужасающего упадка сил. Она в страхе спрашивала себя: не могло ли быть так, что все безмерные радости любви, которые испытал с ней король, что вся его неистовая страсть, с которой у нее не было сил бороться, подорвали телесные и душевные силы Карла IX? Когда она подняла глаза, которые, как и все ее лицо, были в слезах, она увидела слезы на глазах и на совершенно бледных щеках короля. Это внутреннее единение, которое сопутствовало им всегда, даже в скорби, до такой степени растрогало Карла IX, что он вышел из своего оцепенения, как конь, боков которого коснулись шпоры. Он обнял Мари и, прежде чем она могла угадать его намерение, уложил ее на кушетку.

— Я не хочу больше быть королем, — сказал он, — я хочу только быть твоим любовником, чтобы, наслаждаясь, забывать обо всем на свете! Я хочу умереть счастливым, а не поглощенным государственными заботами.

Тон, которым были произнесены эти слова, и огонек, неожиданно загоревшийся в потухших

глазах Карла IX, не только не понравились Мари, но причинили ей жестокую боль; в это мгновение она корила себя за свою любовь, считая ее одной из причин болезни, от которой теперь умирал король.

— Ты позабыл про твоих узников, — напомнила она ему, вскакивая с кушетки.

— А что мне сейчас эти люди? Пускай они убивают меня.

— Как, это убийцы? — вскричала Мари.

— Не беспокойся, дорогая, они в наших руках. Думай сейчас не о них, а обо мне. Или ты меня больше не любишь?

— Государь! — воскликнула она.

— Государь! — повторил Карл IX, и глаза у него загорелись — так велика была ярость, вызванная этой несвоевременной почтительностью его возлюбленной. — Видно, ты заодно с моей матерью!

— Господи! — воскликнула Мари, взглянув на изображение мадонны и пытаясь стать на колени и прочесть молитву. — Помоги ему меня понять!

— Вот как! — мрачно сказал король. — Тебе, значит, есть в чем каяться? — Потом, сжимая ее в своих объятиях, он стал медленно вглядываться в глаза своей любовницы. — Мне рассказывали, что один из д'Антрагов без ума от тебя, — сказал

он рассеянно, — и что с тех пор, как капитан Бальзак, который им приходится дедом, женился в Милане на одной из Висконти, эти негодяи не сомневаются в своем успехе.

Мари так гордо посмотрела на короля, что ему стало стыдно. В эту минуту послышался плач маленького Карла Валуа, который, очевидно, только что проснулся и которого кормилица принесла в соседнюю комнату.

— Входи же сюда, бургундка! — крикнула Мари, беря ребенка из ее рук и поднося его к королю. — Ты еще больше дитя, чем он, — сказала она, наполовину еще гневно, наполовину уже успокоившись.

— Какой он красавец! — сказал Карл IX, беря сына на руки.

— Я одна только знаю, как он на тебя похож, — сказала Мари, — у него уже и сейчас твои манеры, твоя улыбка…

— У такого-то малютки? — улыбаясь, спросил король.

— Мужчины не хотят этому верить, — сказала Мари, — но только возьми его, Шарло, поиграй с ним, посмотри на него… Ну, разве я не права?

— А ведь правда! — воскликнул король, пораженный каким-то движением ребенка, которое,

как ему показалось, в миниатюре повторило один из его привычных жестов.

— Мой милый крошка! — сказала мать. — Он никогда меня не покинет! Он никогда не причинит мне горя!

Король забавлялся с сыном, подбрасывал его на руках, осыпал его поцелуями, разговаривал с ним теми забавными, непонятными для окружающих звукоподражательными словами, которые умеют придумывать матери и кормилицы. Голос его стал каким-то детским. Лоб его наконец прояснился, его печальное лицо засияло радостью. Когда Мари увидела, что ее любимый обо всем позабыл, она опустила голову ему на плечо и прошептала на ухо:

— Может быть, ты мне все-таки скажешь, милый Шарло, для чего тебе понадобилось держать этих убийц в моем доме? Что ты собираешься с ними делать? И чего это ради ты лазил по крышам? Надеюсь, здесь не замешана женщина?

— Ты все так же меня любишь! — сказал король, пораженный ясностью ее взгляда, одного из тех вопрошающих взглядов, которыми женщины так умеют пользоваться в нужную минуту.

— А ты в чем-то еще меня подозреваешь? — сказала она, и слезы заискрились в ее красивых

глазах.

— В моих приключениях участвовали и женщины, но все это были колдуньи. Но на чем я остановился?

— Как ты оказался в двух шагах отсюда, на коньке крыши, — сказала Мари. — Только на какой это было улице?

— На улице Сент-Оноре, моя милая, — сказал король. Он как будто успокоился и, собравшись с мыслями, решил рассказать своей любовнице о том, что должно было произойти у нее в доме. — Когда вчера вечером я отправился бродить по городу, мое внимание привлек яркий свет в окнах чердачного этажа того дома, где живет Рене, парфюмер и перчаточник моей матери, да и твой тоже, да и всего двора. Все, что творится в доме этого человека, внушало мне самые серьезные подозрения, и если я буду отравлен, то только ядом, приготовленным там.

— Больше никаких дел у меня с ним не будет, — сказала Мари.

— Ах, так, значит, у тебя с ним все еще были какие-то дела, после того как я с ним покончил! — воскликнул король. — Здесь была моя жизнь, — добавил он мрачно, — как видно, здесь мне уготована и смерть.

— Но послушай, милый, я же вернулась из Дофине с нашим дофином, — сказала она, улыбаясь, — и Рене ничего не поставлял мне после смерти королевы Наваррской… Так рассказывай дальше… Ты взобрался на крышу дома Рене?

— Да, — сказал король. — За одно мгновение я вместе с Таванном нашел место, откуда имел возможность, оставаясь незаметным, разглядеть всю эту дьявольскую кухню и увидеть там то, что заставило меня принять эти меры. Разве ты никогда не обращала внимания на чердачное помещение в доме этого проклятого флорентинца? Окна, выходящие на улицу, постоянно закрыты, кроме последнего, откуда видны дворец Суассон и башня, построенная моей матерью для ее астролога Козимо Руджери. На этом чердаке есть жилые комнаты и галереи, все окна которых выходят на двор. Поэтому, чтобы увидеть, что там творится, надо взобраться туда, куда ни один человек не полезет, — на самый верхний край стены, которая возвышается до уровня крыши дома Рене. Люди, которые устроили там свою кухню, где они цедят яды, считали, что все парижане — трусы и никто не залезет так высоко. Но они забыли, что есть на свете Карл Валуа. Я пробрался туда по желобу и смог заглянуть в одно

из окон, прижавшись к косяку и обхватив рукою каменную обезьяну, украшение этого окна.

— И что же ты там увидел, любимый мой? — спросила Мари в испуге.

— Лабораторию, где изготовляются адские зелья. Первым, кто бросился мне там в глаза, был сидевший на стуле высокий старец с великолепной седой бородой, вроде той, что была у старика Лопиталя, и одетый, как тот, в черную бархатную мантию. Ярко пылавший светильник хорошо освещал его высокий, изборожденныйй глубокими морщинами лоб, венец седых волос, спокойное, сосредоточенное лицо, побледневшее от трудов и беспрерывных ночных бдений. Он внимательно читал старинный манускрипт, написанный на пергаменте, которому, должно быть, уже было несколько сот лет, и то и дело поглядывал на горевшие печи, где варилось какое-то страшное месиво. В этой лаборатории трудно было что-либо разглядеть — столько к потолку было подвешено чучел, столько всюду было скелетов, пучков сушеных трав и разложенных вдоль стен минералов и разных снадобий. В одном углу — книги, реторты, сундуки с различной колдовскою утварью и астрологическими таблицами, в другом — гороскопы, колбы, вос-

ковые фигуры для энвольтования и, может быть, яды, которыми он снабжает Рене, чтобы отблагодарить перчаточника моей матери за гостеприимство и покровительство. Уверяю тебя, и меня и Таванна этот колдовской арсенал просто ошеломил. Стоит только взглянуть на все это, и уже подпадаешь сам под власть бесовского наваждения. И если бы я не был королем Франции, я, наверное, струсил бы.

«Трепещи за нас обоих!» — шепнул я Таванну. Но Таванн не мог оторвать глаз от еще более загадочного зрелища. Возле старика лежала высокая девушка удивительной красоты, тонкая, как уж, белая, как горностай, бескровная, как покойница, недвижная, как изваяние. Может быть, девушку эту только что вырыли из могилы, и она была нужна старику для каких-то опытов — нам показалось, что она была завернута в саван. Глаза ее были устремлены в одну точку, она не дышала. Старик не обращал на нее никакого внимания. Я смотрел на него до того пристально, что мне казалось, что дух его вселяется в меня. Чем дольше я его разглядывал, тем больше восхищался его глазами. Взгляд их был таким живым, таким глубоким, таким решительным, несмотря на столь преклонные годы. Очертания его рта выра-

жали движение мыслей, порожденных, казалось, одной-единственной страстью, запечатлевшейся во множестве морщинок, испещрявших его лицо. Весь облик этого человека говорил о надежде, которую ничто не в силах поколебать, о воле, которую ничто не остановит. Сидел он не шевелясь, но какой-то трепет пробегал по всему его телу. Эти одухотворенные черты, как бы изваянные страстью, взявшей в руки резец скульптора, эта мысль, воплотившаяся в искании, научном или преступном, этот пытливый разум, погнавшийся за тайной природы, побежденный этой природой, но не сломленный тяжким бременем своего дерзания, верный ему до гроба, разум, угрожающий всему сущему тем самым огнем, который он зажег от него… — все это на какое-то время меня заворожило. Я увидел, что этот старик больше король, чем я, ибо его взгляд охватывает весь мир и этим миром владеет. Я решил, что больше не стану ковать мечи, я хочу воспарить над бездной, как этот старец. Его знания та же королевская власть, но только с незыблемою основой. Словом, я начал верить в оккультные науки.

— Как! Ты, старший в роде, ревнитель святой католической апостольской римской церкви? — спросила Мари.

— Да, я.

— Что же такое случилось? Продолжай. Хоть мне и страшно, будь ты храбр за меня!

— Взглянув на часы, старец поднялся, — продолжал король, — и вышел неизвестно каким путем, я только слышал, как открылось окно, выходящее на улицу Сент-Оноре. Вскоре блеснул свет, и тут я увидел, как на башне дворца Суассон вспыхнул ответный сигнал. Свет этот озарил башню, и там наверху я увидел Козимо Руджери. «Ах, у них все условлено между собой!» — сказал я Таванну, которому все это показалось до чрезвычайности подозрительным; он согласился со мной, и мы решили захватить этих людей и немедленно же тщательно обыскать их чудовищную мастерскую. Но прежде чем их арестовать, нам хотелось увидеть до конца все, что произойдет. Через какие-нибудь четверть часа дверь лаборатории открылась, и Козимо Руджери, ближайший советник моей матери, этот бездонный колодец, который поглощает все тайны двора, тот самый, кто помогает женщинам привораживать мужей и любовников, кто дает советы обманутым любовникам и мужьям, кто торгует будущим и прошедшим, получает деньги от всех, продает гороскопы и слывет всеведущим, — этот

наполовину человек и наполовину дьявол вошел в дом и приветствовал старика словами: «Здравствуй, брат мой!» Он привел с собой горбатую беззубую старуху, согнутую и скрюченную, как колдунья из сказки, но с виду еще страшнее. Лицо у нее было сморщенное, как печеное яблоко; кожа желтая, как шафран; подбородок доставал до самого носа; рот ее был едва заметной, тонкой черточкой; глаза походили на черные бисеринки; лоб носил отпечаток какой-то горечи; волосы седыми прядями выбивались из-под чепца; шла она, опираясь на клюку; разумеется, это была ведьма. Мы оба с Таванном испугались. Ни он, ни я не хотели согласиться с тем, что это просто старуха: таких женщин господь еще не создавал. Она уселась на скамеечку возле красавицы-ужа, которая пленила Таванна. Ни тот, ни другой брат не обращали внимания ни на старуху, ни на девушку, которые составляли вместе страшную пару. Одна являла собой мертвую жизнь, другая — живую смерть.

— Мой милый поэт! — воскликнула Мари, целуя короля.

— «Здравствуй, Козимо! — приветствовал брата старый алхимик. Оба посмотрели на печи. — Ну как сегодня луна?» — спросил старик.

«Саго Lorenzo[141], — ответил ему астролог моей матери, — сентябрьские приливы и отливы еще не кончились, все спуталось, и узнать ничего нельзя».

«А какие вести прислал нам вчера восток?»

«Он открыл, — ответил Козимо, — творящую силу в воздухе; сила эта возвращает земле все, что она оттуда берет; он сделал из этого тот же вывод, что все здесь постепенно меняется, но что все многообразие мира только формы одной и той же субстанции».

«Именно так думал мой предшественник, — ответил Лоренцо. — Сегодня утром Бернар де Палисси[142] сказал мне, что металлы произошли в результате сжатия и что огонь, который все разделяет, точно так же все собирает в одно целое. Человек этот прозорлив.

Несмотря на то что они никак не могли меня видеть, Козимо взял мертвую девушку за руку и сказал: «Возле нас кто-то есть! Кто же это?» — спросил он. «Король!» — ответила девушка. Я

---

[141] Примечания: 141

Милый Лоренцо *(ит.).*

[142] Примечания: 142

Бернар де Палисси — французский ученый и писатель (XVI в.), прославился своими работами в области химии и художественной керамики.

сразу же постучал в окно, Руджери растворил его, и я вместе с Таванном прыгнул прямо в эту адскую кухню. «Да, король, — сказал я флорентинцам, которые глядели на меня, охваченные ужасом. — Ни ваши печи, ни ваши колдуньи, ни вся ваша наука не предупредили вас о моем посещении. Я рад видеть знаменитого Лоренцо Руджери, о котором всегда с такой таинственностью говорит королева, моя мать, — сказал я старику, который встал и поклонился. — Только я ведь не давал вам разрешения находиться во Франции. Ради кого вы здесь трудитесь, вы, чьи отцы и дети хранили верность дому Медичи? Послушайте, к вам притекает столько денег, что, находясь на вашем месте, самый алчный человек давно бы уже насытился золотом. Вы слишком хитры, чтобы безрассудно пускаться на преступления, но вы же ведь не очертя голову кинулись сейчас в эту адскую стряпню? Значит, вас не прельщает ни золото, ни власть — у вас есть иные тайные замыслы? Кому вы служите? Богу или дьяволу? Что вы изготовляете здесь? Я хочу знать всю правду: помните, я человек, который поймет ее и сумеет сохранить в тайне все ваши деяния, как бы преступны они ни были. Итак, вы без притворства должны рассказать

мне все. Если же вы меня обманете, я поступлю с вами по всей строгости. Будь вы язычники или христиане, кальвинисты или магометане, даю вам мое слово короля, что вас беспрепятственно выпустят за пределы нашей страны, даже если за вами будут кое-какие грехи. Словом, даю вам на размышление весь остаток сегодняшней ночи и завтрашнее утро. Ибо вы сейчас мои пленники и вы последуете за мной в такое место, где вас будут стеречь, как стерегут сокровище».

Прежде чем повиноваться моему приказанию, флорентинцы многозначительно переглянулись; тогда Лоренцо Руджери сказал мне, что никакими пытками мне у них не вырвать признания, ибо, несмотря на то что физически они оба выглядят слабыми, ни страдание, ни чувства, присущие людям, не властны над ними. Только доверие может заставить их раскрыть свои тайны. Не приходилось удивляться, что в эту минуту они говорили, как с равным, с королем, который выше себя считал только бога: ведь от бога зависели также все их мысли. Поэтому они просили меня так же довериться им, как сами они доверятся мне. Прежде чем обещать мне, что они чистосердечно ответят на мои вопросы, они попросили меня вложить мою левую руку в руку молодой

девушки, а правую — в руку старухи. Я не хотел давать им повод думать, что я боюсь колдовства, и повиновался. Лоренцо взял мою правую руку, Козимо — левую, и они оба вложили их в руки обеих женщин, так что я походил на Христа между двумя разбойниками. В то время как колдуньи рассматривали линии моих рук, Козимо подал мне зеркало и попросил поглядеть в него. Брат его стал говорить с молодой девушкой и старухой на каком-то незнакомом мне языке. Ни Таванн, ни я не могли уловить в его словах никакого смысла. Прежде чем привести их сюда, мы опечатали все двери этой лаборатории, и Таванн взялся сторожить ее до тех пор, пока по моему особому приказанию туда не прибудут специально вызванные для этого Бернар де Палисси и мой врач Шаплен; они должны тщательно осмотреть все зелья, которые там готовятся и хранятся. Для того, чтобы итальянцы не знали, что у них на кухне обыск, и чтобы они ни с кем не могли общаться — иначе они донесли бы обо всем моей матери, — я тайком привел этих дьяволов к тебе в дом, а охрану их поручил немцам Солерна, которые стоят самых крепких тюремных стен. Рене сидит под стражей у себя в комнате; его и обеих колдуний охраняет конюх Солерна. Вот что, моя

милая, раз у меня теперь в руках эти ведуны каббалы, эти короли нищих, эти великие маги, эти богемские князья, эти повелители будущего, эти последователи всех знаменитых пророков, я хочу расспросить их о тебе, узнать твою душу; так или иначе, они скажут нам, что нас ждет!

— Для меня будет счастьем, если они сумеют показать тебе мою душу, — совершенно спокойно сказала Мари.

— Я знаю, почему колдуны тебе не страшны: ты ведь сама колдунья.

— Съешь персик! — сказала она и протянула ему чудесные плоды на вермелевом блюде. — Посмотри, какой виноград, какие груши! Я все это сама собирала в Венсенне.

— Я буду есть, ибо если они ядовиты, то только от твоих рук, источающих чары любви.

— Тебе надо есть побольше фруктов, Карл: это освежит тебе кровь, которую ты иссушаешь своими безумствами.

— А может быть, мне надо меньше любить тебя?

— Может быть, — ответила она. — Если бы я знала, что тебе действительно что-то вредит — а это, должно быть, так, — я бы нашла в моей любви достаточно сил, чтобы отказать тебе в

твоих желаниях. Я обожаю Карла еще больше, чем люблю короля, и я хочу, чтобы ты жил без тех мук, от которых человек становится задумчивым и мрачным.

— Королевская власть меня губит.

— Да, — сказала она. — Шурин твой, король Наваррский, только и знает, что бегает за юбками; у него нет ни гроша за душой; он владеет одним только жалким королевством в Испании, куда он теперь уже больше не покажется, да Беарном во Франции, которого ему едва хватает на жизнь. И все-таки, если бы ты был обыкновенным принцем, как он, я была бы счастлива, во много раз счастливее, чем если бы я в самом деле стала королевой Франции.

— Но разве ты не больше, чем королева? Для той король Карл существует только как правитель страны, ибо быть королевой — это всегда значит заниматься политикой.

Мари улыбнулась и, сделав прелестную гримаску, сказала:

— Все это знают, государь. А сонет ты для меня написал?

— Милая моя, стихи писать так же трудно, как издавать указы для того, чтобы рассеять смуту в стране. Я скоро закончу то, что я обещал тебе.

Господи, как легко мне живется здесь у тебя, как мне не хочется уходить отсюда! Однако надо же идти допрашивать флорентинцев. Черт бы их всех не видал!.. Я ведь думал, что мне довольно хлопот и с одним Руджери, а вот их, оказывается, двое. Послушай, моя крошка, ты ведь совсем не глупа, из тебя бы вышел отличный судья, ты все умеешь угадывать.

— Государь мой, мы ведь всегда допускаем то, чего боимся, и возможное для нас часто становится непреложной истиной. Вот в двух словах вся наша хитрость.

— Хорошо! Так помоги же мне выпытать тайны у этих двух итальянцев. Все мои решения зависят сейчас от результатов этого допроса. Виновны они или нет? За их спиною стоит моя мать.

— Я слышу на лестнице голос Жакоба, — сказала Мари.

Жакоб был любимым камердинером короля и обычно сопровождал его во всех похождениях. Он пришел спросить, не желает ли его величество поговорить со своими пленниками.

Король кивнул ему головой, а хозяйка дома отдала все необходимые распоряжения.

— Жакоб, — сказала она, — выпроводи всех слуг из дома, оставь здесь только кормилицу и дофина

Овернского. Сам оставайся внизу. Но сначала закрой все окна, задерни занавески в гостиной и зажги свечи.

Нетерпение короля было так велико, что, не дожидаясь, пока окончатся все эти приготовления, он уселся в кресло возле высокого белого мраморного камина, в котором пылал яркий огонь. Его прелестная возлюбленная поместилась рядом с ним. Над камином на месте зеркала висел портрет короля в красной бархатной раме. Карл IX уперся локтями в ручки кресла, чтобы ему было удобнее разглядывать флорентинцев.

Закрыв ставни и задернув занавески, Жакоб зажег свечи в высоких подсвечниках или, точнее говоря, в высоких серебряных канделябрах художественной работы и поставил их на стол, за который должны были сесть оба флорентинца; им нетрудно было узнать в этих канделябрах творчество Бенвенуто Челлини, их соотечественника; при свете их богатое убранство этого зала, который Карл IX отделал по своему вкусу, ярко заблестело. Коричневато-красные ковры были сейчас еще эффектнее, чем при дневном освещении. Мебель из черного дерева, очень тонкой работы, отражала колыхание свечей и пламя камина. Умеренно и умело положенная позолота

блистала то тут, то там и оживляла коричневые тона, которые царили в этом жилище влюбленных.

V. Алхимики

Жакоб постучал два раза и, получив разрешение войти, ввел в комнату обоих флорентинцев. Мари Туше сразу же поразил величественный облик Лоренцо, который приковывал к себе внимание не только сильных мира, но и людей заурядных. Лоб этого почтенного старца, с серебряной бородой, которая контрастировала с черной бархатной шубой, напоминал собою мраморный купол. Его строгое лицо с черными, пронзавшими вас насквозь глазами передавало весь трепет гения, вышедшего из глубокого одиночества и еще более могущественного оттого, что общение с людьми не притупило его духовной силы. Его можно было сравнить с железным клинком, который еще ни разу не вынимали из ножен.

Козимо Руджери был одет так, как одевались при дворах той эпохи. Мари знаком дала понять королю, что тот ничего не преувеличил в своем рассказе, и поблагодарила его за то, что он показан ей этого необыкновенного человека.

— Я хотела бы видеть колдуний, — шепнула она на ухо королю.

Снова погруженный в раздумье, Карл IX ей ничего не ответил: он старательно стряхивал хлебные крошки, которые оставались у него на камзоле и на штанах.

— Ваша наука не имеет власти над небом. Она не может приказать солнцу не светить, господа флорентинцы, — сказал король, указывая на занавески, которые пришлось опустить, так как погода в Париже стояло пасмурная. — Совсем темно.

— Наши знания, государь, позволяют нам создавать небо по своему произволу, — сказал Лоренцо Руджери. — Для того, кто трудится в лаборатории при свете печей, погода всегда хороша.

— Это правда, — ответил король. — Так вот, отец мой, — сказал он, называя его так, как он привык называть всех стариков, — расскажите мне обстоятельно о цели ваших трудов.

— А кто нам поручится, что нас потом не накажут?

— Король, — ответил Карл IX, любопытство которого было до крайности возбуждено.

Лоренцо Руджери как будто задумался. Тогда Карл воскликнул:

— Кто же станет вас наказывать? Мы здесь одни!

— Здесь король Франции? — спросил маститый старец.

Карл с минуту подумал, а потом ответил:

— Нет.

— И он не придет сюда? — спросил Лоренцо.

— Нет, — ответил Карл, подавляя порыв гнева.

Тогда старец придвинул стул и сел. Козимо, пораженный этой смелой выходкой, не решился последовать его примеру.

— Короля здесь нет, — сказал Карл IX с глубокой иронией в голосе. — Но здесь присутствует женщина, и следовало попросить ее позволения, прежде чем садиться.

— Сударыня, — сказал старец, — тот, кого вы видите перед собой, настолько же выше всех королей, насколько короли выше своих подданных, и, узнав, насколько велико мое могущество, вы убедитесь, что я с вами достаточно учтив.

Услыхав эти дерзновенные слова, произнесенные с итальянским акцентом, Карл и Мари переглянулись и посмотрели оба на Козимо, который не сводил глаз с брата. Казалось, он был озабочен тем, как тот выйдет из столь трудного положения.

В действительности же ни король, ни его юная любовница, которую старец старался заворожить

своей смелостью, не могли увидеть тогда, до чего хитер был Лоренцо Руджери и с каким искусством он приступил к разговору. Единственным человеком, видевшим его насквозь, был его брат Козимо Руджери. Несмотря на то что последний превосходил своим могуществом всех хитрейших царедворцев и даже покровительницу свою, Екатерину Медичи, астролог с большим почтением относился к брату, считая его своим учителем.

Пребывая все время в уединении, этот мудрый старец хорошо понимал государей. Он видел, что едва ли не все они измучены непрестанными поворотами политики, которые в ту эпоху были такими внезапными, такими бурными и такими непоправимыми. Он знал, как устали эти правители, как им опротивела власть. Не они ли увлекались у него на глазах всем, что ново, необычно и странно, не они ли с величайшей охотой устремлялись в область умозрения, чтобы избежать каждодневных столкновений с людьми и с событиями? Тем, кто исчерпал себя в политике, остается одно — область чистой мысли. Живой пример этому Карл V, отказавшийся от престола. Карл IX выковывал шпаги и слагал сонеты, чтобы отвлечься от высасывающих из него все соки государственных дел. Он царствовал в

такое время, когда ход событий ставил под угрозу не только личность короля, но и существование трона: он принял на себя все тяготы власти и не ведал радостей, которые эта власть может дать. Поэтому та дерзость, которую себе позволил Лоренцо, пренебрегши его королевским достоинством, неожиданно вывела Карла IX из его оцепенения. Католическая религия подвергалась в то время таким нападкам, что непочтение к ней никого бы не удивило. Но потрясение основ всей христианской веры, на место которой ставилось поклонение какой-то таинственной силе, должно было несказанно поразить короля и отвлечь его от всех одолевавших его мучительных забот. К тому же сама победа над человеком была для Руджери намного важнее всего остального. От того, удастся ли им внушить свою идею королю, зависело их оправдание и свобода: просить о ней братья Руджери уже не могли — ее надо было добиться! Надо было сделать так, чтобы Карл IX забыл о своих подозрениях и погнался за какой-то новой идеей.

Оба итальянца отлично понимали, что в этой необыкновенной игре на каргу поставлена их жизнь. Поэтому их гордые и в то же время смиренные взгляды, в ответ на подозрительные и

настороженные взгляды Мари и короля, сами по себе уже являли замечательное зрелище.

— Государь, — сказал Лоренцо Руджери, — вы хотите узнать от меня истину, но, чтобы я мог показать вам эту истину в ее чистом виде, мне надо, чтобы вы заглянули в тот условный колодец, в ту воображаемую бездну, откуда она должна явиться. Пусть дворянин, пусть поэт простит нам слова, которые первенец церкви счел бы за богохульство! Я не верю, что бог может вмешиваться в дела людей!..

Несмотря на то что Карл IX твердо решил сохранить приличествующую королю невозмутимость, при этих словах он вздрогнул от удивления.

— Если бы я не был в этом убежден, я не мог бы верить в то чудесное дело, которому я себя посвятил. А чтобы довести его до конца, нужна вера в него, и если только допустить, что перст божий управляет всем миром, меня надо счесть безумцем. Пускай король знает все! Речь идет о победе, которую надо одержать над человеческой природой в ее теперешнем состоянии. Я алхимик. Только не думайте вместе с чернью, что я стремлюсь открыть способ добычи золота! Добыча золота для меня отнюдь не цель. Это только

случайная находка среди всех исследований. Они ведь не напрасно называются п о и с к а м и ф и л о с о ф с к о г о к а м н я!

Философский камень — это нечто поважнее золота. Поэтому, если бы я допустил мысль о божественности материи, огонь моих печей, зажженный несколько столетий тому назад, завтра же погас бы. Но только поймите меня верно: отрицать вмешательство бога в нашу жизнь вовсе не значит отрицать самого бога. Все религии унижают бога, но они не в силах унизить его так, как мы возвышаем того, кто сотворил вселенную. Не обвиняйте в атеизме тех, кто добивается бессмертия. Подобно Люциферу, мы хотим сами быть такими, как бог. А разве это не свидетельствует о нашей любви к нему? Но, несмотря на то что на этом учении основано все, что мы делаем, далеко не все алхимики исповедуют эту доктрину. Козимо, например, — сказал старик, показывая на своего брата, — человек благочестивый. Он заказывает мессы за упокой души нашего отца и молится сам. Астролог вашей матери верит в божественность Христа, непорочное зачатие, в пресуществление даров. Он верит, что папа может отпускать грехи, что есть преисподняя. Да мало ли всего, во что он верит!.. Его час еще не

настал! У меня ведь составлен на него гороскоп: он доживет до ста лет; он должен пережить еще два царствования, двух королей Франции, которые будут убиты…

— Кто же эти короли? — спросил Карл IX.

— Последний Валуа и первый Бурбон, — ответил Лоренцо. — Но Козимо изменит свои убеждения и примет мои. Можно ли быть алхимиком и католиком одновременно, верить и в деспотическую власть человека над миром, и во всемогущество духа?

— Козимо доживет до ста лет? — переспросил король. Он нахмурил брови, и черты лица его опять исказились.

— Да, государь, — уверенно ответил Лореццо, — он спокойно умрет в своей постели.

— Если вы способны предвидеть, какова будет ваша смерть, как же вы не знаете, к чему приведут ваши опыты? — спросил король.

Карл улыбнулся и с торжествующим видом посмотрел на Мари Туше.

Оба брата быстро переглянулись, глаза их засияли радостью.

«Он интересуется алхимией, — подумали они в эту минуту, — значит, мы спасены!»

— Наши предсказания основаны на существу-

ющих сейчас взаимоотношениях человека и природы; но речь идет как раз о том, чтобы в корне их изменить, — ответил Лоренцо.

Король задумался.

— Но если вы уверены, что умрете сами, то, значит, вы уверены в том, что вас постигнет неудача, — сказал Карл IX.

— Точно так же, как и наши предшественники! — ответил Лоренцо, подняв руку и многозначительно и торжественно ее опустив, как бы для того, чтобы подтвердить этим высоту своего духа. — Но в мыслях ваших вы забежали слишком далеко вперед, нам надо вернуться к тому, о чем мы только что говорили, государь. Когда вы узнаете, на какой почве строится наше здание, вы будете утверждать, что оно неминуемо рухнет, и та наука, которой на протяжении столетий занимались величайшие из людей, будет для вас всего-навсего тем, чем она выглядит в глазах черни.

Король кивнул головой в знак согласия.

— Я утверждаю, что земля принадлежит человеку, который является ее господином и может использовать в своих целях все ее вещества и все ее силы. Человек отнюдь не изделие рук господних, а продукт некоей субстанции, разбросанной

в безграничном эфире, где от нее рождаются мириады созданий, меняющихся в зависимости от того, какое небесное тело они населяют, ибо условия жизни на разных планетах неодинаковы. Да, государь, истоки того едва заметного движения, которое мы называем жизнью, лежат далеко за пределами видимого мира; различные существа приобщаются к ней в той или иной мере, в зависимости от условий, в которых они живут, и самые ничтожные из тварей точно так же участвуют в жизни, на свой страх и риск беря от нее все, что могут; они сами спасают себя от смерти. В этом суть всей алхимии. Если бы человек, совершеннейшее из всех животных земного шара, заключал в себе частицу божества, он не мог бы погибнуть — а он погибает. Чтобы разрешить это противоречие, Сократ и его школа придумали душу. Я, ученик стольких неведомых людям великих царей, усилиями которых развилась эта наука, я, поборник старинных учений и противник новых, я утверждаю, что материя переходит из одного состояния в другое, ибо это совершается на моих глазах, и я отрицаю немыслимое бессмертие души, ибо я его не вижу. Я не признаю невидимого мира. Если бы мир этот существовал, все вещества, так великолепно

сочетающиеся в вашем теле, мессир, и делающие вас, сударыня, столь прекрасной, не подвергались бы после вашей смерти сублимации и не возвращались бы каждый в свое изначальное состояние: вода к воде, огонь к огню, металл к металлу, подобно тому, как вот этот уголь, когда он сгорит, теряет свои свойства и распадается на простейшие молекулы. Если вы утверждаете, что со смертью мы не уничтожаемся целиком, то знайте: это уже нечто другое, ибо все, что составляет наше настоящее «я», гибнет! А ведь я как раз стремлюсь к тому, чтобы существование этого настоящего «я» не было ограничено сроком нашей теперешней жизни. Я хочу, чтобы именно эта земная жизнь длилась гораздо дольше. Как! Деревья живут столетия, а люди только десятки лет, а ведь деревья способны лишь воспринимать влияние извне, тогда как люди все время в действии, те недвижны и бессловесны, а эти умеют ходить и владеют даром речи! Ни одно творение не должно превосходить человека ни продолжительностью своей жизни, ни могуществом. Наши чувства уже расширили свои пределы, мы стали узнавать тайны небесных тел! Теперь мы должны продлить нашу жизнь! Жизнь важнее, чем любое могущество. Но что нам власть, если

нам не дано наслаждаться жизнью? Человек здравомыслящий должен не заботиться о какой-то другой жизни, а искать тайну нашего земного существования, чтобы всякий раз по желанию его удлинить! Именно это желание и довело меня до седин. Но я иду во мрак ночи, не зная страха, и веду за собою всех, кто разделяет мою веру. Рано или поздно мы обретем власть над жизнью.

— Но чем же вы этого достигнете? — воскликнул король, стремительно вскакивая с кресла.

— Первое условие нашей веры — это признать, что мир принадлежит человеку. Вам надлежит согласиться с этой посылкой, — сказал Лоренцо.

— Хорошо, пусть это так, — нетерпеливо ответил Карл Валуа, уже начиная подпадать под влияние старца.

— Так вот, государь, если мы исключим из этого мира бога, что нам тогда останется? Человек! Давайте же внимательно рассмотрим, чем нам предстоит заняться! Весь материальный мир состоит из стихий; каждая стихия содержит в себе некие простейшие начала. В основе каждого из этих начал лежит нечто единое, и оно наделено свойством, называемым движение. Всем созданиям присуща тройственность: Материя, Движение, Результат!

— Постойте, а чем же вы это докажете? — воскликнул король.

— А разве результаты вам не видны? — ответил Лоренцо. — Мы подвергли исследованию желудь, из которого вырастает дуб, и эмбрион, который постепенно становится человеком. В этой крохотной субстанции возникло целое начало, к которому присоединилась сила, заставившая его прийти в движение. А раз никакого бога не существует, то каждому такому началу приходится последовательно творить для себя все формы, из которых состоит наш мир. Ибо жизнь протекает одинаково повсюду. Да, жизнь металлов подобна жизни живых существ, жизнь растений подобна жизни людей; жизнь начинается с невидимого для глаз зародыша, который развивается сам по себе. Существует некое простейшее начало! Надо добраться до него там, где оно действует на самого себя, там, где оно одно, где оно, еще не превратившись в живое существо, остается всего лишь началом, причиной, еще не ставшей следствием. В этом виде оно абсолютно, безлично, способно принять любую из тех форм, в которых мы ее зрим. Когда мы останемся один на один с этой атомной частицей и когда нам удастся уловить ее изначальное движение, мы познаем

ее законы. С этой минуты мы властны выбирать для нее ту форму, которую нам захочется: в наши руки потечет золото, мы овладеем миром и продлим свою жизнь на долгие столетия для того, чтобы наслаждаться ею. Вот чего добиваюсь я и все мои единомышленники. Все наши силы, все наши мысли отданы этим поискам, ничто не способно отвлечь нас от них. Если бы мы хоть на час позволили себе отдаться какой-то иной страсти, мы этим обворовали бы себя и нанесли ущерб величию нашего дела! Так же, как у вас на охоте собака ни разу не забывала о звере, которого травят, и о туше, брошенной ей в награду, так ни один из моих терпеливых помощников ни разу не отвлекся от цели, соблазнившись женщиной или золотом. Если алхимику понадобятся деньги и могущество, то, знайте, этого потребовали наши нужды; он берет эти деньги, как мучимая жаждой собака лакает на бегу воду. Он делает это потому, что ему надо расплавить в своей печи алмаз или превратить слитки золота в порошок. У каждого есть свое дело! Один исследует тайны растительного царства, он исподволь следит за развитием растений, он примечает движение, общее различным видам, и одинаковые условия их питания. Он находит, что всюду, чтобы

оплодотворить их и чтобы питать, необходимы солнце, вода и воздух. Другой изучает кровь животных, третий — законы всеобщего развития и связь их с движением небесных тел. Едва ли не все упрямо пытаются обуздать неподатливую природу металлов, ибо, если все земное и состоит из различных элементов, металлы, даже в своих мельчайших частицах, сходны друг с другом. Вот почему у людей существует такое ошибочное представление о том, что мы делаем. Взгляните только на всех этих терпеливых тружеников, на этих неутомимых борцов, которых постоянно постигают неудачи и которые, однако же, снова и снова возвращаются на поле боя! Человечество, государь, следует за нами так, как у вас на охоте псарь следует за сворой собак. Оно взывает к нам: «Торопитесь! Не упускайте ничего! Жертвуйте всем, даже другими людьми, раз вы пожертвовали собой! Торопитесь! Снесите *смерти* голову и отрубите ей руки, ведь это враг!» Да, государь, нами движет сознание, что от этих усилий зависит счастье будущих поколений. Мы уже похоронили немало людей, и каких людей! Они погибли, гонясь за истиной. Мы вступили на эту стезю, а ведь, может быть, нам и не придется воспользоваться плодами наших трудов! Может

быть, мы погибнем, так и не раскрыв этой тайны! А вы знаете, какая смерть ждет того, для кого не существует жизни за гробом! Наше мученичество овеяно славой, в сердцах наших эгоизм всего человеческого рода, мы живем во имя наших потомков. Попутно мы делаем открытия, которые становятся достоянием различных искусств и ремесел. Языки пламени, которые вырываются из наших печей, снабжают государства более совершенными орудиями. Из наших реторт вышел порох. Мы победим молнию. Наши терпеливые труды чреваты переворотами в политике.

— Возможно ли это? — воскликнул король, снова приподнявшись с места.

— Разумеется, да! — сказал великий магистр нового ордена тамплиеров. — Tradidit mundum disputationibus![143] Бог отдал мир в наши руки. Повторяю вам еще раз, поймите меня: человек здесь хозяин, и все земное принадлежит ему. Все силы, все средства в его распоряжении.

Кем же мы сотворены? Движением. Какая сила поддерживает в нас жизнь? Движение. Почему же науке не овладеть им? Ничто не теряется, ничто не исчезает — все остается на нашей пла-

---

[143] Примечания: 143
Споры погубили мир! *(лат.)*

нете. Иначе небесные тела упали бы друг на друга. Так и воды потопа остались все на земле, и ни одна капля их не утрачена. Вокруг нас, у нас над головами, у нас под ногами находятся те частицы, которые создало все бесчисленное множество людей, топтавших нашу землю до и после потопа. Что же нам надлежит сделать? Уловить ту силу, которая все разделяет? Нет, напротив, мы уловим ту, которая соединяет все воедино. Мы сами являемся результатом того, что совершается сейчас. Когда воды покрыли нашу планету, люди обрели необходимые условия для жизни в оболочке земли, в воздухе и в пище. Следовательно, начало всех перемен, претерпеваемых человеком, заложено в земле и в воздухе; перемены эти происходят у нас на глазах, и определяющие их условия точно так же доступны нашему наблюдению. Выходит, что мы можем овладеть этой тайной, не ограничиваясь в наших исследованиях одним человеком, а строя их на изучении жизни всего человечества. И вот мы сейчас единоборствуем с материей, в тайны которой я, великий магистр ордена, хочу проникнуть и верю, что мне это удастся. Христофор Колумб открыл королю Испании новый мир, а я хочу открыть королю Франции тайну самой

жизни! Перешагнув границу, отделяющую нас от познания сути вещей, тщательно наблюдая атомы, я разрушаю формы, я расчленяю все их соединения, уподобляясь смерти, чтобы суметь потом воссоздать жизнь! Словом, я непрерывно стучусь в двери природы и буду стучаться до последнего моего дыхания. Когда я умру, мой молот перейдет в другие, столь же неутомимые руки, точно так же, как ко мне он перешел из рук неведомых гигантов. Образы баснословных и не понятых людьми героев, подобных Прометею[144], Иксиону, Адонису, Пану и другим, без которых не обходится ни одна религия, ни одна страна ни в одну эпоху своей истории, доказывают нам, что эти чаяния искони присущи всему человечеству. Халдея, Индия, Персия, Египет, Греция, мавры переняли друг у друга тайны магии, величайшей из всех оккультных наук, которая умеет беречь

[144] Примечания: 144

Прометей. — Древнегреческая мифология приписывала титану Прометею создание человека. Прометей вылепил первых людей из глины, вдохнул в них жизнь; вопреки воле Зевса, похитил с неба священный огонь и даровал его людям. Разгневанный Зевс приказал приковать Прометея к скале на Кавказе, где орел клевал его печень. Адонис — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, возлюбленный богини любви Афродиты. Имя его стало нарицательным для обозначения идеала мужской красоты. Пан. — В древнегреческой мифологии бог Пан первоначально почитался как бог стад и полей, покровитель пастухов, затем он приобрел значение всеобъемлющего божества, олицетворяющего природу.

плоды трудов и бдений каждого поколения. Вот кто был в союзе с мощным и величественным орденом тамплиеров! Когда один из ваших предков, государь, сжег тамплиеров[145] на костре, он уничтожил только людей — все их тайны перешли к нам. Воссоздание этого ордена — вот девиз никому не ведомого сообщества, целой плеяды бесстрашных искателей, взоры которых направлены в сторону Жизненного начала! Все они братья и неотделимы один от другого; всех их объединяет одна идея, на всех лежит отпечаток упорного труда. Я первый среди этих людей, но не по рождению, я — их избранник. Я направляю всех их к истоку жизни. Великий магистр, розенкрейцеры[146], подмастерья, алхимики — все мы гонимся за этой крохотной молекулой, которая ускользает от наших печей и пока еще невидима глазу. Но мы создадим себе другие глаза, более зрячие, чем те, которыми нас наделила природа; мы доберемся до простейшего атома, до этой мельчайшей частицы, за которой с таким упорством

---

[145] Примечания: 145

Когда один из ваших предков... сжег тамплиеров на костре... — См. прим. к стр. 200.

[146] Примечания: 146

Розенкрейцеры — члены одного из тайных религиозно-мистических обществ в XVII–XVIII веках в Германии и других странах Европы.

охотились все жившие до нас мудрецы. Государь, когда человек чувствует себя как дома над этой бездной и когда он распоряжается такими пловцами, как мои братья, без страха прыгающими в пучину, все, чем озабочены остальные люди, начинает казаться ничтожным. Поэтому мы ни для кого не опасны. Мы далеки от религиозных споров и от политических распрей, мы находимся по ту сторону их. Тот, кто единоборствует с природой, не позволяет себе вступать в драку с людьми. И даже незначительные успехи в этой борьбе нам дороги и нужны — мы можем точно их измерить и предсказать. Что же касается сочетаний людей и их интересов, то здесь все до чрезвычайности шатко. Мы испытаем алмаз на огне, мы создадим его сами, мы создадим золото! С помощью воды и огня мы приведем в движение суда, подобно тому, как это сделал один из наших братьев в Барселоне![147] Мы обойдемся без ветра, мы сами создадим ветер, мы сами создадим свет; новые отрасли промышленности изменят весь лик земли! Но мы никогда не унизимся до того, чтобы завладеть троном и навлечь на себя проклятие народов!

---

[147] Примечания: 147

…приведем в движение суда, подобно тому как это сделал один из наших братьев в Барселоне. — См. авторское примечание на стр. 7 текста.

Несмотря на то что король решил твердо не поддаваться хитростям флорентинцев, и он, и простодушная Мари были уже опутаны всеми увертками и обиняками пышного и велеречивого бахвальства этого старика. Глаза обоих любовников заблестели, они мысленно представили себе все эти таинственные сокровища; им казалось, что они видят целую анфиладу подземелий, где трудятся гномы. Любопытство и нетерпение взяло в обоих верх над прежнею подозрительностью.

— Но если это так, — воскликнул король, — вы, должно быть, великие политики, и вы можете многое нам сказать.

— Нет, государь, — простодушно ответил Лоренцо.

— Почему? — спросил Карл IX.

— Государь, никому не дано предвидеть, к чему приведет сообщество нескольких тысяч людей: мы можем узнать, как поступит один человек, сколько он проживет, будет он счастлив или несчастен, но мы не в силах сказать, во что выльются усилия нескольких людей, соединившихся вместе: рассчитать непрерывно меняющиеся соотношения различных сторон еще труднее, ибо сочетания эти определяются

не только людьми, но и событиями. А грядущее открывается нам только в уединении. Протестантство, которое готово сейчас поглотить вас, будет, в свою очередь, поглощено изменившейся под его влиянием материальной жизнью людей, и эти его последствия тоже рано или поздно превратятся в теорию. Сегодня вся Европа ополчилась против религии, завтра она захочет свергнуть королевскую власть.

— Значит, Варфоломеевская ночь была нужна!..

— Да, государь, ибо, если народ одержит верх, он устроит свою Варфоломеевскую ночь. Когда религия и королевская власть будут низвергнуты, народ расправится со знатью, а потом с богачами. В конце концов, когда Европа превратится в бестолковое скопище людей и на смену власти придет безначалие, ее поглотят насильники, явившиеся издалека. Так уже много раз было в мире, и теперь все это повторится в Европе. Идеи способны поглотить целые столетия, подобно тому как страсть поглощает человека. Когда исцелится каждый человек в отдельности, исцелится, может быть, и все человечество. Наука — душа человечества, мы — жрецы этой науки. А тот, кто занят душою, не особенно заботится о теле.

— А чего же вы все-таки добились? — спросил король.

— Мы медленно продвигаемся вперед, но мы не теряем ни одной из наших побед.

— Так, значит, вы король колдунов, — сказал король, задетый тем, что сам он так ничтожен в присутствии этого старца.

Великий магистр смерил Карла IX грозным, уничтожающим взглядом.

— Вы король в царстве людей, а я король в царстве мыслей. Впрочем, если бы настоящие колдуны существовали, вам бы не удалось их сжечь, — не без иронии заявил он. — У нас тоже есть свои мученики за веру.

— Но как вам удается составлять гороскопы? — снова спросил король. — Как это вы можете узнать, что человек возле вашего окна — король Франции? Какая сила дала возможность одному из вас рассказать моей матери о судьбе ее трех сыновей? Можете ли вы, великий магистр ордена, который хочет переиначить весь мир, можете ли вы сказать мне, о чем в настоящую минуту думает королева, моя мать?

— Да, государь.

Ответ этот последовал раньше, чем Козимо успел дернуть своего брата за рукав, чтобы заста-

вить его молчать.

— Вы знаете, зачем приезжает сюда мой брат, король Польши?

— Да, государь.

— Зачем?

— Чтобы занять ваше место.

— Самые страшные враги — это наши ближние! — воскликнул король. Вне себя от ярости, он вскочил с кресла и принялся быстро расхаживать взад и вперед по комнате. — У королей нет ни сыновей, ни братьев, ни матери. Колиньи был прав. Палачей моих надо искать не среди протестантов, а в Лувре. Вы оба или обманщики, или цареубийцы! Жакоб, позовите сюда Солерна.

— Государь, — сказала Мари Туше, — вы же дали братьям Руджери слово чести. Вы хотели отведать плоды древа познания, а теперь вы жалуетесь, что плод этот полон горечи?

Король улыбнулся презрительно и горько. Вся его власть над людьми показалась ему ничтожной перед лицом огромной власти старого Лоренцо Руджери над мыслями. Карлу IX с трудом удавалось управлять одной Францией. Великий магистр ордена розенкрейцеров повелевал целым миром существ и понятливых и послушных.

— Будьте откровенны со мной, и вот мое слово чести: если даже вы признаетесь мне в ужасных преступлениях, я буду вести себя с вами так, как будто я ничего не слыхал. Скажите, вы изготовляете яды?

— Чтобы знать, что заставляет человека жить, надо знать, что заставляет его умирать.

— Вы владеете тайной многих ядов?

— Да, государь, но только в теории, а не на практике. Мы их знаем, но никогда не используем.

— А моя мать просила у вас яду? — задыхающимся голосом прошептал король.

— Государь, — ответил Лоренцо, — королева Екатерина слишком хитра, чтобы пользоваться подобными средствами. Она знает, что государь, пустивший в ход яд, от яда и погибнет. А как опасны эти презренные средства, лучше всего можно видеть на примере рода Борджа и Бьянки, великой герцогини Тосканской. При дворе всегда все известно. Так можно уничтожить разве только какого-нибудь простолюдина, но кому это надо? Разве можно что-то замыслить против человека с положением так, чтобы об этом никто не узнал? В Колиньи могли стрелять только потому, что это было приказано вами, или королевой, или Гизами. Выстрел этот никого не обманул. Верьте

мне, в политике нельзя и двух раз безнаказанно пользоваться ядом. У государей всегда бывают наследники. А что касается людей незнатных, обретших власть могуществом мысли, подобно тому как ее обрел Лютер, то можно уничтожить их самих, но учение их остается жить. Королева — флорентинка, она знает, что яд — это только орудие личной мести. Мой брат не покидал ее с самого ее приезда во Францию, и он помнит, сколько горя причинила ей госпожа Диана. А ведь королева никогда не пыталась ее отравить, хотя ей ничего не стоило это сделать. И король, ваш отец, не стал бы ее карать: никогда ведь ни одна женщина не имела на это больше права и не могла быть так уверена в том, что ее не накажут. Госпожа де Валантинуа жива и сейчас.

— А энвольтование? — продолжал король.

— Государь, — ответил Козимо, — это настолько невинное средство, что мы применяем его, когда имеем дело со слепыми страстями, подобно тому как врачи дают воображаемым больным пилюли из хлебного мякиша. В порыве отчаяния какая-нибудь женщина готова поверить, что, пронзая изображение своего неверного любовника в сердце, она этим навлекает на него беду. Что делать? Это наши доходы!

— Папа ведь и тот продает индульгенции, — улыбаясь, сказал Лоренцо.

— Моя мать применяла энвольтование?

— Нужны ли эти пустые затеи той, которая всемогуща?

— А могла бы королева Екатерина спасти вас сейчас? — мрачно спросил король.

— Нам не грозит никакой опасности, государь, — спокойно ответил Лоренцо Руджери. — Еще до того, как я вошел в этот дом, я уже знал, что выйду отсюда цел и невредим; равным образом я знаю, как и за что через несколько дней король начнет преследовать моего брата. Но если даже брату и будет грозить опасность, она ему не страшна. Если король утверждает свою власть мечом, он утверждает ее также и справедливостью! — добавил он, намекая на знаменитый девиз на медали, отлитой для Карла IX.

— Вы знаете все, я скоро умру, да и хорошо, что это так, — ответил король, весь дрожа, как в лихорадке, и скрывая свой гнев нетерпением. — Но какою же смертью умрет мой брат, который, если вам верить, должен стать королем Генрихом III?

— От руки убийцы.

— А герцог Алансонский?

— Он не будет царствовать.

— Значит, на престол вступит Генрих Бурбон?

— Да, государь.

— А как он умрет?

— От руки убийцы.

— А что станется с нею после моей смерти? — спросил король, указывая на Мари Туше.

— Мадам де Бельвиль выйдет замуж, государь.

— Вы обманщики! Государь, уберите их сейчас же отсюда! — воскликнула Мари Туше.

— Милая, я же дал им мое слово чести! — сказал король, улыбаясь. — А что, у Мари будут дети?

— Да, государь, госпожа де Бельвиль проживет больше восьмидесяти лет.

— Не лучше ли их обоих повесить? — спросил король у своей любовницы. — А что сын мой, граф Овернский? — обратился он к старцу и отправился за малюткой.

— Как вы смели сказать ему, что я выйду замуж? — воскликнула Мари Туше, как только король вышел.

— Сударыня, — ответил с достоинством Лоренцо, — король потребовал от нас правды, мы и говорим ее вам.

— Так, значит, все это верно? — спросила она.

— Так же верно, как то, что губернатор Орлеана любит вас *до безумия.*

— Но я-то его не люблю! — вскричала Мари.

— Это правда, сударыня, — сказал Лоренцо, — но гороскоп ваш гласит, что вы выйдете замуж за человека, который вас любит сейчас.

— Неужели вы не могли бы хоть чуточку солгать ради меня? — улыбаясь, сказала она. — Ведь если король поверит вашим предсказаниям…

— А разве не надо, чтобы он точно так же поверил в нашу невиновность? — сказал Козимо, бросая на фаворитку короля лукавый взгляд. — Те меры предосторожности, которые принял король в отношении нас, заставили нас обоих, в то время как мы сидели арестованные в вашем прелестном домике, задуматься над тем, что оккультные науки оклеветаны и король поверил этой клевете.

— Будьте спокойны, — ответила Мари, — я ведь его знаю: его подозрения уже рассеялись.

— Мы невиновны! — гордо произнес старец.

— Тем лучше, — сказала Мари, — а то король послал сейчас опытных людей осматривать вашу лабораторию, ваши печи и ваши флаконы.

Оба брата посмотрели друг на друга и улыбнулись. Мари Туше сочла эту улыбку доказательством их невиновности, в то время как в действительности она означала: «Несчастные

глупцы, неужели вы думаете, что, если мы умеем изготовлять яды, мы не умеем их прятать?»

— А где сейчас королевская свита? — спросил Козимо.

— У Рене, — ответила Мари.

Козимо и Лоренцо переглянулись. Взгляд того и другого выражал одну и ту же мысль: дворец Суассон неприкосновенен!

Король окончательно позабыл обо всех своих подозрениях, когда взял на руки сына и когда Жакоб остановил его, чтобы передать ему записку от Шаплена; он был совершенно уверен, что врач его после тщательного осмотра лаборатории ничего не нашел в ней, кроме того, что необходимо для занятий алхимией.

— Скажите, он будет счастлив? — спросил король, показывая братьям Руджери своего сына.

— Об этом спросите у Козимо! — сказал Лоренцо, кивая в сторону брата.

Козимо взял ручку малютки и стал внимательно ее разглядывать.

— Отец мой, — сказал Карл IX старцу, — для того чтобы поверить в осуществимость ваших замыслов, вам приходится отрицать человеческий разум. Как же вы можете сомневаться в том, что составляет источник вашей силы? Ведь

мысль, которую вы хотите упразднить, — это факел, который светит вам во время ваших исследований. Ну! Ну! Не то же ли это самое, что двигаться и наряду с этим отрицать всякое движение? — воскликнул король, довольный тем, что нашел этот довод, и торжествующе поглядел на свою подругу.

— Мысль — это свойство некоего внутреннего чувства, точно так же, как способность видеть предметы и различать их форму и цвет есть свойство нашего зрения, — ответил Лоренцо Руджери. — Она не имеет никакого отношения к тому, что называют загробной жизнью. Мысль — это способность, которая может быть нами утрачена даже при жизни с утратою тех сил, которыми она обусловлена.

— Вы рассуждаете последовательно, — сказал изумленный король. — Но ведь алхимия — наука атеистическая.

— Материалистическая, государь, а это совсем другое. Материализм возник из индийских учений, перешедших через мистерии Изиды в Халдею и в Египет и занесенных в Грецию Пи-

фагором[148], одним из полубогов человечества: его учение о превращениях — это математика материализма, тот закон, по которому он переходит из одной фазы в другую. Каждое из существ, которые все вместе составляют наш земной мир, может задерживать движение, которое увлекает его в мир иной.

— Выходит, что алхимия — это наука всех наук! — в восторге воскликнул Карл IX. — Я хочу видеть ваши опыты.

— Как только вам это будет угодно, государь. Увлекшись ими, вы только последуете примеру королевы, вашей матери…

— Ах, вот почему она так вас любит! — воскликнул король.

— Дом Медичи уже почти целое столетие оказывает тайное покровительство нашим опытам.

— Государь, — сказал Козимо, — этот мальчик будет жить около ста лет. У него в жизни будут невзгоды, но в конце концов он станет счастлив и почитаем, ибо в жилах у него течет кровь Валуа…

— Я еще приду к вам, — сказал король, к кото-

---

[148] Примечания: 148

Его (Пифагора) учение о превращениях… — Пифагор (ок. 580–500 гг. до н. э.) — древнегреческий математик, философ, создатель религиозно-мистического учения о переселении душ.

рому возвратилось его хорошее настроение. — Можете идти.

Попрощавшись с Мари и Карлом IX, оба брата вышли. Они медленно спустились по лестнице, не произнеся ни слова, не взглянув друг на друга. Когда они очутились во дворе, они даже не обернулись, чтобы посмотреть на окна, — они были уверены, что король все время следит за ними. И действительно, когда, выходя из калитки, они бросили взгляд в сторону, они увидели в окне Карла IX. Едва только алхимик и астролог очутились на улице Отрюш, они внимательно огляделись вокруг. Они хотели убедиться, действительно ли их никто не подкарауливает и не идет за ними следом. Они дошли до самого рва, окаймляющего здание Лувра, не проронив ни слова. Но там, когда они остались одни, Лоренцо сказал брату на флорентинском наречии своего времени:

— Affè d'iddio! como le abbiamo infinnacchiato! (Черт возьми, здорово же мы его окрутили!)

— Gran mercècs a lui sta di spartojarsi (Пускай теперь сам выпутывается, помогай ему бог)… — сказал Козимо. — Пусть и королева отблагодарит нас за все; мы ведь неплохо ее выручили.

Через несколько дней после этой сцены, поразившей Мари Туше так же, как и короля, в одну

из тех минут, когда полнота наслаждения как бы освобождает дух из-под власти тела, Мари воскликнула:

— Карл, я теперь хорошо представляю себе Лоренцо Руджери. Но ведь Козимо все время молчал!

— Это верно, — ответил король, пораженный ее внезапной догадкой, — в словах их было столько же правды, сколько и лжи. У этих хитрых итальянцев ум так же тонок, как шелк, который они выделывают.

Это подозрение может объяснить, почему король так возненавидел Козимо, когда заговорщиков Ламоля и Коконна предали суду. Убедившись, что Козимо Руджери был одним из участников этого заговора, он сообразил, что итальянцы его обманули, ибо у него в руках были доказательства, что астролог его матери занимается не одними только небесными телами, порошком для добычи золота и поисками атомов. Лоренцо покинул Францию.

Хоть большинство людей и не верит в подобные предсказания, надо заметить, что события, которые последовали за этой сценой, подтвердили пророчества Руджери. Через три месяца король умер.

Граф Гонди последовал за Карлом IX в могилу, как ему сказал его брат маршал де Ретц, друг Руджери, который верил в их гороскопы.

Мари Туше вышла замуж за Шарля де Бальзака, маркиза д'Антрага, губернатора Орлеана, от которого у нее родились две дочери. Одна из них, единоутробная сестра графа Овернского, стала любовницей Генриха IV и прославилась тем, что во время заговора Бирона хотела лишить Бурбонов престола и сделать своего брата королем.

Граф Овернский, став герцогом Ангулемским, видел царствование Людовика XIV. Он чеканил у себя в поместье свои монеты, ставя на них то один, то другой титул, но Людовик XIV ему в этом не препятствовал: он слишком чтил в нем кровь Валуа.

Козимо Руджери дожил до царствования Людовика XIII и был свидетелем падения дома Медичи во Флоренции и падения Кончини. Историки установили в точности, что умер он атеистом, иначе говоря, материалистом.

Маркиза д'Антраг умерла, когда ей было за восемьдесят.

Учеником Лоренцо и Козимо Руджери был зна-

менитый граф Сен-Жермен[149], который наделал столько шума при Людовике XV. Этому знаменитому алхимику было не менее ста тридцати лет — возраст, до которого, по данным некоторых биографов, дожила Марион Делорм. Из уст братьев Руджери граф Сен-Жермен, по-видимому, слышал кое-какие подробности о Варфоломеевской ночи и о царствовании дома Валуа, и он находил удовольствие в том, что изображал себя современником этих событий, рассказывая все как бы от своего лица. Граф Сен-Жермен — последний из той плеяды алхимиков, которые лучше всего изложили основы этой науки. Но сам он ничего не писал. Всем, что в этом этюде рассказано о кабалистическом учении, автор обязан этой таинственной личности.

Странная вещь! Трех человеческих жизней — жизни старика, от которого получены все эти сведения, жизни графа Сен-Жермена и жизни Козимо Руджери — достаточно для того, чтобы охватить всю историю Европы от Франциска I до Наполеона. Каких-нибудь пятидесяти жизней

---

[149] Примечания: 149

Граф Сен-Жермен — авантюрист, живший в XVIII веке, настоящее имя его неизвестно, по происхождению он, по-видимому, португалец. Жил во Франции, Италии, Голландии, Англии и России, ловко пользуясь славой алхимика; составил себе огромное состояние.

хватило бы, чтобы дойти до самого древнего периода истории народов, о котором мы знаем. «А значат ли что-нибудь пятьдесят поколений для того, кто изучает тайну человеческой жизни?» — говорил граф Сен-Жермен.

Париж, ноябрь — декабрь 1836 г.

Часть третья
Два сна

В 1786 году никто из парижан не привлекал к себе столько внимания и не вызывал такого множества толков своим роскошным образом жизни, как Бодар Сен-Жам, бывший тогда казначеем морского ведомства. Он строил тогда в Нейи свой знаменитый «Каприз», а жена его для отделки балдахина над своей кроватью приобрела какие-то необыкновенные перья, цена которых напугала самое королеву. В те времена, в отличие от наших дней, ничего не стоило сделаться человеком популярным и заставить говорить о себе весь Париж. Достаточно было какой-нибудь удачной остроты или женской причуды.

У Бодара был на Вандомской площади великолепный особняк, тот самый, из которого незадолго до этого пришлось выехать откупщику Данже. Этот знаменитый эпикуреец умер, и в день его похорон господин де Бьевр, его ближайший друг, умудрился пошутить, сказав, что теперь людям нечего бояться проходить по Ван-

домской площади[150]. Кроме этого намека на крупную игру, которая велась в доме покойного, над его гробом никаких речей не говорилось. Здание это находится напротив Государственной канцелярии.

Еще два слова о Бодаре. Ему не повезло; он разорился вслед за принцем Гемене, потеряв при этом четырнадцать миллионов. Событие это прошло для всех незамеченным в силу того, что, как выразился Лебрен-Пиндар[151], ему не удалось опередить сиятельного банкрота. Он умер, подобно Бурвале, Буре и многим другим, на чердаке.

Госпожа де Сен-Жам кичилась тем, что принимает у себя в доме одних только людей знатных, — это глупо, но люди всегда этим хвастают. Для нее и сам президент парламента не очень-то много значил — в своем салоне она хотела видеть только титулованных особ, и уж, во всяком случае, гости ее должны были иметь доступ в Версаль. Нельзя сказать, что у жены финансиста бывало особенно много высшей знати, но

---

[150] Примечания: 150

Игра слов: Данже (Danger) по-французски означает «опасность».

[151] Примечания: 151

Лебрен-Пиндар — Экушар Лебрен (1729–1807) — французский поэт, автор торжественных од, подражавших одам древнегреческого поэта Пиндара (V в. до н. э.), за что был прозван Лебреном-Пиндаром.

зато можно быть уверенным в том, что она в самом деле удостоилась милостей кое-кого из представителей рода Роанов, доказательством чему явилось получившее чересчур уж громкую известность дело об ожерелье[152].

Однажды вечером, по-моему, это было в августе 1786 года, к моему большому удивлению, в салоне этой казначейши, с такой осмотрительностью подбиравшей своих гостей, я встретил двух неизвестных мне людей, принадлежавших, как мне показалось, едва ли не к подонкам общества. Хозяйка дома подошла ко мне в амбразуру окна, где я намеренно уединился.

— Скажите мне, пожалуйста, — обратился я к ней, вопросительно глядя на одного из незнакомцев, — что это за личности? Каким образом они могли очутиться у вас в доме?

— Но это же чудесный человек.

— Вы видите его, если не ошибаюсь, сквозь призму любви?

— Вы не ошиблись, — ответила она, смеясь, — он уродлив, как гусеница. Но он оказал мне самую

[152] Примечания: 152

Дело об ожерелье. — Имеется в виду нашумевшая история с исчезновением дорогого ожерелья, предназначенного для французской королевы Марии-Антуанетты. Это скандальное дело дискредитировало видных представителей знати и духовенства.

большую из всех услуг, которую мужчина может оказать женщине.

Заметив мой лукавый взгляд, она поспешно добавила:

— Он окончательно вылечил меня от этих отвратительных красных пятен, которые были у меня на лице и делали меня похожей на простолюдинку.

Я брезгливо пожал плечами.

— Должно быть, это какой-нибудь шарлатан! — воскликнул я.

— Нет, — ответила она, — это придворный хирург. Уверяю вас, что это человек очень умный. К тому же он еще и пишет. Это опытный врач.

— Стиль его, должно быть, похож на его лицо, — сказал я с улыбкой. — Ну, а другой?

— Какой другой?

— А вот этот низенький, краснощекий, щеголевато одетый господин, у которого такой вид, как будто он съел лимон?

— Но это человек из довольно хорошей семьи, — ответила она. — Он родом из… из какой бишь провинции… Ах, да, он из Артуа, ему поручено довести до конца одно дело, касающееся кардинала, и его преосвященство сам представил его господину Сен-Жаму. Оба они предложили

Сен-Жаму рассудить их. Между прочим, провинциал этот оказался не очень-то проницателен. Но хороши же и те, кто поручил ему вести это дело! Он кроток, как ягненок, и робок, как девушка. Его преосвященство очень милостив к нему.

— Из-за чего же идет спор?

— Из-за трехсот тысяч ливров, — ответила хозяйка дома.

— Так, выходит, это адвокат! — воскликнул я, едва не подпрыгнув от удивления.

— Да, — сказала она.

Несколько смущенная своим унизительным признанием, г-жа Бодар вернулась к карточному столу, где шла игра в фараон.

Все уже нашли себе партнеров. Делать мне было нечего; я только что проиграл две тысячи экю господину де Лавалю, с которым я встретился у одной содержанки. Я подошел к камину и бросился на стоявшую возле него кушетку. Изумлению моему не было границ, когда я увидел, что напротив меня, по другую сторону камина, сидел генеральный контролер. Казалось, господин де Калонн дремлет, а впрочем, может быть, он предавался раздумью, которое нередко одолевает государственных деятелей. Когда я жестом указал на него Бомарше, который в эту минуту подошел

ко мне, творец «Женитьбы Фигаро», не говоря ни слова, разъяснил мне эту загадку. Он показал сначала на мою собственную голову, а потом на голову Бодара довольно язвительным жестом, раздвинув два пальца и сжав в кулак остальные. Первым моим побуждением было подойти к Калонну и как-нибудь подшутить над ним. Но я не сдвинулся с места, во-первых, потому, что все еще обдумывал, как мне лучше разыграть этого фаворита, а во-вторых, потому, что Бомарше удержал меня, взяв за руку.

— Что это значит? — спросил я его.

Он подмигнул мне, указывая на контролера.

— Не будите его, — сказал он шепотом, — это большое счастье, когда он спит.

— Но ведь и во сне он, должно быть, тоже занимается своими финансами, — сказал я.

— Разумеется, — ответил нам государственный муж, который угадал наши слова по одному движению губ. — Дал бы бог нам поспать подольше, тогда у нас не было бы того пробуждения, которое вам теперь доведется увидеть.

— Сударь, — сказал Бомарше, — я должен поблагодарить вас.

— За что это?

— Господин Мирабо уехал в Берлин. И я боюсь,

как бы в этих *Водах* мы не потонули с ним оба.

— У вас чересчур хорошая *память*, но вы человек неблагодарный, — сухо заметил министр, рассерженный тем, что один из его секретов разглашен в моем присутствии.

— Очень может быть, — сказал Бомарше, задетый за живое, — но у меня есть миллионы, которые помогут мне рассчитаться сполна.

Калонн сделал вид, что не расслышал его слов.

Когда кончили играть в карты, было уже половина первого. Все сели за стол: нас было десять человек. Бодар и его жена, генеральный контролер, Бомарше, двое незнакомцев, две хорошенькие женщины, которых не следует здесь называть, и какой-то откупщик, — кажется, его звали Лавуазье. У г-жи Сен-Жам было человек тридцать гостей, но к этому времени большинство уже разошлось, и за столом собрались только эти десять. Да и то две незнакомых мне личности остались ужинать лишь по особому настоянию хозяйки: одного ей хотелось угостить в благодарность за свое исцеление, другого же она пригласила, скорее всего, для того, чтобы доставить этим удовольствие мужу. С мужем своим она кокетничала, и я не мог понять, для чего ей понадобилось это делать. В конце концов, госпо-

дин Калонн был одним из сильных мира, и если кому и надо было огорчаться, так, вероятно, мне.

Вначале за ужином царила смертельная скука. Присутствие этих двух незнакомцев и откупщика нас стесняло. Я подмигнул Бомарше, чтобы тот напоил сына Эскулапа, сидевшего по правую руку от него, дав понять, что адвоката я беру на себя. Так как больше развлечься было нечем, нам оставалось только позабавиться несуразным поведением обоих незнакомцев, и мы уже предвкушали это удовольствие. Калонн встретил мой план с улыбкой. Все три дамы мгновенно примкнули к нашему вакхическому заговору. Многозначительными взглядами они дали нам понять, что соглашаются играть свои роли, и силлерийское вино не раз увенчивало бокалы своей серебристой пеной. С хирургом все обстояло просто, но сосед мой, едва только я собрался налить ему второй бокал, с холодной вежливостью ростовщика заявил мне, что больше пить не будет.

В эту минуту, не помню уж по какому поводу, г-жа де Сен-Жам стала рассказывать о необыкновенных ужинах у кардинала де Роана, на которых

присутствовал граф Калиостро[153]. Я не особенно внимательно слушал рассказы хозяйки дома; ответ, который я услыхал из уст моего соседа, заинтриговал меня, и я с большим любопытством стал разглядывать его тонкое бледное лицо, с заостренным и вместе с тем вздернутым носом, который по временам придавал ему сходство с куницей. Когда он услыхал, что г-жа де Сен-Жам спорит с г-ном Калонном, щеки его сразу же зарделись.

— Уверяю вас, сударь, что я видела наяву Клеопатру! — гордо сказала г-жа де Сен-Жам.

— Я готов вам поверить, — ответил мой сосед. — Мне, например, довелось разговаривать с Екатериной Медичи.

— Однако! — воскликнул г-н де Калонн.

Маленький провинциал произнес эти слова голосом совершенно удивительной звучности, если только здесь можно применить это слово. Эта необычайная чистота и отчетливость интонаций у человека, который до этого говорил чрезвычайно мало и всегда намеренно тихо и скромно, нас всех поразила.

---

[153] Примечания: 153

Калиостро, Александр, граф, настоящее имя — Джузеппе Бальзамо (1743–1795) — авантюрист, занимался алхимией, выдавал себя за заклинателя духов, обладателя философского камня.

— Подумайте, он заговорил! — воскликнул хирург, которого Бомарше достаточно уже подпоил.

— Должно быть, его сосед нажал какую-то кнопку, — ответил сатирик.

Несмотря на то, что слова эти были сказаны полушепотом, тот, кого они имели в виду, их услышал и слегка покраснел.

— И как же выглядела покойная королева? — спросил Калонн.

— Я не берусь утверждать, что та женщина, с которой я вчера обедал, действительно была Екатерина Медичи собственной персоной. Это было бы чудом, непостижимым для христианина, да и для философа тоже, — ответил адвокат, слегка упершись кончиками пальцев в поверхность стола и откидываясь на спинку стула, как человек, который собирается начать длинный рассказ. — И тем не менее я могу поклясться, что женщина эта до такой степени походила на Екатерину Медичи, что их можно было бы принять за родных сестер. Та, которую я видел, была в платье черного бархата, как две капли воды похожем на платье Екатерины, знакомое нам по портретам ее во дворце короля. На голове у нее была та самая бархатная шапочка, в которой ее постоянно изоб-

ражали художники. Лицо ее было, как всегда, мертвенно-бледно. Я не мог не рассказать об этом его преосвященству. Быстрота, с которой явилось это видение, показалась мне тем более чудесной, что господин граф Калиостро не в силах был угадать имени той женщины, с которой я хотел повстречаться. Я был совершенно ошеломлен. Этот ужин, на котором появлялись знаменитые женщины прошлого, заворожил меня своим волшебством, и я окончательно потерял присутствие духа. Я слушал и не смел ни о чем спросить. Когда около полуночи я освободился от власти этих чар, во мне уже больше не было прежней веры в себя. Но все эти видения были просто ничем в сравнении с необычайной галлюцинацией, которую мне после этого довелось пережить. Не знаю даже, какими словами описать вам мое состояние; только я с полной искренностью должен заявить всем: теперь меня уже нисколько не удивит, что некогда находились души достаточно слабые или, напротив, достаточно сильные, чтобы верить в тайны магии и в могущество дьявола. Я, например, будучи более полно обо всем осведомлен, считаю вполне вероятными все те явления, о которых рассказывают Кардано и разные чудотворцы.

В голосе его звучала такая убежденность, что слова эти не могли не возбудить крайнего любопытства всех присутствующих. Поэтому наши взоры обратились в сторону рассказчика и все вокруг замерло. Только глаза наши, в которых отражалось пламя свечей, напоминали о жизни. Мы пристально вглядывались в незнакомца, и нам казалось, что поры его лица и особенно лба как бы раскрываются, чтобы дать выход внутреннему чувству, которое его наполняет. Этот человек, на вид холодный и сдержанный, как будто таил внутри себя какой-то скрытый очаг огня, и пламя этого очага проникало теперь в наши души.

— Может быть, вызванный мною призрак, сделавшись невидимым, последовал тогда за мной, этого я не знаю. Но едва только голова моя коснулась подушки, огромная тень Екатерины явилась передо мною. Я почувствовал, что попадаю в какое-то облако света, — глаза мои, устремленные на королеву, были пригвождены к ней, и я видел только ее одну. Вдруг она наклонилась ко мне.

При этих словах дамы одновременно вздрогнули, любопытство обуревало их всех.

— Я, право, не знаю, — сказал адвокат, — продолжать мне сейчас или нет. Ведь как бы я ни

был уверен, что все это только сон, мне предстоит говорить о вещах очень важных.

— Это касается религии? — осведомился Бомарше.

— Наверное, что-нибудь непристойное? — спросил Калонн. — Ну ничего, дамы вас простят.

— Это касается правительства, — ответил адвокат.

— Говорите же, — сказал министр. — Вольтер, Дидро и их товарищи начали уже приучать кое к чему наш слух.

Контролер весь обратился во внимание, его соседка, г-жа де Жанлис[154], насторожилась. Провинциал все еще не решался начать. Тогда Бомарше весело воскликнул:

— Будьте же посмелее! Разве вы не знаете, что, когда законы так притесняют свободу мысли, народ отыгрывается на свободе нравов!..

Незнакомец продолжал:

— То ли в душе у меня бродили какие-то неведомые мне самому мысли, то ли это было какое-то наитие, но я сказал ей: «Сударыня, у вас на совести огромное преступление».

«Какое же?» — спросила она печально.

---

[154] Примечания: 154

Г-жа де Жанлис, Фелисите (1746–1830) — французская писательница.

«То, которое совершилось 24 августа[155], когда в церкви Сен-Жермен ударили в колокол».

Она презрительно улыбнулась, и на ее желтовато-бледных щеках обозначилось несколько глубоких морщин.

«И вы это называете преступлением? — сказала она. — Это было несчастье. Все было сделано не так, как надо, и замысел наш потерпел неудачу. Поэтому-то он и не принес ни Франции, ни Европе, ни католической церкви того блага, которого мы от него ожидали. Что вы хотите? Приказы были выполнены плохо. У нас не оказалось столько Монлюков[156], сколько нам было нужно. Потомству нет дела до того, что средства сообщения были тогда недостаточны и что, осуществляя нашу идею, мы не смогли сразу же привести в движение все силы, а ведь это необходимо при всяком государственном перевороте. Вот в чем наша беда! Если бы 25 августа во Франции не осталось ни одного гугенота, я бы, даже для самого далекого будущего, продолжала быть пре-

---

[155] Примечания: 155

То, которое совершилось 24 августа… — то есть Варфоломеевская ночь.

[156] Примечания: 156

Монлюк, Блэз (1502–1577) — французский полководец, отличавшийся во время религиозных войн жестокостью по отношению к гугенотам, автор «Мемуаров», охватывающих период с 1521 по 1574 год.

красным олицетворением воли божьей. Сколько раз ведь ясновидящие души Сикста V, Ришелье, Боссюэ[157] втайне обвиняли меня в том, что, найдя в себе достаточно смелости, чтобы решиться на этот шаг, я все же не сумела довести начатое мною дело до конца! А сколько людей сожалели о моей смерти! Через тридцать лет после Варфоломеевской ночи бедствие все еще длилось. За это время во Франции было пролито крови в десять раз больше той, которую не удалось пролить 26 августа 1572 года. Отмена Нантского эдикта[158], в честь которой вы отлили медали, стоила больше слез, больше крови и больше денег. Три Варфоломеевские ночи не нанесли бы Франции такого ущерба, как она. Одним росчерком пера Летелье сумел превратить в эдикт те принципы, которыми после моей смерти втайне руководствовались все короли. Но если 25 августа 1572 года эти поголовные убийства были нужны, 25 августа 1685 года все это уже не имело никакого смысла. При втором сыне Генриха Валуа ересь

---

[157] Примечания: 157

Боссюэ, Жак-Бенинь (1627–1704) — французский епископ, проповедник, автор сочинений на богословские темы, теоретик абсолютизма и католицизма.

[158] Примечания: 158

Отмена Нантского эдикта — см. примечание к стр. 19.

едва только забеременела; при внуке Генриха Бурбона эта плодовитая мать распространила свое потомство по всей вселенной. Вы обвиняете меня в преступлении и в то же время воздвигаете памятники сыну Анны Австрийской! А ведь мы оба стремились к одной и той же цели. Но только ему это удалось, а мне нет. Однако при Людовике XIV протестанты были безоружны, а ведь в мое время в их распоряжении были могущественные армии, свои политики, свои военачальники, и вся Германия стояла за них».

Говорила она все это очень медленно, и я почувствовал, что меня охватывает трепет. Мне казалось, что я слышу запах дымящейся крови множества человеческих жертв. Екатерина выросла на моих глазах. Каким-то злым гением она стояла передо мной, и мне мерещилось, что она хочет пробраться в мою совесть, чтобы там и остаться.

— Конечно, он все это видел во сне, — прошептал Бомарше, — он не мог этого придумать!

— «Я ничего не могу понять, — сказал я королеве. — Вы ставите себе в заслугу деяние, которое целых три поколения людей осуждают, покрывают позором...»

«Добавьте к этому, — продолжала она, — что

все те, кто об этом писал, были еще более несправедливы ко мне, чем мои современники. Никто не встал на мою защиту. Меня, у которой было все: и богатство и слава, — обвиняют в тщеславии. Меня называют жестокой, а ведь на совести у меня только две отрубленные головы! А для людей беспристрастных я до сих пор еще составляю загадку. Неужели вы думаете, что мною владела одна только жажда мести, что я была полна ненависти и злобы? — Она презрительно улыбнулась. — Я была спокойна и холодна, как сам разум. Я не знала жалости к гугенотам, но не знала и ожесточения; они были для меня просто гнилью, которую следовало выкинуть из корзины. Будь я королевой английской, я поступила бы точно так же с католиками, если бы они подняли вдруг мятеж. В эту эпоху, чтобы власть могла удержаться, стране нужен был единый бог, единая вера, единый господин. По счастью, я когда-то произнесла слова, которые могут служить оправданием всей моей жизни. Когда Бирага, решив обмануть меня, сказал, что битва при Дре[159] проиграна, я ответила ему: «Ну, что же, мы станем протестантами». За что мне было ненавидеть кальвинистов? Я от-

[159] Примечания: 159

Битва при Дре. — В 1562 году при Дре герцог де Гиз Франсуа разбил войско протестантов.

носилась к ним с уважением, но близко я никого ведь из них не знала. Омерзение мне внушали только некоторые государственные деятели, этот подлый кардинал Лотарингский, его брат, хитрый и грубый солдафон; оба они подсылали ко мне шпионов. Они-то и были врагами моих сыновей — они хотели завладеть их короной. С Лотарингцами я виделась каждый день, и они доводили меня до изнеможения. Если бы мы не устроили Варфоломеевской ночи, Гизы сделали бы то же самое с помощью Рима и своих монахов. Лига, которая получила силу только тогда, когда я состарилась, была основана в 1573 году».

«Сударыня, почему же, вместо того чтобы устраивать эту страшную резню (простите меня за откровенность), вы не использовали тех огромных политических возможностей, которые у вас тогда были, и не проявили той мудрости, с которой Генрих IV узаконил положение реформатов, прославив свое царствование тем миром, который он принес Франции?»

Она опять улыбнулась, пожала плечами, и в глубоких морщинах, бороздивших ее бледное лицо, можно было прочесть иронию, смешанную с горечью.

«После самых ожесточенных сражений народы

нуждаются в покое, — сказала она. — Вот в чем тайна этого царствования. Но Генрих IV совершил две непоправимые ошибки. Ему не следовало ни отрекаться от протестантства, ни оставлять Францию католической страной, после того как он сам стал католиком. Он был единственным, кто бы мог преобразить Францию без потрясений. Либо ни одной протестантской проповеди, либо ни одной католической епитрахили! Вот на что ему следовало решиться! Оставляя два враждующих начала в стране и не умея ничем их уравновесить, король совершает преступление, которое ведет за собой революцию. Только богу дана власть постоянно сталкивать между собою добро и зло. Но, может быть, именно такое решение составляло суть политики Генриха IV, может быть, оно-то и явилось причиною его смерти. Нельзя допустить, чтобы Сюлли[160] не взирал с вожделением на огромные богатства, которыми владело духовенство, владело, правда, не целиком, ибо знать проматывала по меньшей мере две трети его доходов. Сюлли был сам реформатом, но у него было, вероятно, столько же аббатств, сколько у них».

---

[160] Примечания: 160

Сюлли, Максимильен, герцог (1559–1641) — министр и друг французского короля Генриха IV, владел огромными богатствами.

Она замолчала и как будто над чем-то задумалась.

«Требуя меня к ответу за то, что я католичка, вы, должно быть, забыли, что я племянница папы?»

Она снова замолчала.

«В конце концов, я охотно бы сделалась кальвинисткой, — сказала она, пожав плечами. — Неужели умные люди вашего века все еще продолжают думать, что религия вообще что-нибудь значила для этого движения, самого мощного из всех, которые когда-либо потрясали Европу, для той огромной революции, которую задерживали различные мелкие помехи, но которая все равно грянет над миром?! Я ведь не потушила ее пожара! Революции, — сказала она, обратив на меня свой глубокий взгляд, — которая идет на нас и которую ты можешь довести до конца. Да, ты, который слушает меня сейчас!»

Я весь задрожал.

«Как?! Никто еще до сих пор не понял, что в борьбе старого с новым знаменем становится Римская церковь и Лютер! Как?! Не для того ли, чтобы избежать подобной борьбы, Людовик

IX[161] увлек за собой в сто раз больше людей, чем я их казнила; он погреб их в песках Египта и заслужил за это право называться святым, а я? Но все дело в том, — сказала Екатерина, — что я потерпела неудачу».

Она опустила голову и некоторое время молчала. Эго была уже не королева, а скорее одна из тех друидесс[162] древности, которые приносили в жертву людей и умели, откапывая из могил реликвии прошлого, читать в книге грядущего. Но вскоре она подняла голову — лицо ее было исполнено царственности и величия.

«Обращая внимание всех горожан на злоупотребления Римской церкви, — сказала она, — Лютер и Кальвин тем самым пробуждали в Европе дух исследования, который толкал народы на то, чтобы проверять решительно все с помощью разума. А такая проверка вселяет в человека сомнение. Вместо необходимой обществу веры они понесли за собой в века свою странную философию, вооруженную молотом, жаждущую разру-

[161] Примечания: 161

Людовик IX (1215–1270), прозванный Святым — французский король, известный своим участием в многочисленных крестовых походах, в том числе в Северную Африку.

[162] Примечания: 162

Друидесса — жрица галлов, древних обитателей территории теперешней Франции.

шения. Из Лона ереси вышла светящаяся своим обманным светом наука. Речь шла не столько о том, чтобы реформировать церковь, сколько о том, чтобы даровать человеку безграничную свободу, а ведь это означает гибель всякой власти. Я все это видела. Последствия успехов, достигнутых реформатами в борьбе с католичеством, которое уже взялось за оружие и стало более грозною силой, чем сам король, сокрушили власть монарха, которую Людовик XI с таким трудом утвердил на развалинах феодализма. Мы стояли перед угрозой уничтожения религии и королевской власти; на их обломках буржуазия всего мира хотела договориться между собой. Таким образом, борьба эта вылилась в войну не на жизнь, а на смерть — между новыми силами и узаконенной старой верой. Католики выражали материальные интересы государства, знати и духовенства. Это был поединок до победного конца, поединок между двумя гигантами. Варфоломеевская ночь, к несчастью, была только одною раною, нанесенною в этой битве. Вспомните только, во что обходятся те несколько капель крови, которые в нужный момент мы боимся пролить, — ведь впоследствии приходится проливать эту кровь потоками! Человеческому разуму, который ви-

тает над государством, грозит неминуемая беда: когда он обессиливает под тяжестью какого-либо события, он находит себе равных, чтобы те справедливо его рассудили. У меня очень мало равных мне: большинство состоит из глупцов — этими словами объясняется все. Если Франция осыпает меня сейчас проклятиями, виною этому та посредственность, которая преобладает там и преобладала во все века. Потрясения, пережитые мною, слишком велики — царствовать в мое время отнюдь не значило давать аудиенции, устраивать смотры и подписывать указы. Я могла совершать ошибки. Я ведь все-таки женщина! Но почему же тогда не нашлось ни одного мужчины, который умел бы стать выше своего века? Герцог Альба был бесчувствен, как камень, Филипп II под влиянием католичества совсем одурел, Генрих IV был игроком и распутником, адмирал — упрямым тупицей, Людовик XI явился слишком рано, Ришелье — слишком поздно. Все равно, добродетельна я или преступна, виновна в Варфоломеевской ночи или нет, я готова принять на себя вину, пускай же я буду звеном никому не известной цепи, соединяющей этих двух великих людей. Когда-нибудь писатели со склонностью к парадоксам спросят себя: не случалось ли иногда

так, что тот, кого в народе принято было считать палачом, в действительности являлся жертвой? Сколько раз люди предпочитали уничтожить божество, которому они поклонялись, лишь бы не обвинить в чем-нибудь самих себя. Все вы готовы плакать, когда во имя нужного дела гибнут какие-то две сотни простолюдинов, но вы никогда не прольете слез над бедствиями поколения, эпохи, целого мира. Словом, вы забываете, что политическая свобода, что спокойствие страны, что даже наука — это дары, за которые судьба неминуемо заставляет нас расплачиваться кровью!»

«Но разве народы не смогут когда-либо дешевле покупать свое счастье?» — воскликнул я со слезами на глазах.

«Истины приходят к нам из своих глубин только для того, чтобы купаться в крови, которая их освежает. А само христианство, которое, происходя от бога, составляет основание всякой истины, разве не в муках оно утверждалось? Разве кровь не лилась тогда потоками? И может ли настать время, когда она вовсе не будет литься? Ты это узнаешь, ты, который должен стать одним из каменщиков, воздвигающих общественное здание, строить которое начали еще апостолы? Пока ты будешь размахивать уровнем над головами

людей, тебя встретят рукоплесканиями. Но стоит тебе взять в руки мастерок, и ты будешь убит».

«Кровь! Кровь!» Это слово звенело у меня в ушах, подобно погребальному колоколу.

«Тогда выходит, — сказал я, — что протестанты вправе рассуждать так же, как и вы?»

Фигура Екатерины приняла вдруг гигантские размеры, а потом исчезла, как будто дуновение ветра погасило тот сверхъестественный свет, который позволил моему духу ее увидеть. Я сразу же убедился, что какой-то частью своего «я» я соглашался с ужасными выводами, которые сделала итальянка. Я проснулся весь в поту, я заливался слезами, в то время как разум мой, торжествуя, заверял меня тихим голосом, что ни королю, ни даже всему народу никто не дал права исповедовать эти принципы и годны они только для тех, кто вовек не верит в бога…

— А чем же тогда спасти монархию, которая гибнет? — спросил Бомарше.

— Для этого существует бог, — ответил мой сосед.

— Итак, — сказал г-н де Калонн со столь присущим ему невероятным легкомыслием, — нам остается только считать себя орудием в руках всевышнего, как этому нас учит Евангелие Боссюэ.

Как только дамы заметили, что весь рассказ адвоката свелся к разговору его с королевой, они начали перешептываться между собою. Я не обращал внимания на те восклицания, которые время от времени у них вырывались. Однако до слуха моего все же долетели фразы: «Можно умереть от скуки!», «Дорогая моя, когда же он, наконец, кончит!»

Когда незнакомец кончил говорить, дамы смолкли. Господин Бодар спал. И только молодой хирург, который уже опьянел, Лавуазье, Бомарше и я все это время сосредоточенно слушали. Калонн был занят своей соседкой. В наступившей тишине была какая-то особенная настороженность. Мне показалось, что свечи стали светить необычным таинственным светом. Одно и то же чувство связало нас с этим человеком. После его слов я впервые понял, какою грозною силой может стать фанатизм. И только глухой, замогильный голос второго незнакомца, соседа Бомарше, вывел нас всех из оцепенения.

— И я видел однажды сон! — воскликнул он.

В эту минуту я внимательно посмотрел на хирурга, и меня охватил неизъяснимый ужас. Землистый цвет его лица, грубые, лишенные всякого благородства черты — все это обличало

в нем плебея, если вы позволите мне употребить это слово. На лице у него было несколько синеватых и черных пятен, похожих на следы грязи. В глазах его горел огонь. Напудренный парик придал его лицу еще более мрачный вид.

— Этот доктор, должно быть, отправил на тот свет немало больных, — сказал я моему соседу.

— Я бы ему и собаки своей не доверил, — отвечал тот.

— У меня к нему какая-то инстинктивная ненависть.

— А я его презираю.

— И все-таки мы к нему несправедливы, — продолжал я.

— Ах, боже мой! Послезавтра он может стать такою же знаменитостью, как и актер Воланж, — заметил сосед.

Господин де Калонн указал на хирурга жестом, который, казалось, говорил: «По-моему, это человек занятный».

— А вы что, тоже видели во сне королеву? — спросил его Бомарше.

— Нет, я видел целый народ, — произнес он с пафосом, который заставил нас улыбнуться. — Я лечил тогда больного, и на следующий день мне предстояло оперировать ему бедро.

— И вы обнаружили этот народ в бедре вашего больного? — спросил г-н Калонн.

— Да, — ответил хирург.

— Какой он забавный! — воскликнула графиня де Жанлис.

— Меня немало изумило, — сказал оратор, не обращая внимания на возгласы присутствующих и засовывая пальцы в карманы штанов, — что я нашел себе столько собеседников в этом бедре. Я умел входить к моему больному совершенно особым образом. Когда в первый раз я забрался к нему под кожу, я увидел там целый рой крохотных живых существ, которые копошились, что-то думали, о чем-то рассуждали. Одни из них жили в теле этого человека, другие в его сознании. Мысли его тоже были самостоятельными существами; они рождались на свет, росли, умирали; среди них можно было встретить больных, здоровых, веселых, грустных — словом, у каждой из них было свое, ни на что не похожее лицо. Существа эти сражались друг с другом или друг друга ласкали. Были и такие мысли, которые вырывались наружу и уходили жить в мир идей. Я понял тогда, что существуют две вселенные — видимая и невидимая, что у земли, так же как и у человека, есть тело и душа. Вся природа откры-

лась передо мной. Я ощутил всю ее необъятность, едва только глазам моим предстали эти мириады живых существ, которые, где вперемешку, а где разделившись на отдельные виды, заполняют наш мир, являя собою повсюду одну и ту же одушевленную материю, будь то глыба мрамора или сам господь бог. Какое это восхитительное зрелище! Словом, вся вселенная была там. Когда я вонзил нож в это пораженное гангреной бедро, я уничтожил тысячи таких тварей. Вам смешно, сударыни, слышать, что и вас тоже вот так поедают живьем.

— Пожалуйста, без личностей, — сказал г-н Калонн. — Рассказывайте только о себе и о вашем больном.

— Мой больной, приведенный в ужас криками этих микроскопических существ, попросил меня прервать операцию. Но я не стал его слушать, сказав ему, что эти вредоносные твари проникли далеко вглубь и гложут его кости. Не понимая, что я хочу ему только добра, он пытался вырваться, и мой нож впился мне в бок.

— Он не умен, — сказал Лавуазье.

— Он просто хватил лишнего, — ответил Бомарше.

— А знаете, господа, ведь мой сон не лишен

смысла! — воскликнул хирург.

— Ох, ох! — простонал Бодар, пробуждаясь. — Я ногу себе отсидел.

— Сударь, — шепнула ему жена, — ваши твари сдохли.

— У этого человека есть свое призвание! — воскликнул мой сосед, который в продолжение всего рассказа не сводил своего бесстрастного взгляда с хирурга.

— Мой сон, — продолжал уродливый незнакомец, — относится к сну этого господина, как действие к слову, как тело к душе.

Но тут его отяжелевший язык стал заплетаться, и он смог произнести только какие-то бессвязные слова.

На наше счастье, разговор перешел на другие предметы. Через полчаса мы уже позабыли о придворном хирурге. Когда мы встали из-за стола, разразился отчаянный ливень.

— Адвокат не так уж глуп, — сказал я, обращаясь к Бомарше.

— Да, но это человек без сердца и тугодум. Однако вы могли убедиться, что в провинции остались простаки, которые принимают за чистую монету политические теории и историю нашей Франции. Это закваска, которая еще взойдет.

— А вы в карете приехали? — спросила меня г-жа Сен-Жам.

— Нет, — сухо ответил я, — я не знал, что она мне сегодня понадобится. Вам, может быть, угодно, чтобы я проводил домой господина контролера? Он что, приехал к вам *налегке*?

Так в то время говорили о человеке, который, отправляясь в Марли, переодевался кучером и правил сам лошадьми. Г-жа Сен-Жам мгновенно покинула нас, позвонила, потребовала карету Сен-Жама и обратилась к адвокату:

— Господин Робеспьер, будьте настолько любезны, отвезите господина Марата домой, он еле держится на ногах, — попросила она.

— Охотно, сударыня, — любезно ответил г-н Робеспьер, — я был бы рад, если бы вы поручили мне даже какое-нибудь более трудное дело.

Париж, январь 1828 г.